



Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

7-8 (517)

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Ян Махонин. «человек истинный...» и др. стихи.....	3
Ксения Чижикова. Обычная история. Повесть.....	12
Владимир Ермолаев. Ясный день. Стихи.....	70
Сергей Морейно. «Хиршберг» и др. рассказы.....	84
Евгений Малякин. Последняя песенка. Стихи.....	110
Алексей Александров. «Дремлет в порванном чулке...» и др. стихи.....	112
Марат Серажетдинов. Голипэ. Рассказ.....	118
Сергей Трафедлюк. Бррр Бррр. Стихи.....	129
Настя Верховенцева. На той горе света. Рассказ.....	137
Екатерина Жилина. «Место 404, маршрут или комната...» и др. стихи.....	156
Сергей Вараксин. Атланты и кариатиды. Рассказ.....	159

NON-FICTION

Григорий Беневиц. Страницы семейной истории.....	161
---	-----

АРХИВ

Юрий Неводов. Память сердца. Книга о Борисе Семеновиче Неводове. Публикация Натальи Неводовой.....	192
--	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Об Анне Альчук. Материал подготовила Татьяна Данильянц.....	216
Александр Марков, Оксана Штайн. Последний питерский денди: стихи, смерть и рок-н-ролл. Памяти Анатолия Джорджа Гуницкого.....	230

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Елена Наливаева. Воротца времени О кн.: Алексей Ильичёв. Праздник проигравших.....	235
Александр Марков. Постлирический проект: собачки минус лай плюс нежность О кн.: Юлия Закаблуквская. И маленькие гладкие собачки.....	236

Ян МАХОНИН

*

человек истинный
вылезай из тени!

Москва, 7.03.23

*

нелегко гражданам
и их жёнам

обанкротился
мир кожи и меха

слово слава
в распродаже

торговца правдой
поймали на краже

Москва, 7.03.23

*

собирай слова
ведь уже весна

слова заблестели...

нет

слова заблистали
понятнее стали

особенно слово
первоцвет

Москва, 8.03.23

Ян Махонин родился в 1976 году в Праге. Учился на кафедрах русистики и восточноевропейских исследований пражского Карлова университета, в начале двухтысячных стажировался в РГГУ, в 2007–2023 годах жил в Москве. В Чехии выпустил две книги стихов – «Собаки в Давосе» (*Psi v Davosu*, 2004) и «Медленная тетрадь» (*Pomalý sešit*, 2024). С 2009 начал писать стихи параллельно по-чешски и по-русски. На чешский язык перевел пять томов «Колымских рассказов» Варлама Шаламова и хронику «Соборяне» Николая Лескова. Вместе с Аленой Махониновой составил и перевел поэтическую антологию авторов Лианозовской группы. Предыдущая публикация в «Волге» – № 3-4, 2023.

*

Мите

ты умеешь найти слова

еще бы
я всю жизнь ищу их

только –
зачем они нам с тобой когда

слов нет

Тбилиси, 8.05.23

*

почитай
как пишут стихи
те кто никогда не писали

почитай
ты ведь публика
которую так ожидали

минутку внимания, люди
подбирайте со слуха
это ведь пишется эпоха

нет спасибо
не пью, не буду

Тбилиси, 10.05.23

Что остается

I

что остается
поищем

а что осталось
вещи нищие

начала вещей
и их концы
не найти

ничего
посерединке поищем
что остается

II

бетон
что остается
полосами слоями
волнами и даже
стенами средневековыми

внутри не заглянешь
не увидишь
жизнь внутреннюю
арматуры

только
щели да разломы
веточки закрученные
ржавые ростки-цветки

III

что остается
остаются слизняки или улитки

не наступи на них
когда бежишь вниз по лестнице

не наступи на них
когда бежишь вверх по лестнице

бежишь
потому что
так устроена жизнь
слизняк, улитки или меня

не наступи на них

IV

что остается
остается удар
это качнулся и издал полый звук
пустой сундук-земля

а дальше вопрос
может ли быть удар толчком?
может ли обозначать сдвиг
или даже прорыв
сопровожаемый полым звуком
толчок летящий пустым сундучком

а пустота что?
может ли она заполниться вопросом?

что остается
спросим

V

что остается
старый дом умирает
новый дом рождается
на нем

дом на доме
скукожившемся
ушедшем внутрь
своей прошлой жизни

а новый дом на нем –
залог выживания
прилип
как ракушка

что остается
что остается ракушке
кроме как прилипнуть

давай прилипнем и мы с тобой
п р и л и п н е м

VI

простаивает экскаватор
на поляне
похожей на полушария
простаивает
а что остается

что этот опустевший ипподром
это мир который и в самом деле плоский
что там два полушария

меридианы параллели
истоки рек
да экватор
знает только он –
простаивающий экскаватор

но как не простаивать
что ему остается
раз в этом цеху
именно он назначен главной швеей

разве может он
продырявить полотно мира
обвивающее наши шеи

не может
ну и простаивает экскаватор

Тбилиси – Бяла – Прага, лето–осень 2023

*

хотя все уже плохо
хотя все уже плохо
хотя все уже
все уже
хорошо

Москва, Тимирязевский р-н, 24.06.2024

*

пока так
пока так

а потом уже
потом

Москва, Тимирязевский р-н, 24.06.2024

*

приехал и посмотрел

несмотря ни на что

смотрю – Москва

несмотря ни на что

не смотря ни на что

а там и посмотрим

Москва, 25.06.2024

I.

закрыл окно

заварил чаю

открыл окно возможностей

II.

от безнадежности

вышел в окно

возможностей

III.

просто окна

без возможностей

IV.

окно открылось

возможности закрылись

V.

окна окна

где ваши возможности?

а, окна?

21.2.25, Dolní město

Небольшое в целом пиренейское

*

объясни мне
чем Пиренеи
не Воробьевы
горы?

а тем более
Хималая
чем не
Малая Ляля,
а?

Dolní město, 28.3.25

песенка

в Пиренеи в Пиренеи
взял платочек носовой
чтобы вытереть слезинку
над войнушкой над войной

говорит мне моя совесть
поработай над собой
а я в горы в Пиренеи
взял платочек носовой

Rouvenac – Fa, 17.04.25

*

вышли на Путь катаров
(а там и каталонцев и арабов)
на пиренейский водоворот

появилась хата

красота-то

Rouvenac – Fa, 03.4.25

*

ненадолго
останемся

с концами

Rouvenac – Fa, 04.4.25

*

взял у вас словечко напрокат

любимые мои

русские-французские

словечки замешал в котелке

написал так и так –

и сделал плиé

Rouvenac – Fa, 05.4.25

*

порхаем как парочка бабочек

бездомных

уносимых

теплого воздуха волной

прирученных судьбой

Rouvenac – Fa, 05.4.25

Вариация на тему Гоголя

бонжур говорят бонжур

по-французски все щебечут
вежливые

не как мы
дурилки картонные

Rouvenac – Fa, 05.4.25

*

давление подскочило
принял Прагу — четвертинку

не помогло

принял Пиренеи
давление упало
да и тонус поднялся

Rouvenac – Fa, 16.4.25

*

майские жуки летают как бешеные
о стекло бьются

а наши ли жуки
наши?

Rouvenac – Fa, 30.4.25

*

некоренной неноситель

а все же

Париж, 09.5.25

Ксения ЧИЖИКОВА

ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ

Повесть

*Посвящается Ф.
Like a rush of blood to the head!*

1

Меня зовут Константин. Как императора, да. Это первое, что я обычно говорю. С этого, наверное, и надо начать.

Вообще-то я не особенно планировал рассказывать эту историю, и уж точно не планировал рассказывать ее сам. Я из тех, кто обычно болтается на втором плане, мелькает в массовке. Уж точно не из тех, кто выходит на первые роли и хвастается перед зрителями своим мастерством рассказчика.

Так вот. Меня зовут Константин. Логично, не правда ли? Первым делом назвать свое имя. Надо же как-то обращаться. Эй, вы, – это долго не работает. Позвольте, подождите – это работает, но так уже никто не говорит. Помогите мне – так вообще никто не начинает фразу. И правильно не делает. В нынешние дни никто не любит, когда их просят о помощи.

Шесть месяцев назад у меня умерла жена. Но история будет не совсем о ней – о ней, конечно, но не совсем. Если я начну говорить про нее, то надо рассказать, как мы познакомились. А я не хотел бы начинать с этого. Я хотел бы начать намного раньше.

Ее не стало. Я каждое утро езжу на работу на автобусе. Иногда, когда совсем хорошая погода, я хожу пешком и могу даже протрусить пару метров. Но это я перестал делать примерно тогда же, когда перестал воображать себя олимпийским бегуном и носить короткие беговые трусы. Они до сих пор лежат у меня где-то в глубине шкафа, но теперь я только хожу. Но чаще езжу. На автобусе.

Ее не стало шесть месяцев назад, но я только сейчас подумал, что жизнь – это автобус. Ты едешь-едешь, едешь-едешь, и рано или поздно будет твоя остановка. Ты можешь тешить себя надеждой, что остановки не будет. Но остановка будет. Кому, как не мне, об этом не знать. Или, пробыв долго на одной остановке, замерзнув и продрогнув до костей, потому что эти идиоты опять отменили весь транспорт – твой автобус вдруг приходит, и тебе, подобрав руками полы пальто, опять надо в него лезть. Даже если тебе нравилось на этой остановке. Даже если ты всю жизнь хотел бы остаться на этой остановке. Хотя я, положим, был не уверен, что хочу остаться на ней всю жизнь. Придется дальше ехать в автобусе, одному, оглядываясь по сторонам, как будто ты отправился в кругосветное путешествие, отчалив прямо от дома. Или тебя отправили куда-то, и неизвестно, когда ты вернешься домой. Запоминать тебе дорогу? Или нет? Оставлять какую-нибудь вещь на память? Бросать монетку в реку? Стучать в окно, чтобы помнили – ведь,

Ксения Чижикова родилась в 1992 году, выросла в городе Дубна Московской области. Закончила Высшую школу экономики, работает менеджером проектов. Публиковалась в журнале «Пашня». Живет и работает во Франции.

когда вернешься, ты тоже однажды ночью постучишь? Или никуда не стучать, не оборачиваться? А просто ехать и смотреть вперед?

Многовато вопросов для одного автобуса. К тому же такого вониючего, как этот.

Мне теперь надо ехать в автобусе одному. Оглядываться, вытягивая шею из рубашки, на которую я, чуть было, пока гладил, не поставил пятно. Сложить руки на коленях. Я забрался сюда, сгорбив спину, забрался и даже нашел свободное место.

Автобус продолжает свое движение. Я слегка подпрыгиваю на месте. Я сижу тут.

2

Меня назвал отец. Конечно же. Моей матери, вечно суетящейся по любому поводу, мое укоренное в римских императорах гордое имя не очень нравилось. Не вязалось с орущим младенцем, потому что отец называл меня не иначе как Константин. С самого рождения. Константин снова волнуется (так он называл мои ночные просыпания). Константин хочет еды. Константин опять орал. Константин меня разочаровывает. Я не допущу, чтобы у нас рос тупой ребенок. Да он не тупой, дорогой, он просто не понимает. Надеюсь, холодно отвечал отец. Надеюсь, что не понимает.

Мать отказывалась называть меня Константином. Называла Костя. Или «Тя», как я сам придумал в два года. Я сам долго не мог это выговорить, к неудовольствию отца, который хотел, чтобы я говорил четко, верно и с идеальными ударениями, лет примерно с трех. И желательно короткими емкими фразами. Как он сам.

– Константин, выпрямись, – бросал он мне за обеденным столом. – Константин, сними ботинки и головной убор, когда в квартируходишь!

Мой отец не мог сказать «кепка». Ему надо было сказать «головной убор».

У него было два состояния. В одном он молчаливо и сдержанно поправлял мир, поправлял всех, потому что все вокруг никогда не стояли достаточно ровным строем. Он никогда не крысился, не окрикивал, не хватал за шиворот и не ставил на положенное место – он только поправлял. Легонько ударял линейкой по пальцам, чуть-чуть касался палкой спины. И это не буквально – ни линейки, ни палки у него не было.

– Незлобный человек твой отец, – говорила мать. – Не злобный.

Я ни разу не видел, чтобы они ссорились или кричали друг на друга. Ни разу никто не выскочил на лестничную клетку и не заорал: «Сука!!» В нашем доме не было ссор. В своем первом состоянии отец мой был человеком фантастического, почти на грани одержимости самоконтроля. У него было умение владеть собой до такой степени, что даже сломав однажды руку, он не охнул, не вскрикнул – а, зажав зубы, прошипел матери звонить в скорую, сам спустился по лестнице и залез в их машину. Они чуть ли не удивились, зачем вообще было приезжать. Он владел собой и таким образом владел миром, мой отец. Нет у меня никаких других слов, чтобы это описать.

Мой отец пытался быть школьным учителем. Недолгий и странный период, слава богу, не в моей школе. Зачем он туда устроился, да еще и физруком, я понятия не имел. Он был длинный, тонкий – даже тоньше, чем я, – но мускулистый, и мог бежать, как мне в детстве казалось, сколько угодно. Любимым его видом спорта был лыжный кросс.

– Если отцу твоему надо, он сожмет зубы и до северного полюса добежит, – говорила моя мать. – Ему только дай.

И все равно – я понял бы, если бы он захотел стать, например, историком. Но никак не физруком. Свистеть в свисток и раздавать школьникам с очень белыми ногами и подбитыми коленками команды? Это было вообще на него не похоже.

Он проработал там несколько месяцев – ну максимум четверть, две, пока его не уволили.

Турнули, как он сказал, невозмутимо пожав плечами. Он вообще никогда не радовался успехам и не печалился неудачам, мой отец.

И на то, и на другое ему было глубоко наплевать.

Он не сказал, почему его уволили, сколько бы мать не прыгала вокруг и не спрашивала, делая вид, что ее это совершенно не интересует. А потом – город маленький – она столкнулась с учителькой оттуда. И та ей рассказала.

Оказывается, иногда, вместо того чтобы заставлять скорбных школьников бегать по кругу или отжиматься по нормативам, мой отец сажал их в два ряда на длинные скамьи, становился – как был, в спортивном костюме – перед доской и начинал разглагольствовать. О чем именно он говорил, та учителька сказать не смогла. О религии, вроде. Я в религии плохо понимаю, но разве можно детям – детям! – в таких терминах рассказывать? Разве можно вместо того, чтобы заставлять их бегать по кругу и играть в баскетбол, рассказывать им про грехи, и про чертей, про то, что они все еще чистые и могут выбрать иной путь, но общество уже выбрало неверный путь, неверный, понимаете? Как вообще такое можно детям говорить, я вас спрашиваю. Я не говорю, что ваш муж большой какой-то, нет, вы не подумайте, что я так говорю, но что-то там определенно есть, я говорю, нет, я вас ни в чем не обвиняю, да нет, Марина Валерьевна, я же сказала, я вас...

Ага. Моя мать делала вид, что все это было ей незнакомо. Как будто отец не разглагольствовал так же и перед нами, а мы не делали вид, что не замечаем. Как будто он иногда, зажав пальцами край стола, не принимался за эту вольнку, и весь его железный контроль вдруг исчезал, и появлялся фанатик, и он говорил так, что мы даже не смели спорить – хотя в его этих словах, которые он все пытался нам передать, по-моему, ничего особенного не было.

Он говорил о Боге, о том, что искал Бога, искал непонятно где, и что все рано или поздно его найдут, как он нашел, а мать косилась по сторонам опасно, как будто уже тоже должна была найти, но засунула его куда-то, и теперь понятия не имела, где он притаился. Отец нечасто так делал – раз в месяц, раз в три – но яростность, с которой он это говорил, была такая, что и щепку нельзя было вставить, ничего ему нельзя было возразить, он просто не потерпел бы возражений. Посмотрели бы вы, как можно было бы спорить с моим отцом. Никак.

Мать спросила у него об этом. Смущенно, но все-таки спросила. Отец сразу заledenел.

– Марина, – сказал он спокойным и аккуратным голосом. – Этим детям надо было это сказать.

Он взял вилку и добавил:

– Возможно, кто-то из их понял.

– Но ты же физ-культурой, – она запнулась, – должен был с ними заниматься.

– Физкультурой, – повторил отец. – В слове «физкультура» есть слово «культура». Ты не замечала этого?

Он всегда спрашивал как-то так, что мать выглядела полной дурой.

Я хотел было сказать, что слово «культура» еще не значит слова «религия», но промолчал. Я вообще профессионально научился сдерживать себя, когда рядом был отец. Это чуть ли не единственное, чему я у него научился.

Даже не так – я был параллельно, а отец был параллельно, и мы так и ехали по своим параллельным лыжнями. Главное было не наезжать друг на друга неудобными деревянными лыжами и потом долго и неприятно разлепляться, держась за снег, втыкая палки в землю и стараясь не упасть. Спорить с ним было бесполезно, говорить ему что-то крайне редко имело смысл – проще было ехать, отталкиваясь от промерзлой земли, и зная, что он тебя не замечает. А если мой отец кого-то замечал, это само по себе уже было явлением.

3

Я инженер. По-моему, неплохой. Не один я так говорю – это такое же качество, как, скажем, организованность – все предметы на своих местах – и чистоплотность – аккуратно начищенные ботинки в прихожей.

Когда моя жена на меня злилась, то говорила:

– Плунуть бы на эти ботинки.

Я говорил.

– Ну и плюнь.

Она смеялась. Когда она смеялась, она всегда хваталась за мое плечо.

Я понятия не имел, почему она так громко и долго смеется. Но рад был, что ее насмешил. Шутки, в отличие от сложных производственных механизмов, не моя специализация.

Я несколько раз пытался ей объяснить, чем занимаюсь, но она ни разу не поняла.

– Ты объясняешь так скучно, заснуть можно!

Она качала головой и подхватывала пульт от телевизора. Она была из тех, кому очень нравилось смотреть телевизор – особенно шоу, где сильно накрашенные женщины, одетые в костюмы, бесконечно что-то обсуждали. При этом они сидели в разноцветных креслах и задавали друг другу вопросы, в более или более высоких тонах. Она наклонялась и никак не могла оторвать от них взгляд – как будто притягивали ее туда.

Мне нравится рассматривать, как вещи устроены. Всегда нравилось. По правде говоря, я думал, что у меня на это будет больше времени. Я думал, что не женюсь. То есть примерно никогда.

Эта мысль не вызывала у меня ни восторга, ни сожаления, она была такой же обычной, как то, что за весной будет лето, а за осенью зима, а религия не доводит до добра – фраза, которую сказала моя мать, когда исчез мой отец. Однажды он без объяснений ушел из дома. Вместо того, чтобы закрыть ключом входную дверь, он прикрыл ее, сунул ключ под коврик и ушел. И больше не возвращался.

Мне тогда было лет четырнадцать. Моя мать даже не пыталась его искать. Она просто подала заявление об исчезновении. А потом их развели.

Кажется, когда отец исчез из нашей жизни, я должен был расстроиться. Все как будто от меня этого ждали. Мать. Сосед по парте. Учителя в школе. На самом деле я не ощущал ничего – ни дыры, ни пустоты, ни свистящего чувства дезориентировки, когда теряешь что-то и знаешь, что потерял это навсегда. Вроде как ключи выпадают из портфеля, и ищи их теперь, свищи, и точно знаешь, что не найдешь, даже если граблями прочешишь весь путь из школы домой. Я ничего не чувствовал. Не было никакой свистящей дыры. Отец просто исчез, посчитав, что больше нам не нужен. Не понадобится. В общем-то, он был не так уж и неправ.

4

Мать беспокоилась за меня. Спрашивала:

– Хочешь поговорить об этом?

– О чем?

– Ну... о том, что папа с нами больше не живет.

Я поднял глаза и посмотрел на нее.

– Нет.

А потом, потому что она продолжала ждать ответа:

– У нас суп еще есть?

– Есть.

Она поднялась и налила мне еще.

– Точно не хочешь поговорить?

– Нет.

В конце концов, к моему вящему неудовольствию, она повела меня к школьному психологу. Психолог оказался таким старым, что я удивился, как ему все еще разрешают работать. На

вид ему было лет семьдесят, не меньше, и он не говорил, а шелестел, откинувшись на спинку кресла и глядя на меня сквозь очки в железной оправе.

– Вообще-то я не психолог, а психиатр, – прошелестел он. – Я Светлану Леонидовну заменяю. Что с вашим... эээ... юношей?

Мать посмотрела на него с ужасом.

Он задавал мне какие-то вопросы. Показывал картинки. Спросил, не слышу ли я голоса или не вижу ли невидимых людей. Пока он говорил, медленно двигал руками в воздухе, и со своего места я видел, как у него распухли суставы. Болят, наверное.

Он как-то подозрительно быстро прекратил свои расспросы.

И спросил мою мать:

– Зачем вы пришли?

Она замялась и стала что-то говорить про то, что когда нет отца, надо...

Психиатр перебил:

– Может, это вам здесь нужна помощь? А не вашему сыну?

Она замолчала и вся подобралась. Потом сказала мне:

– Подожди в коридоре.

Я сидел и ждал ее на лавочке, вытянув но полкоридора ноги.

В конце концов она вылетела из кабинета. Лицо у нее было гораздо более веселое, чем раньше.

– Пошли, – сказала она мне почти весело. – Пошли отсюда.

5

После того кабинета мать приободрилась. С каждым днем она становилась все веселей и веселей. В конце концов она даже начала петь на кухне, готовя блинчики. Петь! Правда, когда я заходил, она резко замолкала и прикрывала рот ладошкой, как толстая девочка в детском саду, когда стащила из вазочки большую конфету.

Она стеснялась того, как громко она смеялась. Отец бы поморщился и ни за что не одобрил ни пения, ни смеха. Не запретил бы – не в его стиле было запрещать – но не одобрил бы.

Когда отец жил с нами, моя мать никогда не пела. Она косилась на него, а иногда, когда мы с ним разговаривали, поворачивала голову как на теннисном матче – сначала на него, потом на меня, потом снова на него.

А теперь она пела постоянно. По-моему, жизнь вообще стала гораздо лучше, когда он наконец убрался. Правда, когда я ей это сказал, она крикнула:

– Не говори так!

Я пожал плечами.

– Человеку нужен человек, – сказала моя мать.

Этого я не мог понять. Да и не пытался.

– Человеку нужен человек.

Говорила она это обычно когда гладила, и сама себе кивала головой. Потом посматривала на меня, потому что я в это время обычно сидел, согнувшись, за своим столом и придвинув тетрадь поближе к лампе.

– Угу, – кивал я.

Бессмысленно было с ней спорить.

6

Лет в пятнадцать, через год после ухода отца, я вдруг начал представляться Константином. Не потому, что он так говорил. А потому, что что-то не нравилось мне в обрубленном «Косте»,

что-то было в этом – брошенная, обгрызенная кость. Насмешка. Утвердительный стук, который слышался в моем полном имени, вообще не имел к ней никакого отношения.

Я понял, что отец имел в виду.

– Имя тебя подтянет, – сказал он как-то. Мне было тогда лет шесть. – Уж что-что, а имя тебя подтянет. До планки.

– До какой планки?

Он не ответил. Отец вообще виртуозно умел не отвечать на вопросы.

Я до конца так и не понял, какую религию исповедовал мой отец. Мне сначала казалось, что ту, где были ангелы и черти и все четко расставлено по двум сторонам. Но потом я понял, что и к добру, и ко злу мой отец относится с одинаковым пиететом. К злу даже чуть с большим. Как к более сильному противнику.

7

Когда мне исполнилось семнадцать лет, я посмотрел на себя в зеркало.

Все потому, что однажды я вернулся домой в десять вечера, и мать спросила:

– У тебя есть девушка?

После того как она спросила, я включил свет в прихожей – щелкнул по выключателю, и мутное зеркало, в котором отражался я, но в которое я никогда не смотрел, осветилось. Странно – на вешалке висели две отцовские зимние куртки. И одна моя. Он их не забрал, как и никакие другие свои вещи. Мать спрятала его бритву в зеркальный шкафчик в ванной, где хранился йод и мыло, а куртку иногда накидывала на себя, когда спускалась в подвал. Чашка, из которой он обычно пил – зеленая и облезлая по краю – стояла в серванте. Но куртки почему-то особенно сильно бросились мне в глаза. Его не было, а куртки были.

– У тебя есть девушка? – спросила мать.

Она маячила у меня за спиной, ждала ответа.

Так вот. Зеркало. Я посмотрелся в зеркало, и его мутная поверхность отразила мне меня. Ну, я это я. Я редко смотрел на себя – последний раз, кажется, в магазине, куда мать меня повела выбирать костюм на выпускной. Она настаивала, что мне нужен нормальный костюм, а отцовские я носить не мог – он был хуже меня. К тому же я терпеть не мог его запах.

Зеркало отражало мои волосы, не слишком темные и не слишком светлые, приглаженные немного на лбу. Костлявые руки и ноги, рост – средний. Но зеркало закреплено низко, поэтому моя макушка почти доставала до рамы. Рубашку. Штаны. Серые. Свитер. Черный. Лицо.

Обычный человеческий набор. Смотреть особенно не на что.

Единственное, что можно было заметить, так это то, что я стал взрослым. Мне было только семнадцать, но из зеркала на меня смотрел вполне взрослый мужчина. Не знаю, как я это определил, но мне так показалось. Особенно учитывая то, что ни усов, ни бороды, ни даже щетины там не было. Что-то желторотое во мне все-таки оставалось.

Посмотрели бы вы на меня в семнадцать лет. Я вот, например, посмотрел.

Так вот. Насчет девушки. Это как та известная метафора с клеем. Будь спины девушек, которых я встречал, и моя спина намазана клеем, и даже приклейся они ко мне случайно – уже минут через пятнадцать они бы стали предпринимать усилия, чтобы отклеиться, через час им бы это удалось, и они бежали бы куда глаза глядят. Так что клей бы не помог. Никакое количество клея не помогло бы удержать рядом со мной даже самую захудалую пассию.

– Нет, – сказал я матери. – Девушки нет.

О том, что со своей жизнью надо что-то делать, я задумался не сразу.

Вернее нет. Я что-то делал со своей жизнью, потому что с ней надо было что-то делать. Это как полоса, по которой надо идти с завязанными глазами, прежде чем в тебя выстрелят или ты упадешь в море. Понятия не имею, какая полоса, но кажется, я как-то раз видел такой сон. Не помню, этот сон мне приснился уже когда мы были женаты или когда мы еще не встретились. Уже когда были женаты, наверное. Мне крайне редко снились странные сны, но иногда я просыпался посреди ночи, и мышцы спины у меня болели от напряжения, как будто я всем телом защищался от чего-то. Когда были такие сны, я вставал и ощупью шел на кухню. Когда я возвращался, она лежала рядом и дышала. Я не знаю, просыпалась она или нет.

В одном таком сне я шел по полосе с завязанными глазами и знал, что далеко мне не уйти. И одновременно смотрел, как я иду. Я смотрел себе же в спину. И стрелял тоже я? Не могу понять. В сне слишком мало времени, чтобы проанализировать происходящее. Тебе показывают картинку. Вот и все.

Я двигался по узкой полоске. Кажется, она была покрыта толстой белой тканью. Наподобие мешковины. В конце концов я дошел до конца ленты и ухнул вниз. Помню, что летел совсем недолго до того, как проснулся.

Надо было двигаться вперед. Это я понимал. Я очень слабо представлял, куда, потому что кроме того, как движутся большие механизмы, как перекачиваются у них внутри железные куски, как стучит двигатель, как урчит и сокращается невидимая пружина, мало что меня привлекало. Именно поэтому я пошел на инженерию.

В жизни надо двигаться вперед. Надо шагать и одновременно думать, куда шагаешь, а у меня получалось только шагать. Я, казалось бы, должен был четче планировать свой курс, но мне не хотелось думать об этом. Мне не хотелось думать о будущем. И в любом случае. Будущего не существовало.

Надин я встретил на своей первой работе.

Работать я начал сразу же, как выпустился из университета – дальше жить в материнской квартире я не мог, хотя бы потому, что мне хотелось просыпаться и засыпать одному и не в своей детской, а потом подростковой комнате, где все еще хранились тетрадки, с которыми я ходил в пятый класс, и ботинки, которые были мне на два размера малы. Я бы с удовольствием их выкинул, но моя мать принципиально ничего не выкидывала.

– Ты что! – говорила она, и бережно относилась тетради на их старое место. – Ты что! Это же память!

Память о чем, хотелось бы мне знать. Но я с ней не спорил.

Квартиру я в итоге снял старую, с бабушкиной мебелью и скрипучими деревянными полами, кое-где облезлыми. Она была близко к работе и меня устраивала. Диван, правда, пришлось заменить – он был продавлен до такой степени, что через две недели лежания на нем у меня начала болеть поясница.

К счастью, за шкафом оказалась заткнутая туда раскладушка, на которой я и спал последующие два месяца, пока не купил другой диван. Можно было бы положить матрас на голые доски, но у меня было подозрение, что на кухне водится мышь, и потом, на раскладушке было всяко удобнее.

Мышь мне долго не удавалось поймать – она шуршала по ночам, шуршала, но каждый раз, когда я ставил мышеловки или с фонарем выходил на ее поиски, шум прекращался, и она грамотно выходила, уж не знаю как, из-под линии огня. В конце концов я пришел к выводу, что это умная мышь, и незачем лишать ее шанса на жизнь.

Поэтому к мышке у меня больше претензий не было – она исчезла куда-то сама, и больше не шелестела. Наверное, соседи потравили.

У Надин – она не любила, когда говорили «Надя», а требовала, чтобы все называли ее Надин – были черные волосы и тонкое бледное лицо. Губы обкусаны, а глаза жадные, и она водила ими следом за мужчинами, а пальцами, если все сидели в баре или на каком-нибудь корпоративе, крепко обхватывала свой бокал.

У нее была репутация. Не то чтобы той, которая спит со всеми подряд, но той, которая «прицепится к мужику и вот увидишь, уже не упустит, ее стряхнуть тяжелее, чем бешеную собаку», как поэтично выразился один мой коллега. «Такие приклеятся намертво, и либо жениться, либо менять номер телефона».

У меня не было мыслей стряхивать ее, как бешеную собаку. С другой стороны, мысли о том, что я могу ее чем-то заинтересовать, у меня тоже не было.

Помню, я сидел и думал, как мне по-тихому свалить с очередной вечеринки. Я каждый раз об этом думал – в большом скоплении людей мне неизменно было неловко. Я не интересовался рыбалкой, не был спортивным фанатом, не любил ни пиво, ни водку и ненавидел, когда меня хлопают по плечу. Но приходилось выдерживать какое-то количество этого, прежде чем можно было уйти.

Зал уже наполнялся дымом – сухой лед, и я пристроил на спинку стула куртку, готовясь незаметно уйти. Дверь была в десяти метрах, надо было только откланяться с начальником, или, в крайнем случае, хотя бы кивнуть ему головой.

Надин танцевала с каким-то другим коллегой в рубашке и жилете, и ее пальцы с длинными красными ногтями впились ему в плечи. Коллега придерживал ее за талию. Они раскачивались на месте. Когда они развернулись, коллега оказался ко мне лицом, а она спиной. Выражение лица у него было страдальческое.

Я поднялся, чтобы уходить, сделал этот самый кивок, накинул куртку на плечи и, уже открывая дверь, вдруг обнаружил, что Надин каким-то образом оказалась рядом.

– Уже уходишь?

Из-за громкой музыки было с трудом слышно, что она говорит.

Я понятия не имел, что делать, поэтому распахнул перед ее носом дверь. Она бросила через плечо на коллегу, которого оставила на танцполе, ядовитый взгляд и прошла через дверь.

Я в два шага нагнал ее.

– Так что? Уже идешь домой?

Только тут я заметил, что она пьяна. Тушь у нее растеклась, рукой она беспорядочно отряхивала короткую юбку – непонятно от чего, потому что ни пепла, ни пятен я на ней не видел.

– Иду.

Я натянул куртку.

– Мм. Дашь прикурить?

Она наклонилась ко мне, ее повело, и одной рукой, все теми же длинными красными ногтями, она ухватила за мое плечо.

– Я не курю.

– Жжаль, – сказала она басом. – Жжаль.

Я застегнул молнию до подбородка. Вечер был холодный.

– Ну, я пошел.

Она все еще держалась за мое плечо, и, по правде говоря, я понятия не имел, как стряхнуть ее пальцы. Не будешь же просить, чтобы она от тебя отцепилась.

На таком расстоянии я чувствовал запах ее духов – каких-то тяжелых восточных цветов, может быть, лилий, а может быть, ирисов. Я не знал, как пахнут ирисы. Как она?

– Вызовешь мне такси?

Ее глаза были полузакрыты, и она опиралась на меня все более и более сильно. Я опасался, как бы она не упала и не сбила меня с ног.

В такси, куда я в конце концов запихал ее на заднее сиденье, она не смогла толком сказать свой адрес – только бормотала что-то про подругу, подругу Соню. Подруга Соня ничего ни мне, ни водителю не говорила, и в итоге мне пришлось сесть на переднее сиденье и назвать свой адрес. Пока мы ехали, она слегка то ли стонала, то ли мычала, и водитель косился на меня с неодобрением.

Когда мы приехали, я все-таки поблагодарил его – в конце концов, он-то в чем виноват – сунул ему купюру в пятьсот рублей, и практически взвалил Надин себе на плечо. От холодного воздуха она проснулась и озиралась по сторонам.

– Мы где?

– У меня. – Я оглянулся на здание и уточнил: – У моего подъезда. Ты не сказала мне свой адрес.

Она некоторое время нерешительно вглядывалась в меня.

Сейчас спросит, а ты кто.

– Кон-ссантин, – выговорила она наконец. Потом начала энергично трясти головой, как будто пыталась вытряхнуть воду из уха. – Кон-стан-тин.

– Да, – подтвердил я.

Отрадно было, что она помнит, как меня зовут.

10

По лестнице мне пришлось втаскивать ее почти на руках. Лифта у нас нет, а она была довольно тяжелая. Хорошо, что из квартиры на третьем не выглянула бабуся, которая тут всегда бдит. Видимо, в час ночи и у нее не энергии не хватает.

Придерживая Надин одной рукой, я доковырялся в замке и открыл дверь, дотащил ее до дивана и осторожно опустил туда. Черные волосы разметались и закрывали ей все лицо. Я осторожно отвел их в стороны.

Она спала.

На цыпочках я вернулся обратно в прихожую. Закрыв за собой дверь – открытая оставляла странное ощущение небезопасности – и запер ее изнутри на ключ. Сорвал с крючка и пристроил на спинку стула свою куртку. Поставил будильник – была пятница, и еще не хватает, если из-за нее я опоздаю на работу.

Я так устал, что с трудом стащил ботинки, улегся рядом с ней на диван и заснул прежде, чем успел подумать, что все это значит.

Проснулся я оттого, что кто-то сидит на мне верхом и расстегивает мои брюки. Серые. И шарит под свитером. Черным.

За окнами было все еще темно, но уже начинало светлеть.

Это как во сне. Такая ситуация, что не успеваешь подумать, что делать. Ты уже идешь по белой полосе вперед, а времени у тебя мало.

Я приоткрыл один глаз, потом – с трудом – приоткрыл оба и воззрился на нее. Она сняла рубашку и была в одном бюстгальтере. Он был весь в рюшах и, похоже, держался на какой-то проволочной конструкции, которая теперь нависала прямо перед моим носом.

– Ну? – спросила она. – Ну, что же ты?

Таким и был мой первый раз.

Станным. Наверное, надо сказать – странным. Мой первый раз был странным. Я понятия не имел, как это делается, и она, судя по всему, не собиралась проводить мне вводный курс. Но в этом нет особо ничего сложного.

Одна из петелек на ее бюстгальтере была оторвана – я заметил это машинально, взглядом в который раз упираясь в ее грудь. Кружево – если постирали слишком много раз, ткань истончается и рвется. И на коже остаются красные полосы.

У нее было тело, для которого секс не был чем-то новым. Не знаю, как я это определил, но оно было какое-то монолитное, крепкое, привыкшее принимать в себя. Она делала это как-то отчаянно, как будто хотела показать – вот, смотри, я здесь, ты видишь меня, я в твоей квартире, теперь ты видишь меня? Я сижу на тебе, я прямо здесь.

Я видел ее в полумраке, а за окнами становилось все светлее и светлее.

Когда она закончила и слезла с меня, я скопил глаза на часы. Было половина седьмого. Через полчаса уже надо вставать.

Она потянулась и положила голову на мое плечо. Голова была не очень тяжелая, а ее черные волосы разметались у меня по груди. Они все еще пахли ее духами, и немного – телом.

Внутри у меня было пусто.

Ты, наверное, всякое любишь, да, спросила она. В смысле всякое. В смысле интересные штучки всякие. Что тебе нравится, а.

Я закрыл глаза и посмотрел в темноту. Я слышал ее вопрос, конечно, слышал, но до меня он не дошел. Иногда до меня как будто не доходит, что хотят от меня люди. Слова существуют, кладутся в пространство, но ко мне не приближаются – я смотрю на эти слова и не понимаю, почему они имеют ко мне какое-то отношение.

Ее голос раздался снова. Ну? В этот раз она повторила нетерпеливее. С женщинами что любишь делать. Нравится тебе что. Со связыванием? С игрушками?

При слове «игрушки» у меня перед глазами возникла деревянная подставка с тремя ключо-щими петухами, которую я, когда только въехал в эту квартиру, нашел в шкафу, и набор из трех покоцанных, но ярких матрешек.

Ну, сказал я сонно, не разлепляя глаза. У меня настольная игра есть. Поиграть с кем-нибудь было бы неплохо. Так редко, понимаешь, выдается возможность поиграть.

Она замолкла. Потом спросила, хихикнув, на раздевание, что ли. Мы же и так раздеты, подумал я. Но ничего не сказал.

Кажется, я заснул, потому что когда проснулся, то понял, что разбудило меня клацанье в соседней комнате. Ее рядом не было, а часы у меня на запястье отчаянно пикали, и я, потирая поясницу, перекатился, поднялся и, осторожно спустив ноги с дивана, пошел ее искать.

Она выдвигала ящики моего стола и рылась в них. Судя по виду дверцы комода, тот тоже был проинспектирован. Увидев меня, она смутилась.

– Извини.

Подошла и положила руки мне на плечи.

– Мне просто хотелось посмотреть... есть ли у тебя... ну. Всякие интересные... предпочтения.

Она поцеловала меня сначала в одну щеку, потом в другую.

– Денег нет, – сказал я на всякий случай. – В этой квартире вообще денег нет.

Она резко сорвала свои руки с моих плеч.

– Не нужны мне твои деньги!! Я тебе не шлюха!!

– Не шлюха, – подтвердил я. – Хочешь кофе?

Я предложил не потому, что мне так уж хотелось поить ее кофе. Я предложил потому, что мне самому его хотелось.

– В столе старые фото только, – сказал я зачем-то. – Ты, наверное, их видела.

Она издала звук, который звучал как «пффф».

– И часы моего дедушки. «Луч». Если интересно. Во втором ящике.

11

Пока я заваривал кофе, она пристроилась на кухонном табурете, изящно сплетя ноги. Чашку она взяла одними пальцами и поднесла ко рту.

– Ну.

Я ничего не говорил, потому что все еще переливал кофе из турки в свою чашку. Моя была белая с коричневой каймой, а ее – белая с синей каймой.

– Знаешь, – сказала она, когда я наконец уселся. – Ты отличный парень. Странный, конечно.

– Она посмотрела в кружку. – Странный малясь. Но хороший.

Я молча отхлебнул из кружки.

– Ты мне так и не сказал, что тебе нравится, кстати, – сказала она преувеличенно бодро, как продавец на кассе, который спросил, буду ли я брать товары по акции, и теперь ждет ответа. – Может... с завязанными глазами? В необычных позах? Стоя?

– Стоя? – переспросил я.

– Ну. Некоторым нравится прижать свою женщину к стене! – она отхлебнула большой глоток кофе и закашлялась.

Я подумал про банки с сахаром, крупницы которого блстели в темноте. Про клеенку в потертых розах, на которую она поставила локти. Про вилки, которые мирно сушились возле раковины. И про карту мира, которую я прицепил к стене за ее головой – старого образца, и контуры стран уже не такие, какие они сейчас.

Также я подумал про «свою женщину» – и походя удивился. Какую свою?

– Лучше не надо, – сказал я. – Я не уверен, что смогу тебя... удержать.

На это она фыркнула и резко встала из-за стола.

– Не хочешь говорить, не говори.

Когда допил кофе и пришел в комнату, я обнаружил, что она всхлипывает и натягивает свои колготки. В колготках в районе большого пальца была дыра, и от нее к щиколотке бежала некрасивая стрелка.

– У тебя нет других? – спросил я. – Целых.

– Нет, – бросила она, и сердито вытерла нос тыльной стороной ладони. – И вообще. Я уйду.

Потом она с трех попыток не смогла открыть входную дверь. Я в это время мыл чашки на кухне. Она вернулась туда и сердито, шмыгая носом, спросила:

– Ты насильно, что ли, меня тут удерживаешь? Против моей во-о-ли? – последнее слово она затянула, как собака, которая вдруг начинает выть, внезапно и целой руладой.

На что я заметил, что если ты не понимаешь принцип работы задвижки, не обязательно делать такие далеко идущие выводы. Надо просто отодвинуть и повернуть ключ в замке, один раз. Что тут непонятного?

Она гордо удалилась из кухни. Потом пришла опять и сказала, что у нее не получается. И что диван у меня слишком жесткий, сам я странный и вообще извращенец.

А все из-за замка, подумал я. Вздохнул и пошел открывать ей дверь.

Когда я наконец ее открыл – за две секунды – она гордо, задрвав подбородок вверх, выплыла на лестничную площадку.

Потом обернулась.

– Даже не возьмишь мой номер телефона?

Не дожидаясь ответа, она повернулась и пошла. Я стоял и смотрел, как она, нетвердо держась на ногах, спускается по лестнице.

Потом я закрыл дверь.

До сих пор не понимаю, зачем делать это стоя.

12

Это в моей жизни случалось часто. Повторялось часто, я имею в виду. Когда от меня вроде бы ожидалось, что я должен что-то сделать, но только я не очень понимал, что.

Иногда я узнавал об этом сильно потом.

Я не особо думал о Надин. По правде говоря, я почти сразу же о ней забыл. Иногда видел ее в столовке или в коридоре, когда она шла мимо, вся застегнутая в черный костюм, и громко разговаривала со своим начальником, который шел рядом.

Как-то я случайно подслушал, как она обсуждает меня с подругами у кофейного автомата – в серой комнате, где стояли автоматы по продаже еды, неработающие, но светящиеся тусклым голубым светом.

– Ты что? С ним? С этим занудой? – номер один тоненько хихикнула. – Ну ты даешь! Я думала, ты с Максимом уехала!

– У Максима же девушка есть? – номер два.

– А он мне сказал другое, – обиженный голос Надин.

– Ну, может, уже и нет, – поспешила успокоить ее вторая. – Девушки они такие. То есть, то нет. Особенно если не живут вместе. Дело такое.

– Так ты... с ним? – не унималась первая. – Как тебя угораздило? Он же скучный, как... как носки в клеточку! И холодный небось.

– Ничего не умеет, – подтвердила Надин. – Вообще ничего.

– Какая-нибудь клуша в конце концов подберет, – отозвалась вторая. – Научит.

– Научишь такого. – Надин зашлась хриплым смешком.

– Ну он же молодой еще? – спросила первая.

– Да и что, что молодой. Женщину небось в первый раз видит.

– Ты что, его... – опять зашлась первая. – Девственности лишила?! Ха!

– Не, – отозвалась Надин быстро. – Кто-то там уже был.

– Но ничему не научила! – продолжала веселиться первая.

– Пойдемте, девочки. – Надин вздохнула, и я попятился от двери.

– Максим про тебя спрашивал, – сказала вторая осторожно.

– Скажи ему, что я занята, – отозвалась Надин. – У меня сегодня вечером свидание.

– Что, первое?

– Не-а, – сказала Надин загадочно. – Не первое. И я думаю, это мой мужчина.

Меня это не особенно задело. По правде говоря, я понятия не имел, что она имела в виду, когда говорила, что «какая-нибудь клуша меня подберет».

Мне на тот момент было уже двадцать восемь, и никакая «клуша», как она выражалась, меня не подобрала – и я сильно сомневался, что так оно и будет.

На ком только не женятся, сказала однажды моя мать. Эту фразу я слышал и раньше, но из ее уст – впервые. На ком только не женятся. И кто только не женится. Любовь – это загадка.

Интересно, что важнее – кто или на ком. Наверное, и то, и другое одинаково важно.

13

Мне это казалось какой-то программой. Программой, которую все должны выполнить.

Вокруг меня было много людей, которые много чего имели против программы. Я против программы не имел ничего. Быть одному меня не пугало, я воспринимал это как что-то само собой разумеющееся. Идти по программе меня тоже не пугало – в конце концов, у всего есть какие-то рамки. У жизни тоже есть какие-то рамки. Вход и выход. Почему бы и нет?

Я не раз видел, как кто-то тратит много усилий на то, чтобы бесконечно объяснять, зачем он отклонился от программы. Вначале выгибается, пытаясь вырваться из нее, дергается, стараясь выдернуть оттуда застрявшие части. По мне так гораздо проще пройти мимо нее. Под ней, параллельно ей. Все будут считать, что ты нормальный. Все будут считать, что тебе просто не повезло.

Часто говорят – где же я найду вторую такую. Где я найду вторую такую жену, вторую такую, как она.

Я изначально знал, что я не найду вторую такую.

Я и в том, что найду такую первую, не был уверен.

А ее мне просто выдали, выдали одну и в единственном экземпляре. Я особенно никогда не спрашивал, почему мне выдали именно ее. Это была случайность, странная случайность, но я не стал ничего спрашивать, почему, потому что был уверен, что второго такого квитка на бесконечный распределитель невест не будет.

Иногда мне кажется, что жизнь – пустая коробка. Автобус, вроде того, в котором я каждое утро еду на работу, тоже, но автобус – это время. Оно всегда идет по маршруту из прошлого в будущее.

А пустая коробка потому, что каждый набивает ее чем придется, только бы не чувствовать растущую пустоту.

14

Я уже говорил, что Лена – Леночка, как её все называли – была совсем не такая, как нравящиеся мне худые и костистые девушки, с выпирающими вперед ключицами, длинными волосами и глазами как у лесных фей на картинах, когда они выглядывают из лесной чащи. Леночка существовала в реальности, а они существовали в воображении. Преимущественно в моем, но в чьем-то еще, возможно, тоже.

Жены вообще существуют в реальном мире, и с этим иногда трудно смириться. Концепт жены некоторым людям куда приятнее, чем факт самой жены, ее физическое присутствие.

Кровать с ее стороны была продавлена округлым отпечатком тела. На подушке после нее оставались тонкие белые волоски. Она беспокойно поднимала голову с подушки, резко вставала и шла по своим делам, спешила, беспокоилась – я ни разу не видел, чтобы она залеживалась допоздна или вообще лежала в кровати хотя бы пару минут после того, как проснулась.

Ее ложка, аккуратно вымытая, была в такой же аккуратно вымытой чашке. Она всегда оставляла их вместе – ложку и чашку. Хотя все остальное мыла и раскладывала по местам, или я мыл и раскладывал по местам, но тоже оставлял их вместе, не решаясь разлучать.

Она наводнила мой мир своими предметами. Странно, как незаметно, но как до краев они наполнили мою квартиру. Даже старую мебель в конце концов пришлось выбросить.

Когда-то я читал рассказ Мопассана «Пышка», и она была такая. Не в смысле толстая и проститутка. А в смысле у нее было это ощущение собирания вокруг себя тепла. И одновременно, когда я ее встретил, я подумал – у нее поджатые, дрожащие губы человека, которому не везет.

Я встретил ее... вообще-то я ее не встречал. Я уже говорил – мне ее выдали.

Но что произошло, так это то, что я всегда ездил на автобусе на работу с одной и той же остановки. У края проспекта, когда он из широкого становился узкой улицей, которая кривилась и уходила вдаль между низкорослых домов на краю города и кустов сирени, которые торчали из-за забора с другой стороны.

Эта остановка была в самом центре спального района, и уже к восьми утра на ней собиралось ужасно много людей. Человек тридцать. Школьники с рюкзаками, усталые матери, которые держали своих детей за рукав пуховика, рабочие с серыми от усталости лицами, мужчины с портфелями в узких черных брюках и кепи, надвинутых на уши. Все они, скруглив плечи, ждали автобуса, готовились в него залезть, неизящно оттолкнув плечом менее удачливых товарищей. Я ненавидел лезть впереди всех, и обычно задерживался и влезал в автобус последним. Если вообще влезал.

Поэтому ждать и дрогнуть на этой остановке мне в конце концов надоело. И я стал ходить на соседнюю.

Она была подальше – минут пятнадцать пешком, которые мне особенно не хотелось идти. Зато там сразу был и автобус, и трамвай, и давка была намного меньше – не обязательно было грудью прижиматься к стеклу и щупать карманы, проверяя, не залез ли в них кто и не вытащил ли мою карточку, – и, главное, там было кафе.

Кафе было захудалое, бывшая столовая, а теперь просто стеклянный прилавок, в котором были пирожные и мороженое – заветренные эклеры, ромовые бабы с подтекающим шоколадным краем, вмятые с одной стороны «картошки». Кофе-машина позади стеклянного прилавка, блюдо для сдачи и несколько столов на кафельной плитке. Освещение было тусклое, и за столиками почти никто не задерживался – зато очередь образовывалась, а потом быстро рассасывалась, пока все бежали на автобус.

Я иногда ходил туда за кофе. Я не люблю кофе, особенно ту мутную жижу, которую они там давали в бумажных стаканчиках. У них даже крышек не было, и подмазанная тетка, работавшая там, морщилась и лезла куда-то под прилавок, когда я просил дать мне что-нибудь, чем накрыть стакан.

Но я все равно ходил. Выпить с утра что-нибудь погорячее, подержать его в пальцах – кто этого не любит?

15

Первый раз я увидел ее, стоя в очереди. Она сидела за столом – единственная, кто за ним сидел, потому что все остальные стояли у прилавка, скорбно смотрели то на тетку-продащицу, то в окно, и переминались с ноги на ногу.

Она на тетку-продащицу не смотрела. Кофе перед ней тоже не было.

Вместо него перед ней было штук пять папок с документами, распечатанная таблица, к которой она прижала палец, и старый толстый компьютер, который гудел под низким потолком.

Вид у нее был старательный, но круглый. Белая прядь волос упала на лоб, две другие были заправлены за уши. Грудь под пуховым свитером почти легла на стол. Под глазами морщины, в уголках рта морщины, и все как будто заострились и нацелились на лист.

– Ну что, Ленуш? – окликнула ее продавщица.

Она нахмурилась, но глаз не отвела.

– Что?

– Нормально все?

Она покачала головой, не прекращая всматриваться. Свитер колыхнулся над столом.

– Как закончу, так скажу, нормально или нет.

– Кофейку тебе налить?

Пассажиры опять побежали на автобус, и очередь сильно поредела.

– Спасибо. – Она тряхнула локоном. – Пока не надо.

Сомневаюсь, что она вообще меня видела, хотя я стоял в двух метрах от нее.

По правде говоря, я ничего тогда такого не подумал – она привлекла мое внимание, но я разглядывал ее, как, не знаю, фасад здания, которое раньше было оранжевое и кирпичное, а потом его покрасили в модный светло-розовый цвет.

Говорят – первое впечатление. Я не подумал про первое впечатление. Я и сейчас не могу сказать, какие было мое первое впечатление.

Но она правильно сделала, что отказалась от кофе.

Тем утром он был особенно отвратный.

16

Я заходил в это кафе каждый день, и видел ее все чаще и чаще. Где-то раз в неделю, может, даже два дня подряд.

Иногда она вообще не появлялась, а амбарные книги лежали и поджидали ее. Иногда ее ручка пылилась на столе. С четырьмя стержнями. Пузатая, неудобная ручка, которая плохо помещалась в ее пальцах. Наверное, поэтому она ее и оставила.

Мне не приходило мысли с ней поговорить. О чем я бы стал говорить? О том, какой дрянной тут кофе? Да, знаете, как в прошлый раз. И в прошлый. Им надо поменять кофе-машину. И локацию. И вселенную. Измерение. Тогда их кофе наконец превратится во что-то приятное. Хотя бы во что-то, что можно пить.

Кроме того, что она бухгалтер и работает в этом кафе по четвергам и иногда по пятницам, я ничего о ней не знал.

Она узнала о моем существовании вообще раза с пятнадцатого. Я все время носил одну и ту же куртку – черную, с большими карманами и ужасно практичную, но при этом делавшую меня совершенно незаметным. А потом я пошел в торговый центр и взял там желтую, для зимы. Я тогда не подумал, что желтый будет выделять меня в автобусной толпе, а я буду выглядеть как человек-лимон или дорожный рабочий.

Неудивительно, что когда я в первый раз пришел в этой куртке в кафе, она вскинула голову.

И увидела меня.

Ничего не произошло. Вот говорят – наши взгляды встретились, и меня пронзил электрический разряд. Они не знают физику. Начнем с этого.

Никакой заряд никого не пронзил, просто мы впервые встретились глазами. Это что-то вроде тех штук в компьютерной игре, когда бывает, что персонаж «залочен», то есть недоступен на том уровне, который проходишь, а потом вдруг появляется. Вот так и я – был залочен, и вдруг появился.

Она так долго смотрела на меня, растерянно от того, что я нарисовался так неожиданно, что я сказал: «Добрый день».

Она тоже сказала: «Добрый день».

И вернулась к своим бумагам.

Следующие пару недель мы не разговаривали. Я рассекал в своем желтом пуховике и собирал комплименты. Даже Надин его заметила – она все еще работала у нас, хотя с того инцидента прошло уже года два. Теперь она выглядела по-другому. Когда я видел, как она идет по коридору, то это, казалось, была и не она.

Я в жизни не подходил к женщинам. Вернее, подходить я, конечно, подходил, но совсем не в этом смысле. Например, к тетке из приемной комиссии, когда она выдавала мне мой студенческий билет. Или к продавщице с ее «картошками». Или, не знаю, к чертежнице у нас на работе, к секретарше главного, когда надо было что-то передать. Я быстро подходил и так же быстро удалялся.

Никогда в жизни я не говорил что-то вроде:

– Эй, красотка, пойдешь со мной в бар?

Или:

– Вашей маме зять не нужен?

Я сразу представлял пожилую и изрядно уставшую женщину, которая ждет, подперев щеку ладонью, и смотрит в зимнюю уличную муть, сквозь листья алоэ и кухонные грязные занавески. По-моему, не особо-то она и обрадуется, если объявится еще какой-то зять.

Или даже:

– Хотите познакомиться? Меня зовут Константин.

Я никогда не говорил: «Меня зовут Костя».

В общем. Я в жизни не подходил к женщинам – и не собирался.

17

Мне зачем-то распечатали визитки – Константин такой-то, инженер, адрес и номер моего мобильного телефона, который по большей части болтался без цели у меня в кармане.

Я в жизни не давал никому номер своего мобильного телефона. Кроме однокурсников, которым он был не очень-то и нужен, и матери, которая писала мне, чтобы купил кило картошки и стиральный порошок. Иногда она писала «Хорошего дня» или «Сейчас не могу разговаривать». Я ничего не отвечал.

Но мне распечатали визитки, и я положил парочку в карман. А в очереди от нечего делать нащупал двумя пальцами кусочек картона. Вытащил. Стал рассматривать.

– Карточка ваша визитная? – у тетки-продавщицы в тот день было хорошее настроение, а посетителей было мало.

– Так точно. – сказал я.

– Дайте.

Я протянул ей карточку через прилавок.

Она некоторое время порассматривала ее, повертела в толстых пальцах. Посмотрела на обратную сторону. Потом крикнула:

– Ле--е-е-ен!

Та оторвалась от своего экрана.

– Да?

– Тебе жених не нужен?

В очереди кто-то захихикал, но быстро подавил смех. Я не оглянулся посмотреть.

Я думал, она смутится. Но она смотрела устало и как-то не то чтобы безразлично, не то чтобы равнодушно – нет, но как-то удивительно спокойно, как будто уже обваляла в мягком масле мыслей то, что давно знала.

– Возможно. – сказала она. – Дай-ка сюда.

Первое свидание у нас было в моем любимом кафе. Любимом, потому что сконы там были хорошие – такие булочки, которые можно было разрезать надвое и намазать маслом и вареньем. По мне так это были просто булочки, но в меню они назывались «сконы», и владелица кафе, дородная дама с жесткими короткими волосками на подбородке, тоже их так называла. Я не рисковал с ней спорить.

Лена пришла минута в минуту – толкнула перед собой дверь, протолкнула туда сначала тяжеленную сумку, которую всегда носила с собой, с громким звуком бахнула ее на пол, а я протянул руки, чтобы помочь ей снять пальто.

Когда мы наконец уселись, она вдруг смутилась так, что лицо у нее стало совершенно пунцовым.

– Наверное, я должна у вас спросить, как вас зовут и чем вы занимаетесь, но я уже знаю! – выпалила она наконец.

– Ну да, – сказал я с некоторым удивлением. – Константин. Инженер. Это на визитке было написано.

– Да, да, – она закивала головой. – Вашу визитку я помню. У меня хорошая память на имена и фамилии. И даты.

Она чуть подумала.

– И цифры.

– Может, будем на ты?

Она покраснела еще сильнее. Уши буквально запылали красным.

– Я... сразу на ты не могу, – сказала она наконец. Не очень решительно. – Давайте пока на вы. Мы все-таки не слишком знакомы.

– Давайте.

Когда принесли чай, она нервно засмеялась. Она вообще вела себя так, как будто вот-вот вскочит и побежит со своего места, как резвая кобылица. Резвая кобылица весом в восемьдесят килограммов.

У нее был обширный бюст, видный даже под глухим серым свитером. Волосы, завязанные в хвостик – под конец дня они пушились облачком у ее головы. На пальцах – несколько колец. Все простые, только одно с бирюзовым камнем.

– Я не часто... Ну то есть, я никогда... – она замялась, двумя пальцами взяла чашку и поднесла ко рту. Капля тут же упала ей на свитер.

– Не люблю, когда маленькие чашки, – пожаловалась она. – Вечно пальцы обжигает. И наливать надо по десять раз.

– Я тоже, – сказал я. Совершенно искренне.

Она вдруг посерьезнела.

– Так что вы хотите?

На такой вопрос я не знал, как отвечать. Тем временем она наступала.

– Вы ищете женщину для серьезных отношений?

– Вполне серьезных, – сказал я.

– Ну то есть вы не только спать с ней хотите? – уточнила она.

– Спать тоже хочу, – подумав, честно признался я.

– А раньше у вас женщины были?

Странный оборот принимал наш разговор. А я думал, что это я ее пригласил.

Я не видел причин врать.

– Были, – сказал я.

Мой ответ, казалось, ее успокоил.

– А долго вы... с ними были? – спросила она. – Почему все не привело... к браку?

– Ээ.

Я задумался. Ответа на этот вопрос у меня приготовлено не было.

– Ну. Там было довольно далеко от брака.

Она наклонила голову набок. Как птичка на ветке. Такой же жест был у моей бабушки.

– Это были... разовые встречи?

– Д-да. – Сконы все никак не несли. – Разовые.

– И она была на это согласна? Ваша... девушка?

– Да, – я пожал плечами. – Наверное, да.

Она, казалось, о чем-то задумалась.

Потом резко спросила:

– Простите, а сколько вам лет?

Ну хоть это был простой вопрос.

– Двадцать девять, – сказал я. – Тридцать будет в июле.

Она нахмурилась.

– Я думала, вы моложе. А мне тридцать пять.

– А.

Эта информация не произвела на меня особого впечатления. Она была старше, чем я вначале думал, но я и не думал ничего особенного – между тридцатью и сорока.

– Мне тридцать пять, и последние четыре года я провела с...

Принесли сконы. Официантка в не слишком чистом переднике – тут у всех были такие – поставила блюдечко между нами. Потом принесла подставку с вареньем и маслом. Я взял один кон.

– Мне не нужен мужчина с несерьезными намерениями. – резко сказала она.

Нож клацнул по тарелке.

– Вы извините, что я вас так допрашиваю, но мне... я... Я больше просто не выдержу. С меня хватит. Понимаете?

И тут я взял и сделал ответный выпад.

– Так с кем вы провели четыре года?

Она посмотрела мимо меня.

– С тем, кто мучил меня неопределенностью. – сказала она тихо и четко.

Уголок ее рта поехал вниз, мышца на щеке дернулась, но она быстро вернула ее на место.

– Я все делала, понимаете? Все! Жила с ним, мыла, убирала, стирала! Расстегай научилась готовить, будь он не ладен! Записывала его к врачу, пришивала ему пуговицы, покупала лекарства его маме! Даже в больнице ее навещала! И все зачем? Все ждала, пока он... пока он...

Она порывисто перевела дыхание, но овладела собой.

– А он... ничего. Четыре года! Ни кольца, ничего! А потом, – продолжила она сердито. – Я у него спросила. А он и говорит – зачем? Зачем жениться? Я не хочу на тебе жениться. Меня и так все устраивает. Его и так все устраивает!! Понимаете?!

В кафе, кроме нас, никого не было, но официантка покосилась на нас неодобрительно.

Лена схватила со стола салфетку и быстро вытерла лицо. Но продолжала.

– А он у меня спрашивает, Леночка, ну ты что. Что?! Что я?! Четыре года! Меня тридцать пять уже! Так что вы меня извините, Константин, – она ткнула в кон ножом, и он раскололся надвое.

– Больше я на это не пойду.

– На что? – уточнил я.

– На то, чтобы жить без брака, – отчеканила она. – И еще мне хотелось бы иметь детей. Мне тридцать пять!

– Это я помню.

Она хмуро посмотрела на меня, потом отломала от скона кусок и мрачно запихала его в рот. Даже вареньем не помазала.

– С вареньем вкуснее, – сказал я.

Но она не послушала. Проглотила и сказала укоризненно:

– Так вы как?

– Насчет чего?

– Насчет жениться.

– Вообще-то это наш первый разговор, – напомнил я.

– Первый или сто первый, какая разница. – она помахала у меня перед носом вилкой. – Чтобы принять решение, много времени не надо.

В этом я, подумав, мог бы с ней согласиться.

Я прожевал и спросил:

– Так сколько вы мне дадите?

– Сколько дам вам чего?

– Не чего, а на что. На принятие решения, – сказал я. – После одного разговора предложение руки и сердца я вам сделать не могу, извините.

Она издала какой-то странный звук, как будто подавилась.

– Вы же шутите, да? – спросила она. – Вы так шутите? Вы вовсе не собираетесь на мне жениться. Вам я тоже не подхожу, да? Я никому не подхожу.

И с сожалением посмотрела на скон.

– Я как испорченная игрушка в игрушечном магазине. Никто меня не выбирает. Лежу себе на полке... одна.

Через два месяца я сделал ей предложение.

19

Это не то, что вы думаете.

Осмелюсь даже предположить, что это совсем не то, что вы думаете!

После того разговора мы вышли из кафе, пожали друг другу руки и разошлись по разным сторонам. Ни дать ни взять собственник квартиры и покупатель, которые только что заключили сделку и разошлись, вполне довольные друг другом.

Я продолжал видеть ее по дороге на работу. Она продолжала сидеть над своими таблицами, но теперь иногда здоровалась первой, бегло поднимая на меня взгляд. Вид у нее был такой, как будто она – военачальник, который восседает на куче черепов, составленной из убитых врагов отчества. Решительный вид, и даже немного грозный.

Она мне такой нравилась.

– Моя голубка, – говорил я ей про себя.

Непонятно, как там появилось слово «моя», и еще более непонятно, как появилось слово «голубка».

В конце концов мне это надоело. Я подошел к ней и сказал:

– Ладно.

Она подняла голову:

– Ладно что?

– Ладно. Ты выйдешь за меня?

Я как-то не учел, что за моей спиной стояла длинная очередь совершенно незнакомых мне людей.

Стало очень тихо.

Она медленно подняла голову.

Мы встретились взглядом – как тогда, в первый раз.

– А детей ты хочешь?

У меня шумело в ушах, и я не сразу понял, о чем она спрашивает.

– Мать честная! – охнула тетка на кассе.

В очереди кто-то что-то пробормотал, но я не расслышал.

– Я не против, – сказал я. – Своих у меня нет, но я... за.

– Да! – сказала она звонко. – Да!

И потом, когда я не понял, повторила:

– Да! Я за тебя выйду.

Это был второй раз, когда она сказала мне «ты».

Не дожидаясь, пока я еще что-нибудь скажу, она вскочила со своего места и обняла меня за плечи.

Очередь заплотилась.

– Молодец, мужик! – донеслось из-за моей спины.

– Желаю семейного счастья!

– Побыстрее можно, пожалуйста?!

– Совсем офонарели...

– Автобус сейчас придет! Я здесь полчаса ждать не буду!

Я осторожно прижал ее крепче. Она подняла ко мне лицо. Оно было все влажное – от слез.

Я посмотрел на нее сверху вниз.

– Кольца у меня нет, правда.

– Купишь.

Она поднялась на носочках и поцеловала меня. Губы у нее были теплые, а не влажные.

– В ближайшем магазине и купишь. Это не так сложно. Я тебе скажу, что мне нравится.

И размер.

– Размер? – удивился я. – У колец бывают размеры?

Тут уже засмеялась она. Я первый раз слышал, как она смеется.

– Бывают. Еще как бывают.

И обняла меня плотнее.

20

Мы подали заявление на следующий же день – так я узнал ее отчество и фамилию.

– Мм, – сказала она, посмотрев в мой паспорт. – Фамилия как фамилия. Мне в общем-то все равно, на какую менять. Ну разве что не Дуракова.

– Дуракова?

– Или Козлова. У меня была одноклассница, Козлова. Жутко противная баба. – Она передернула плечами. – Так что Козловой я бы точно не согласилась быть.

– Ну. Значит, хорошо, что я не Козлов.

Дату регистрации мне было все равно какую – выбирала она. Мы условились, что она передет ко мне сразу после свадьбы. Но посмотреть квартиру она приехала раньше – с чемоданом, огромным, едва ли не больше, чем она сама.

С некоторым трудом она расстегнула его в прихожей. В буквальном смысле расстегнула – он был прихвачен ремнями.

– Молнию заедает, – пояснила она на мой вопросительный взгляд. – Трудно потом открыть.

В чемодане оказались: фен, банный халат, несколько пар тапочек, электрический чайник (у меня был свой) и целый шкаф женской одежды и обуви. Также там был кофр, набитый какими-то кремами, таблетками и средствами, которые она с некоторым трудом засунула в угол ванной.

– У тебя совсем мало места, – сказала она критически. – Со временем передем в квартиру побольше.

Потом принялась швыряться в шифоньере, ища там место для одежды. Одежды и обуви у нее были буквально горы, поэтому я сомневался, что место там вообще когда-нибудь освободится.

Но нет – квартира выглядела совершенно по-другому после того, как она в тот раз отсюда уехала. Чемодан был опустошен и засунут под диван.

– Что за гадкая штука, – сказала она, этот диван увидев. – С таким спина будет как буква зю. Надо будет купить нормальный.

И мы действительно купили нормальный. На нем было намного удобнее. Не знаю, что в этом казалось мне таким удивительным.

21

Организацией свадьбы тоже занималась она. Если это вообще можно назвать организацией. Иногда просила меня помочь – с машинами, с рестораном, всем одинаковые бабочки («Кому – всем? Какие бабочки?» – «Бабочки на шею, конечно! У тебя же наверняка нет! Ну... Костя!» – «Не называй меня Костей». – «Ладно. Константин». – «И где я тебе найду бабочки?» – «Ну найди где-нибудь! Свадьба через неделю!» И я принимался искать.)

Я понятия не имел, что организация свадьбы это такая головоломка. Даже такой маленькой, как у нас. Под конец я так устал, что не был бы удивлен, если следующим пунктом надо было бы ехать в Гондурас – за редкими образцами ананасов для праздничных столов.

За два дня она позвонила мне и серьезно спросила:

– Ты не передумал?

Я в это время дремал, вытянувшись на диване. Поэтому, сонно приоткрыв глаза, переспросил:

– Передумал насчет чего?

– Насчет того, чтобы на мне жениться.

Даже так я почувствовал, что из трубки сочится страх. И чем дольше я молчал, тем больше он сочился.

– Нет, – сказал я. – Нет, я не передумал.

– А ты... не абьюзер? И у тебя нет наследственных болезней? Наркотических и алкогольных зависимостей точно нет, я бы заметила, если бы...

– Ты сейчас у меня спрашиваешь?

– Ну, – сказала трубка нерешительно. – Когда-то же надо спросить. Лучше до свадьбы, да?

– Нет. Ничего у меня нет.

Пока дремал, я умудрился скинуть с себя одеяло, и пошарил теперь рукой по полу в его поисках.

Трубка с облегчением вздохнула.

– Альцгеймер? Депрессия? Умственная отсталость? Деменция? Синдром Турретта?

– Синдром Турретта?!

– Извини. – сказала трубка. – Читала про него где-то. Заработалась. Это я случайно. Но... ты не передумал? Точно?

Я вздохнул и сказал честно:

– Только про кольца для салфеток мне больше не говори, ладно? Гребаные кольца для салфеток. Я и без них хорошо жил, и дальше, думаю, хорошо проживу...

Она засмеялась.

И положила трубку.

22

В день свадьбы была отвратительная погода. Выпал снежок, и шел мелкий дождик – и таял противными хлюпающими хлопьями, так что края брюк моментально грязнились, не говоря уже о ботинках.

Я надел свой единственный костюм и бабочку – потому что она настаивала, и приехал к ней домой с утра пораньше и дождался в подъезде, «чтобы не видеть меня в свадебном платье, если увидишь – плохая примета».

Моя мать звонила мне с самого утра – она должна была приехать в ресторан, но все нервничала, непонятно почему. Лично они с Леной еще не виделись.

Она звонила каждые десять минут. И каждый раз спрашивала:

– Ну, как там у тебя?

Я каждый раз говорил:

– Нормально.

Потом она спрашивала:

– Уже расписались?

Я говорил:

– Еще нет.

Она говорила:

– А во сколько роспись?

Я говорил:

– Мам! Ты уже спрашивала.

– А. Ну да. А я еще не выехала. Я... – ее голос звучал растерянно. – Я только собираюсь. Думала черное платье надеть, а потом вспомнила, что это же свадьба, а на свадьбу не носят черное.

– Да, – согласился я. – Вроде не носят.

– Я придумала, что.... Лене. – Она произнесла ее имя осторожно. – Подарить. Я ей в ресторане подарю.

– Ладно. – соглашался я.

– Ты мне прислал адрес ресторана?

– Ну да.

– А открываются они во сколько?

– Мам. Они уже будут открыты.

Она помолчала и сказала:

– Лучше бы ты за мной заехал.

– Я не могу, мам. – Бабочка неприятно жала мне шею, и я потянул резинку двумя пальцами.

Непонятно зачем они делают такие тугие резинки. – Мне Лену надо забрать.

– А. Ну да. Ну я тогда поеду в ресторан, а ты давай, давай, вы, наверное, торопитесь... – она зачистила так, что я с трудом мог понять, что она говорит.

– Пока, мам. – сказал я. – Увидимся там, ладно?

И положил трубку.

23

В загсе я сказал «да», когда спросили. Это, как я понимаю, было самое главное.

На тетку с папкой я не смотрел – это была совсем даже не тетка, а женщина с крупными чертами лица и такими же крупными серьгами в виде золотых ракушек. Костюм у нее был бордовый и ужасно ей не шел, потому что делал ей огромные плечи и талию как холодильник, и вся вместе, с прической, она была похожа на швейцара из отеля «Метрополь».

Лена тоже сказала «да». Звонко и четко. И сильно стиснула мою ладонь.

На банкете она была так пьяна от счастья, что я сомневаюсь, слышала ли она хоть одно слово из того, что там говорилось. Она блаженно улыбалась даже тогда, когда вся косметика осыпалась и образовала у нее под глазами синие озера, а помада съелась – каждые три минуты она тянулась меня поцеловать. От того, что я постоянно кренил голову в ее сторону, как белый лебедь на пруду, чья самка немного отстает и плывет сзади, в конце концов у меня разболелась шея.

Людей было очень мало – мои коллеги с работы, моя мать, ее коллеги с работы, которых оказалось почему-то очень много, и все женщины в платьях и пиджаках, кто пошире, кто поуже, но до такой степени типичные, что мне показалось, что их всех привели как массовку, с ближайшей автобусной остановки. Если бы они были специально отобранными актерами, которые гуляют, поздравляют и кричат «горько!» на свадьбах, а потом каждому платят по тысяче рублей и вся тусовка расходится домой, для меня не было бы никакой разницы. Мужчин было очень мало, и женщины в пиджаках танцевали друг с другом, крутятся и качаясь, раскачиваясь и даже подпрыгивая, опрокидывая еще рюмашку и подпрыгивания еще резвее. Кто-то – с мужьями, которых притащили сюда же, с собой, потому что на вечеринку, как известно, проще явиться со своим самоваром. Особо ретивые сидели, сторожа своих мужей, следя за их дозами алкоголя и зыряка по сторонам, а вид у этих мужей был такой мрачный, как будто скоро под ними провалится пол.

– Это Мишка и Светка, – шептала она мне на ухо. – Разошлись в прошлом году, но потом опять сошлись. Ребенок все-таки.

– А это Петька и Вася. Василина, но все ее Васей зовут. Петьку все знают, по бабам ходить любит, но ты не говори, что это я тебе сказала, Василина хорошая, моя коллега, мы вместе на заводе работали, где я еще практику проходила, а тогда...

Принесли торт. К тому моменту, как мы его разрезали и обнесли всех гостей, и тех, кто сразу с благодарностью пихал его в рот, и тех, кто хотел взять себе кусочек и сунуть в пакет, чтобы забрать домой, и Петя, и Вася, и Надя, и еще все те, кто там был, вылетели у меня из головы.

– А у нас с твоим отцом не было свадьбы, – сказала моя мать мечтательно. Она не танцевала, только слушала вальс и качала ногой.

– Да? – спросил я. – Почему? Я думал, была. У вас вроде и фотография есть.

Я выпил не много, но вино туманило мне голову, клонило в сон – а Лена куда-то делась, то ли в очередной раз выбежала в туалет, где подружки послушно держали ей шлейф, чтобы не прищемило дверь, то ли выскочила на улицу, постоять, «проветриться».

– Не было свадьбы. Мы сразу только расписались, а фотографию потом сделали. Моя подружка нас фотографировала.

– Я вначале за другого хотела пойти.

Я качнул головой.

– За какого другого?

– Да у него друг был. – мать слегка нахмурилась. – Женя. Мне больше нравился. А твой отец смурной был, такой серьезный. Я даже для свадебной фотографии ему говорю, когда делали, на нас фотоаппарат наводят, а я говорю – ну, улыбнись ты хоть раз! В первый же раз женишься!

– А он что – улыбнулся?

– Женька другом жениха был. Свидетелем, вот как, – продолжала мать, не слыша меня. – Потом уехал. Компанейский такой парень был. Уехал. Вроде в Мурманск.

– В Мурманск, – повторил я механически.

Мать откинулась на спинку стула и качала туфлей в вальсовый ритм.

– А все могло бы быть не так, – сказала она. – Странно, как поздно это понимаешь. Все могло бы быть не так.

Странно, как однажды принятое решение становится гвоздем. Гвоздь этот вбивается в стену жизни, а на него потом навешивается все остальное – куртки, сумки, тяжелые пакеты.

Но если бы не было этого решения, всего остального бы тоже не было, и все это добро свалилось бы на пол.

Во второй ее приезд чемодан был еще больше.

– Твоя квартира странная какая-то, – пожаловалась она. – Вроде место есть, а ничего не помещается.

– Если надумаешь что-нибудь выкинуть, меня вначале спроси, – сказал я.

Со временем она выкинула вообще все. Даже кухонного гарнитура, который казался мне вполне ничего, не стало. Старого, предыдущего меня тоже не стало. Уж если позволишь женщине себя изменить – она изменит все.

Не то чтобы я стал думать о других вещах или стал другим человеком – я думал о том же самом по дороге на работу, но еще я думал о ее подбородке, о белом изгибе ее тела, о коже, усыпанной мелкими красными крапинками, и о том, как она зевала утром, широко и отчаянно, и закрывала рот рукой, чтобы зевать не так громко, а потом по одной спускала ноги с кровати.

– Ну почему же так не хочется вставать, а? – спрашивала она у пустоты. – Почему так не хочется вставать?

Я лежал с закрытыми глазами и слушал.

– Эх!

Она с силой отталкивалась от кровати и шла в ванную.

Я зажмурился – от удовольствия. Хорошее было утро.

Просто я никогда не думал, что это буду я. Я всегда почему-то был уверен, что семейная жизнь обойдет меня стороной, – но прошел месяц, потом два, потом шесть, потом почти год – пока до меня в конце концов дошло, что нет, не обошла. В конце концов я приучился говорить «моя жена», и все равно каждый раз спотыкался на этом слове.

На работе меня не особо поздравляли – женился и женился. Только Надин подошла.

– Молодец, – сказала она коротко. – Поздравляю.

– Спасибо, – ответил я. Я подумал, что забавно будет сказать «товарищ Надя», но благоразумно так делать не стал.

– Ты теперь проставляешься?

– Что?

– Когда банкет, говорю? – спросила она, развеселившись.

Все остальные в кабинете наострили уши.

– Не уверен, что будет банкет. – сказал я.

– Ну, – сказала Надин. – Не будь жмотом!

– Новый год скоро, – я пожал плечами. – Все равно же корпоратив.

– М-м, – она повела плечами, но тут телефон, засунутый в нагрудный карман ее рубашки, зазвонил и разошелся пришепетающим рэпом.

– Вот черт, – чертыхнулась она, глядя на экран. – Ладно, поздравляю, пока!

– Пока, – сказал я, и вернулся к своему компьютеру.

Слово «жена» застревало у меня во рту, как-то не так там перекатывалось, как таблетка, которую все никак не удавалось проглотить. Я выговаривал, конечно, но дело было не в этом.

– Как тебе семейная жизнь? – спросил другой коллега, когда Надин ушла. Он только того и ждал, и живо поднял голову от компа, перестав даже делать вид, что работает.

– Нормально.

– Кем она работает? Тоже у нас?

– Бухгалтером, – сказал я.

– Оо, дашь контакты? – оживилась другая коллега, за дальним компьютером у самой стены. – Мужу как раз бухгалтер нужен, старая уволилась, новую никак не может найти... Дашь?

– Я спрошу, – сказал я. – Не знаю, берет ли она новых клиентов.

Она кивнула. Потом подумала-подумала и спросила:

– А свадебные фотки есть?

Мне не хотелось продолжать этот разговор.

– Как-нибудь покажу.

Я щелкнул мышкой и вернулся к своим файлам.

Я не сразу понял, что женатый мужик считался у нас на работе единицей куда более редкой и ценной, чем тот, который не был ни на ком женат. Каким бы страшным он ни был, каким бы нелюдимым, да даже если он не мог связать и двух слов – статус «женат» отправлял его в другую, совершенно новую категорию, где все работающие у нас свободные женщины начинали искать в нем, то есть во мне, скрытые достоинства, и «с какой женщиной он решил связать свою жизнь», как это говорилось на свадебном банкете.

Кольцо на пальце – которое я, кстати, ненавидел носить и часто снимал, клал рядом с клавиатурой, а потом надевал обратно – мигом перевело меня в новую категорию, только я не знал, что мне в ней делать.

Ко мне теперь подсаживались в столовой, приглашали на корпоративы, спрашивали, приду я с женой или нет, как будто жена была гарантом мой нормальности. Спрашивали, как мы провели выходные, куда мы ездили в отпуск, что нам понравилось из недавно вышедших фильмов, и эти полные «мы» заменили одного, не очень состоятельного меня. Носить кольцо, кстати, было не очень удобно. Но Лена обижалась, когда меня без него видела.

– Ты какой-то странный муж, – говорила она. – Тебе и на еду все равно, и на то, постирано-поглажено или нет.

– Сам привык все делать, наверное, – я пожал плечами. – Не думал, что это такая редкость.

– Ты как будто ничего от меня не требуешь, – сказала она.

Критически посмотрела на заварочный чайник и добавила:

– Это странно.

26

Потом она рассказала мне про «своего бывшего козла» больше. Не могу сказать, что я все запомнил.

Якобы он иногда звонил ей, пытался ее вернуть. Якобы был ужасно зол, что она так быстро выскочила за другого. Потом плакал. Потом опять был зол.

Я не очень понимал, почему – возможно, неглаженное и нестиранное белье у него в квартире достигло критической отметки. Я почему-то представлял не его самого, а его треники, его раздавленные тапочки, которые валялись – один подошвой вверх, а один нормально – у края дивана.

Я почти всегда ходил дома в носках или босиком. Тапочек у меня не было.

– Но я теперь с тобой, – говорила она и брала меня под руку. И прижималась ко мне крепче. – Я теперь с тобой, и никого другого мне не надо.

Один раз я слышал, как она приводит меня в пример подругам, когда их сожитель или бойфренд не хочет на них жениться.

– Пять месяцев, одиннадцать месяцев, ну что ты говоришь такое! Вот Константину много времени не понадобилось, – услышал я, когда одна из них пришла к нам домой и я проходил мимо кухни. – Пришел, увидел, победил!

Подруга ответила что-то, что я не расслышал. Стукнула крышка чайника.

– Да ты знаешь, нормально. Как у всех. Нормально.

Молчание.

– Какие-то вещи могли бы быть и лучше. Разговаривать с ним как с каменной стеной иногда. Не поймешь, что он, как он вообще. Так смотрит на меня, что я ничего не понимаю. С предыдущим хоть все понятно было! Как начинал орать, так уже не остановишь!

Короткое молчание. Подруга опять что-то ответила.

– Козел, козел. Этого не отнять. До Константина я вечно каких-то козлов выбрала.

– Хорошо, что у тебя наконец получилось, – сказала подруга. – Нормального найти.

– Не то слово, – она коротко вздохнула. – Я уже отчаялась. А тут он! И не побоялся! А по нему и не скажешь!

– Точно, – подтвердила подруга. – По нему не скажешь. А мне надо со своим поговорить. Все никак не соберусь. У тебя еще конфеты есть?

Я пожал плечами и прошел обратно в комнату.

27

– Нам надо начать пытаться почти сразу, – сказала она.

Вид у нее был обеспокоенный.

– Пытаться что? – спросил я для верности.

– Зачать ребенка. – ответила она очень серьезно. – Ты вообще когда-нибудь мечтал о детях? Представлял, какие у них будут имена? Как они будут выглядеть? В какую школу ходить?

– В районную? – я отковыривал от сырника сгоревшую корочку, и был занят преимущественно этим. – Школа же по месту прописки.

Не замечая моего ответа, она продолжала:

– Как ты будешь их будить по утрам? Как вы будете спорить, надо чистить зубы или не надо, ты будешь говорить, иди чисти, я твоя мама, я лучше знаю? Как трудно будет их вечером в постель их загонять? И спрашивать, почему так долго с друзьями шлялся, поганец эдакий?

Я чуть было не сказал, что у меня до сих пор это спрашивают, но вовремя заткнулся.

Глаза у нее сияли.

– Я всегда их хотела, понимаешь? Но сейчас как будто стыдно сказать «я хочу детей». Как будто стыдно сильно их хотеть, все тебя отговаривают, или, наоборот, торопят. Хотя чего тут стыдного? Правда же? Я уже все распланировала – имена, как я буду их одевать, мальчик или девочка, что я их защищу, если их будут обижать в школе, потому что нел...

– Ну, может, их и не будут обижать в школе. – Я наконец отковырял подгоревшую часть сырника и был этим очень доволен. – Меня вот не обижали.

Она внезапно погрустнела.

– У меня с... с фертильностью не очень. Это врач мне сказала. Давно еще. Я не очень поняла, но вроде больших проблем нет. Надо пытаться. Так она сказала. Что надо обязательно пытаться е... естественным путем.

– И потом, – перебила она сама себя. – Не могла же фертильность к тридцати пяти испариться же, да? Не может же у меня там... ну, ничего не быть? А материнский инстинкт у меня точно есть! А если есть, то потенциал выносить и родить есть! Да?

Она оглядела кухню. Кухня была совершенно чистая.

– Да, – сказала она сама себе. – Надо начать пытаться.

– Ну, мы будем пытаться... уже пару месяцев, – сказал я.

– Пара месяцев это ничего. – отрезала она. – Вообще ничего. Может, мы пытаемся не в те дни. Надо все аккуратно и по графику делать, а мы пытаемся то тяп, то ляп, то тебе на работу надо!

– Никогда не думал о детях в таких терминах, – я подцепил вилкой второй сырник.

– Да, – она вздохнула. – Все говорят, что дети рождаются от любви. Моя бабушка так говорила. Пока еще... была жива.

– Моя мать тоже говорила что-то подобное, – я внезапно вспомнил. Что именно она говорила, я не мог сказать, но фраза была какая-то такая, что любовь – это расширение, и любовь вмещает больше, чем... больше... не помню.

– Мам? – спросил я у нее потом. – Ты как-то говорила про детей. Можешь пояснить, что ты имела в виду?

Она так и зажглась вся, как рождественская лампочка.

– Вы... с Леночкой собираетесь детей планировать?

Со свадьбы она называла ее исключительно «Леночкой».

– У вас бу...будет...

– Пока ничего не будет, – успокоил я ее. – Но Лена хочет.

– Конечно, – сказала моя мать. – Ведь ей уже тридцать пять.

Почему они все повторяли этот факт, а? Как будто он был написан на стене и обязательно надо было прочесть его оттуда, прежде чем продолжать разговор.

– Вам лучше сейчас начать пытаться, – сказала моя мать. – Чем раньше, тем лучше.

– Спасибо, – поблагодарил я. – Так что там? Про детей?

Моя мать замолчала. Она молчала редко, поэтому я ждал.

– Мне было очень тяжело, когда ты появился. – сказала она совсем другим голосом. – Очень тяжело. Но. Я никогда не жалела. Понимаешь? Я никогда не жалела, что ты у меня есть. Как только ты появился, я стала... – она запнулась. – Ты был самое важное. Ничего более важного не было. Я стала все мерить совсем другой меркой. Я думала, что мне придется выбирать. Но даже выбирать не пришлось.

– Для твоего отца, возможно, это было не так, – сказала она с вызовом. – Но для меня ты был самое важное. И остаешься. Понимаешь?

– Понимаю, – сказал я. – Наверное.

28

Пытались мы регулярно. Она настаивала. Очень быстро я понял, что ей больно, и дело тут не во мне. Она ойкала и стискивала зубы, а иногда даже скрежетала ими – я слышал, как прерывисто она дышит и как они скрежещут, и как она вся сжимается, но упрямо прижимается ко мне еще крепче и шепчет:

– Все нормально! Все нормально!

У меня не очень много опыта, но, по-моему, это не совсем то, что надо говорить во время секса.

Я чувствовал ее боль и старался быть осторожнее – я не знал, откуда эта боль бралась, но старался делать так, старался, как мог, чтобы боли не было. Но в такие моменты не очень-то получается себя контролировать. Чего я никогда не делал, так это не продолжал против ее воли – она мне потом сказала, что ее предыдущий просто прижимал ее кисти к кровати и продолжал, говоря, что это его очень возбуждает.

– Я привыкла, – сказала она, пожав плечами. – В конце концов, это минуты три. Может пять. Проще перетерпеть!

– Проще, чем что?

– Чем спорить, естественно, – пояснила она спокойно.

– Вообще-то это не должно быть больно, – сказал я.

– А ты-то что об этом знаешь!

Она только что вернулась из ванной.

Ниже пояса она была голая. Поежившись, она забралась обратно в постель и натянула на себя одеяло.

– Холодно, – пожаловалась она. – Отопление еще не дали.

Я продолжал на нее смотреть, и она, казалось, немного смягчилась.

– Мне только немного больно. Только иногда. В позициях некоторых. На боку, например, нормально!

– Я не об этом.

– Я знаю, – бросила она резко. – И мне всегда было больно, если хочешь знать. Со всеми... – она запнулась. – Партнерами.

– И не то чтобы их так много. – добавила она, смотря в сторону. – Ты не подумай чего! И анализы я прохожу. Делаю, в смысле. Осмотр и анализы. Никаких инфекций у меня нет.

– Я ничего не говорил про инфекции.

– Я знаю, – опять повторила она. – Просто... ну. Боль. Это такое. Если привыкнуть, то не так уж и страшно. Даже приятно!

Она покосилась на меня.

– Ну ты понимаешь, что я хочу сказать.

– Я что-то могу сделать, чтобы тебе стало лучше?

Она внезапно улыбнулась, подползла поближе и прижалась к моему боку.

– Я тебя научу, – сказала она. – Это не так сложно.

– Что, будем заниматься этим по расписанию?

– Надо, если хочешь повесить свои шансы, – вздохнула она. – Я еще недавно с таблеток слезла.

Она слегка порозовела.

– Сразу может не получиться. После таблеток обычно... сразу не получается.

– Ок.

– Посмотрим, – она кивнула сама себе и потерлась об мое плечо. – Посмотрим.

Во время она тоже боялась – и я чувствовал, что она боится. Она вся сжималась, вжималась в кровать, потом усилием воли возвращала себя обратно. Обнимала меня покрепче и прижимала к себе. Сквозняк из открытого окна охлаждал мне кожу.

Иногда она говорила:

– Мне страшно, мне страшно.

И начинала трястись от страха. Одеяло тряслось вместе с ней.

Я обнимал ее, клал руку ей на живот, и страх проходил – не сразу, но постепенно. В конце концов одеяло переставало колыхаться – ей удавалось овладеть собой.

Я никогда не встречал никого настолько же нервного, как она. Я никогда не встречал кого-то, кто умел бы это так хорошо скрывать. Она была обстоятельная, исполнительная, ответственная. Отличным бухгалтером – и совсем не просто бухгалтером, а главным, тем, которая за два дня могла разобраться в том, что другие не понимали и за две недели. В этих документиках она все видела, все замечала – но, когда документы были далеко и приходилось сталкиваться с чем-нибудь еще, ее охватывал такой страх, что иногда она полным серьезе останавливалась посреди улицы и спрашивала меня, куда нам идти.

С нее за минуту слетала вся ее взрослость, и она боялась совершенно по-детски, со всем ужасом, глазами, расширенными от страха, стучащим сердцем, дрожащими руками – страх забирал ее всю и держал, медленно пережевывая и клацая, клацая. Она боялась всем телом. И никогда не могла точно сказать, чего.

Она всегда беспокоилась. Беспокоилась, как выглядит, не сказала ли чего лишнего, не больна ли чем, – в ее воображении болезнь постоянно таилась где-то рядом, только ждала, чтобы ее схватить. Только и протягивала к ней свои склизкие мокрые пальцы, и почти – почти – касалась ее кожи. Она тряслась от страха при мысли о том, что болезнь где-то недалеко, а она долго ходила вокруг и около, да ее и пропустила. Я об этом никогда не думал. Меня это вообще не волновало – мое тело как костюм, который я надевал каждый день и в нем и ходил. А будь в костюме дырки, так дырки можно зашить. Вряд ли однажды он однажды расползется по швам ни с того ни с сего.

– Я не очень хорошая... любовница, – сказала она в другой раз. – Я в основном делала... ну, что от меня хотели.

– А что от тебя хотели?

Она опустила глаза.

– Да разное. Для меня это никогда не было... проблемой. Я только беспокоилась... что у меня не очень хорошо получается.

Я поморщился.

– Я тебя никак не оцениваю. Если это поможет.

Она хрюкнула.

– Кто вообще сказал тебе это все? Что ты плохая?

– Ну... – она замялась. – Бывший говорил, что я неповоротливая. Как слониха. Меня не раскатать. Ему хотелось более горячую девочку. Так он всегда говорил. Ну и получит теперь! – пробормотала она мстительно. – Получит такую горячую, что у него вся задница сгорит! Опомнись не успеет, какая горячая!

– Это бред, – сказал я. – Ты хоть понимаешь, что это бред?

– Понимаю, – отрезала она. – Я же не дура.

– Только не начинай спрашивать, что мне нравится. – предупредил я. – И что надо делать, чтобы мне угодить.

Она не отвечала, и я добавил:

– Ничего не надо делать. Договорились?

Она долго молчала. Так долго, что я уже подумал, что она заснула.

– Совсем ничего?

– Совсем ничего.

Она вздохнула в темноте.

31

Мы отправлялись в поездки. Поездки придумывала она. Каждый раз говорила: «Надо поехать, надо посмотреть». Чуть ли не в ту же минуту, когда ей приходила идея, она открывала чемодан и начинала кидать туда вещи – летом платья, зимой свитеры. Она очень любила платья и свитеры, а уж если платье надеть на свитер, это было лучше всего.

Говорила мне:

– Да ладно. Я поведу машину. Я вожу редко, зато метко! И зачем смотреть на карте – направление подглядел, и уже достаточно!

Так мы оказывались – не приезжали, не прибывали, а именно оказывались – в самых разных местах.

В этом поле я не помню, как мы оказались. Как герои в былинах, наверное – те просто набредают на какой-нибудь дуб и смотрят на него, потирая лоб рукавицей. Или лес, который поворачивается к ним то задом, за которым заходит солнце – и слышно, и видно, как оно заходит, как птицы поют и замолкают перед закатом, – то передом, на котором смыкаются узкие сосны.

Поле не поворачивалось к нам ни задом, ни передом – оно просто лежало перед нами. Раскатанное и простроченное, как ковер.

В детстве я ненавидел пылесосить ковер. Мать заставляла, а я ненавидел. Мне так часто приходилось этим заниматься, что я выучил на нем все ромбы и треугольники. Даже пересчитал – пять было справа, а три слева.

Поле лежало перед нами и слегка покачивалось. Трава колыхалась туда-сюда, и я не мог оторвать от нее взгляд.

Машины по дороге не шли. Она была совсем узкая, а поле наступало на нее с двух сторон. Ни одного дерева, ни кустов, ни леса – только поле. Ровное и огромное.

Она приткнула машину у самого края.

Можно идти далеко-далеко и дойти до самого горизонта.

Пересечь все поле и выйти с другой стороны.

А вдруг оно не кончатся? Вдруг у него там обрыв, как тот, где корабли скрываются с горизонта.

Она шла через высокую траву и оглядывалась на меня. Никого больше, кроме нас, не было. Это было как во сне. Или как в раю.

Ветер трепал ей волосы, трепал края ее платья, оно хлопало ей по коленкам, а она все шла и шла вперед через траву. Платье было белое, с вишенками. Она сомневалась, брать его или нет.

– Такие же совсем молодые носят!

Я сказал «бери».

Теперь я смотрел на ее спину в этом платье и шел за ней. Иногда лезли мысли – а вдруг машину угонят? Вполне могут. Кто здесь ездит? Как мы будем выбираться? Попутку не поймать.

Я шел прямо за ней. В конце концов она прекратила идти и повернулась.

Это был странно кинематографический поцелуй. У меня было чувство, что этот поцелуй происходил не со мной, не конкретно со мной, а с версий меня, с которой я никогда до этого не встречался. Она жила в каком-то другом измерении, эта версия – как еще одна личность, которую она – Лена – вдруг вытянула на поверхность. И она всплыла.

Этот поцелуй был как будто я рабочий, а она колхозница, и я всю жизнь смотрел на эти бронзовые, отлитые из металла губы и мечтал их поцеловать. А потом я ожил, потянулся всем своим металлическим торсом, и губы эти стали приближаться, приближаться, и очертания у них были такие четкие, и я наклонялся все ниже и ниже, все ближе к ним. Этот самый первый порыв, самое первое неловкое движение.

Иногда мне даже кажется, что тогда, именно тогда, я увидел ее в самый первый раз.

Наверное, нужно сказать – я бросил ее на траву. На подоконник, на взбитые подушки, на кастрюлю с борщом. На больничную кушетку. На ступеньки лестницы. Бросил на траву и лег сверху.

Я никуда ее не бросал – мы просто оказались в траве. Вдалеке, кажется, кто-то сигналил. Или это птица свистела высоко над полем?

Месяца через три мы пошли в театр. Она настояла, и мы пошли.

– Балет, – сказала она, и глаза у нее загорелись, а шея как будто немного вытянулась, и голова стала сидеть более горделиво. – Надо сходить! Такой вечер!

Она надела плотное шелковое платье-футляр – самое нарядное, что у нее было. Накрасилась вишневой помадой – от волнения немного не попадала по губам, но потом торопливо стерла ватным диском.

– Пойдем скорей, пойдем, пойдем, – она вертелась на месте, просовывая ноги в сапоги на каблуках, осматривая свои руки, свои уши, поворачиваясь то одним боком, то другим. Она даже пудреницу достала, и нерешительно посыпала пудрой нос.

Я посмотрел на нее. Никакой разницы не было.

По пути в театр – мы ехали на метро – она крепко держала мою руку и все спрашивала, не забыл ли я билеты. Сумки на вечер у нее не было, поэтому все ее вещи, завернутые в аккуратный полиэтиленовый пакет, вез я.

Когда мы уселись и начали звонить звонки, она вдруг затихла. До этого спрашивала то одно, то другое, а тут вдруг замолчала, и только иногда ерзала туда-сюда в своем кресле, как будто хотела задвинуться поглубже, и вертела головой. Мы сидели в самой середине ряда, недалеко от сцены.

Во время первого акта она вдруг взяла и сильно сжала мою руку. Так сильно, что даже кости хрустнули.

Я посмотрел на нее.

Она молча покачала головой – все в порядке.

В антракте она сказала:

– Мне нужно в туалет.

Вокруг было столько народа, что ориентировался я с трудом, но мне все равно показалось, что на лбу у нее выступила испарина.

– Что-то не так?

– Дай мне пакет, пожалуйста.

Она все еще цеплялась за мою руку.

В женский туалет была невозможная очередь. Только когда мы вышли, я разглядел, какая она бледная.

– Давай я поищу туалет для сотрудников?

Она кивнула и прислонилась к стене.

Туалета для сотрудников я, конечно, не нашел, зато нашел небольшой мужской, который был этажом ниже и выходил прямо на лестницу. Там никого не было.

Когда я вернулся, очередь продвинулась – занимала теперь половину коридора, а не весь, но до двери было еще далеко.

– Пошли.

Она не возражала – обычно бы она вскинулась, предложи я ей пойти в мужской туалет.

Даже бы сказала что-нибудь вроде «За кого ты меня принимаешь?!». А я бы сказал, что ни за кого, просто мужиков там нет.

Она вошла в дверь – я остался караулить – и долго не возвращалась.

Так долго, что я заглянул внутрь.

Обычный ряд дверей с раковинами напротив. Писсуар. Белый свет.

Из одной из кабинок доносилось шуршание.

Не знаю, зачем я подумал согнуться и наклониться. Чтобы посмотреть, что там?

Тогда я и увидел пятно крови на полу.

– Лена?

Она толкнула дверь с другой стороны.

Она сидела на унитазе, спустив колготки и расстегнув сапоги, но натянув платье так, что ничего не было видно.

На меня она не смотрела – она смотрела в точку прямо перед собой и наклонилась вперед, почти лежа животом на коленях. Лицо у нее было бледное и замкнутое само на себя.

Я протянул руку и коснулся ее плеча.

– У тебя кровь. – сказал я. – Надо ехать в больницу.

Она приоткрыла губы и пошевелила ими, но ничего не сказала.

– Лена?

Она сильно сжала губы и коротко замычала, как будто с другой стороны напирали звуки, но она не могла дать им вырваться наружу. Потом закрыла глаза. По щекам у нее скатились две струйки слез, и, пока она держала глаза закрытыми, они все бежали и бежали, скатывались по подбородку.

– Не получилось. Не получилось, не получилось.

Она шептала так тихо, что я не сразу понял, о чем она говорит.

– Что не получилось?

Она помотала головой.

33

В больницу мы приехали на такси. Я поймал его, взмахнув рукой, прямо возле театра – спасибо, хоть это было легко. Потом оказалось, что приемный покой вообще с другой стороны, и нам вдвоем пришлось, скользя – я поддерживал ее, чтобы она не упала – обходить огромное и плохо освещенное здание. Пока мы шли в полутьме мимо сплошного некрашеного забора, она снова начала плакать.

– Мы скоро придем. – сказала я ей.

Хотя я не знал, скоро мы придем или нет.

Скучающая тетка в регистратуре посмотрела на нас поверх очков и кивнула на дверь. Дверь была белая и сбоку от регистратуры, но не открывалась, так что я не понял, что она хотела сказать.

– Вы проходите, – сказала она устало и хрипло. – А вы посидите.

И кивнула на железные стулья.

Все было быстро, даже слишком быстро – я только отвел взгляд от ее лица, вытянутого и такого бледного, что оно казалось белее чертежной бумаги, которая была у нас на работе, как пришла высокая сердитая медсестра – я не видел, откуда она появилась, не успел заметить – успел заметить только, что стены окрашены голубой краской, а в конце коридора лифт. Захлопнулась дверь, я остался один, неловко пристроился на неудобный железный стул, второй акт был уже на середине, балерина крутилась, под ней не ломался, а только скрипел пол. Я принялся ждать. Женщина в регистратуре поджала губы, опустила взгляд и больше его не поднимала.

Я специально посмотрел несколько раз в ее сторону.

Она не смотрела в мою.

34

Я до этого мало был в больницах и не знал, как там все устроено. Был один раз, совсем маленьким, когда отец сломал руку и нам разрешили его навестить.

Когда мы пришли, он лежал, держа в руках газету, и лицо повернул в сторону окна, откуда в палату лился синий свет.

Там было еще три человека – мужики примерно его возраста. Один, толстый, ворочался то туда, то сюда, другой, уже совсем старый, сидел неподвижно и смотрел прямо перед собой – я

засомневался, видит на он нас вообще. А третий – третий спал и не то чтобы храпел, но негромко всхрапывал носом, и таким образом создавал в палате хоть какой-то шум, кроме звяканья склянок и веселых возгласов, которые периодически раздавались из коридора.

Мой отец игнорировал остальных трех мужиков, и не то чтобы это осталось незамеченным. Напряжение явно копилось в воздухе, и накопилось его уже так порядочно. Впрочем, как и везде, где оказывался мой отец.

Он был немногословным человеком, и напряжение в любой комнате, где он был, неизбежно создавалось само. Висело, как грозовая туча, а он его никогда не замечал.

– Батя твой ведет себя так, как будто он святой, – сказал мне однажды школьный товарищ, приходивший пару раз к нам домой.

– Мм?

– Да смотрит на всех так, как будто грехи готовится отпускать. Губы поджал, руки сложил.

Почти те же самые слова говорила бабушка, материна мать. Губы поджал, руки крестиком, ишь какой, что ему надо, спроси, аа. Мое есть отказался, говорит, жирное слишком. Так пусть больше не приходит, раз требовательный такой. Пусть больше не приходит. Мне он тут не нужен.

Отец аккуратно держал свою сломанную руку. На его лице не было боли, только сосредоточенность.

Мать подошла, поставила у кровати пакеты, аккуратно пристроив их к тумбочке, и подошла к нему. Хотела поправить майку, потом передумала. Взяла его за руку.

Отец медленно перевел взгляд на нее. Окинул и меня – я стоял, прислонившись к стене и подогнув одну ногу под себя, как я тогда любил. Я сказал ему «привет», когда вошел. Но он даже и не подумал мне ответить.

– Ну. Как вы?

– Мы хорошо! – облегченно сказала мать. И принялась тараторить – она всегда много тараторила, пока отец молчал. И чем дольше и многозначительнее он молчал, тем больше она тараторила.

– Скоро тебя отсюда выпустят? – спросила она наконец, выдохшись.

– Скоро, – сказал он также медленно. – Выпрямись.

Это уже мне.

Я разогнул ногу.

– Так лучше. – сказал отец. – Стоишь весь горбатый.

– Рука болит? – спросила мать.

Отец посмотрел на нее снисходительно.

– Тут у всех что-то болит. – сказал он.

Мать, похоже, не знала, что на это отвечать.

– Это больница, – уточнил я из-за ее спины.

Сейчас скажет что-нибудь про то, что болезнь – часть человеческой души. И что если бы все не так бегали от боли, было бы гораздо лучше. Потому что убежать от нее нельзя. Он любил задвинуть что-нибудь такое. С совершенно ровным, бесстрастным лицом.

Мать, похоже, не знала, что еще сказать.

Отец продолжал смотреть в окно.

– Принести тебе чего-нибудь.... Покушать из дома? Грибочков хочешь? Соленьких? Или голубцы?

Отец усмехнулся.

– Спасибо, – сказал он. И слегка наклонил голову, как будто благодарил за оказанную ему честь. – Спасибо, Марина.

Он всегда называл мою мать по имени. Никогда «дорогая» или «любимая» или что-то в этом роде. Я вообще не уверен, что отец хоть кому-то в своей жизни сказал «любимая». Его губы, аккуратно сжатые в ниточку, теперь не выговорили бы такого слова.

Мать еще покрутилась около него и в конце концов ушла в коридор, «искать медицинский персонал». Он аккуратно повернул голову в ту же исходную позицию, где она изначально находилась – на три четверти, зимний свет падал прямо на скулу – и продолжал смотреть в окно.

Не отрываясь от него, он сказал:

– Подойди-ка.

Я подошел – таким образом, чтобы он мог меня видеть. Голову повернуть он, конечно, и не подумал.

Отец провел по мне глазами.

– Встрепанный какой-то. И штанину поправь. Чем занимаешься?

– В школу... хожу. Мы сейчас митохондрии проходим, – сказал я первое, что пришло в голову.

– И это, как его. «Горе от ума».

– Наизусть мне прочитать можешь что-нибудь?

Отец спрашивал ровно, без единой тени интереса.

Я поискал в памяти. Пришло на ум только:

– Тучки небесные, вечные странники, далью лазурною, далью небесною...

Дальше я не помнил.

Поверх отцовской головы я увидел, что толстый перестал шебуршиться из стороны в сторону и оглянулся на нас.

– Это не из «Горя от ума», – с неудовольствием заметил отец. – И когда ты научишься стихи читать? Я же тебя учил.

Я пожал плечами.

– Ну там вроде так было.

Отец поджал губы так, что они стали еще тоньше, и собирался было еще что-то сказать, как в палату вошла веселая медсестричка с волосами, собранными в хвост, в белой форме и войлочных тапочках, которые противно шаркали по полу. За ней семенила моя мать.

– Ну, что тут у нас?

Отец с неудовольствием повернулся.

Как раз в этот момент я вспомнил отрывок из «Горя от ума». «Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?».

Я шучу. Было бы слишком хорошо, если бы я прямо там это вспомнил.

35

Она вышла из белых дверей, и у нее было другое лицо.

Я не мог понять, что в этом лице было другое – оно больше не было напряженным, не было закрытым, но оно было другим.

Вслед за ней вышла высокая сердитая медсестра.

– Покажетесь на следующей неделе... А, – она увидела меня. – Это муж ваш? Что ж вы его не позвали?

Медсестричка приблизилась и сунула мне в руки какие-то бумаги. Я машинально взял. Поясница у меня ныла от долгого сидения, а ноги затекли.

– У вашей жены был выкидыш, – сказала она. – Потеря ребенка – это то, с чем сталкиваются многие пары.

И потом прибавила, не посмотрев на меня:

– Сочувствую вам.

– И покажитесь на следующей неделе! – это уже ей.

Медсестричка ушла.

Она по-прежнему ничего не говорила. Осторожно, опираясь одной рукой, села на стул и тяжело привалилась ко мне боком. Не прислонилась, а именно привалилась.

Не знаю, отчего, но она показалась мне такой тяжелой, что стало казаться, что сейчас под ее весом я слечу с железного сиденья.

Вокруг пахло больницей и звучало тоже как в больнице. Но только не той, где кого-то героически спасают. Спасают только в сериалах, а эта обычная, где на тебя смотрят вскользь и проходят мимо. Залоченный персонаж ушел обратно – на задний план. Тут только травка растет, а все, кто скользят по травке своими аватарами – не более чем привидения.

Что за чушь лезет в голову.

– Пойдем отсюда?

– Вызови нам такси. Не хочу больше здесь оставаться.

– Да, – сказал я. – Да, конечно.

36

Когда мы вернулись, она сказала:

– Не зажигай свет.

Я пожал плечами и не стал зажигать свет в прихожей. Вместо этого прошел и зажег его в большой комнате. Оттуда в прихожую пролегла желтая полоска света.

Еще в такси она растегнула сапоги, и теперь стщила их первыми, швырнув под зеркало.

Я еще не спал, когда она пришла и, подняв толстое пуховое одеяло, улеглась рядом со мной.

Видимо, она почувствовала, что я не сплю.

Некоторое время мы оба лежали, уставившись в потолок.

– Платье испорчено. – сказала она бесцветным голосом.

– В смысле.

– Пятно. Крови. Надо сдавать в химчистку.

– А.

Я хотел сказать, что оно же черное, и наверное, не видно. Потом подумал, что не стоит. Вместо этого я сказал:

– Отчистят. Они хорошо чистят.

– Да.

Она помолчала.

– И второй акт не посмотрели.

– Да.

– Там, где ее соло. С веером. Мне его хотелось посмотреть.

– Да.

– Столько поворотов...

– Фуэте, – поправил я.

– Пятьдесят шесть. Или тридцать два? А мы не посмотрели.

Она зевнула.

В итоге она все-таки заснула.

Я слышал, как ровно и мерно она дышит.

Мне все не спалось, хотя обычно я падаю в сон моментально и сразу далеко, как камень падает в пропасть. Скрываюсь в расщелине, и меня уже не поймать. Погружаюсь в темноту.

Я думал о том, что можно было бы ей сказать. Но на самом деле я об этом не думал. Думать об этом было незачем. Все равно ничего бы не придумалось, ничего бы не пришло мне на ум, кроме самых небольших деталей – водителя, который вскинул руку к плечу, не оборачиваясь, чтобы расплатиться наличкой, – даже верхний свет не включил, зараза, и она поскреблась в закрытую дверь – как будто мы выскочим из его колымаги, не заплатив! – и я чуть не обматерил его, но, передумав, всунул в поднятую пятерню засаленные купюры и вышел сам, и обошел машину, что-

бы подать ей руку. Рука ей была нужна – так бы она бы вывалилась из машины на снег. Она так тяжело оперлась на нее, что я подумал – вот сейчас подогнутся ноги, она упадет на обледеневшую дорожку, что я буду делать – в дворе не было никого, а машина уже начала отъезжать.

Но она сдержалась. Дошла до подъезда. В лифте она прикрыла глаза, одной рукой держась за стенку, а другой – за меня. Ресницы у нее на щеке оставляли синюю тень.

Прошло несколько часов, а я помнил только это. Сердцевину горя я не помнил, сердцевину горя почти сразу вытаскивали, чтобы оно, видимо, не проигрывалось туда-сюда, туда-сюда, пока я поднимаюсь, чищу зубы, переливаю кипятком из чайника в чашку, еду на работу, меряю мостовую шагами, залезаю в автобус и сгибаюсь под ветром. Я помню только это, а остального не помню. Наверное, оно сразу же засунулось на самую дальнюю полку, или – лучше – его засосало в черную дыру.

Говорят, люди бесконечно переживают момент, когда это с ними случилось. Бесконечно переживают новость, которая пришла лишь однажды – столько дней, сколько после нее проходит, столько и переживают раз.

Со мной не случилось ничего подобного.

В конце концов я просто заснул.

37

Утром она открыла глаза и сказала:

– Знаешь, что мне снилось?

Без всяких предисловий и глядя в потолок. Она казалась совершенно бодрой, неестественно бодрой, без тени своей обычной утренней неуклюжести, как будто ее взяли и за ночь выстирали с применением белизны.

Я не стал спрашивать, и она сказала, не прекращая смотреть в потолок:

– Он.

Я ничего не ответил. С меня сон еще не слетел, и я еще чувствовал, как тепла подушка. Комнату из-под штор заливал серый утренний свет.

– Я держала его на руках. Мальчика. А потом у меня его отняли! Представляешь?

Она сощурилась, вспоминая.

– Симпатичный. С завитком на лбу. Глаза серые. На тебя вообще не похож.

– Ну спасибо, – сказал я.

– Я держала его в руках, – она продолжала, не обращая на меня никакого внимания. – Держала и качала. Туда-сюда. Туда-сюда. Огромный такой сверток. Бело-голубой. И серый. Немного. У меня в руках почти не помещался.

Она замолкла, и я спросил:

– А потом?

Она покачала головой.

– Он исчез. Руки пустые. Я везде смотрю, а его нет. Представляешь? Бегала, везде искала, а его нет. Я еще во сне, помню, ищу и думаю, черт возьми, куда же он делся. А потом просыпаюсь. Ужасно. Вся в холодном поту.

– А чувство осталось. Оно еще здесь. – она дотронулась до лба и потом до груди, как будто собиралась перекреститься. – Как будто кто-то сидит на руках. Странно.

– Угу. – Я протянул руку и взял ее ладонь поверх одеяла. Ладонь была очень горячей.

– У тебя температуры нет?

– Не знаю. – она на секунду закрыла глаза. – Пойду проверю.
И, тяжело перевалившись, как неваляшка, села на кровати.

38

Когда выяснилось, что надо колоть ей уколы в живот, я сказал:

– Я не буду.

– Что значит – не будешь?

Она достала их и разложила на кровати. Шприцы, жидкость, таблетки – все аккуратно запечатанное в пластиковые упаковки.

Она стояла и смотрела на все это, нерешительно брала инструкцию в руки, потом снова клала на кровать. Между бровей у нее залегла складка, которая появлялась там, когда она не знала, что делать, или в чем-то сомневалась.

Я сказал:

– Я не буду.

Она поморщилась.

– Я смотрела видео. Это не так уж... и сложно.

Живот у нее был рыхлый и белый. Совершенно неспортивный. Когда могла, она старалась не обнажать живот, но тут задрала майку и прихватила ее подбородком. Совсем снимать не стала. Живот теперь был обнаженным – дрожащим и белым. Когда мы были в постели, я иногда проводил по нему рукой.

Она аккуратно, как говорилось, надорвала упаковку. Набрала жидкость в шприц. Руки у нее немного дрожали.

– Я чувствую себя как наркоманка, – сказала она нерешительно. – Только не в вену.

И добавила, с нервным смешком:

– Но я бы и не нашла вену.

Она поднесла шприц к коже.

– Вот черт.

Рука у нее дрожала так сильно, что даже я заметил.

В конце концов она села на кровать и заплакала. Она плакала и плакала, шприц валялся рядом, а плечи у нее мелко тряслись.

Я сел рядом и неловко обнял ее за плечи.

Они затряслись еще сильнее.

Я чувствовал, как она плачет.

Я чувствовал, как у нее по щекам катятся горячие слезы.

Я чувствовал движение мира, но мир в этот момент мир не двигался. Только она плакала.

– Придется найти медсестру, – сказала она сквозь зубы. Я не видел, как слезы катятся у нее по щекам, но представлял. – Я не могу. Черт возьми.

Медсестра оказалась сухопарой женщиной с лошадиным лицом, которая приходила к нам каждый день. Уколы она ставила быстро и эффективно – Лена взвизгивала, коротко и тонко, как собачка, которой наступили на хвост. Потом, пока медсестра собиралась, натягивала туфли и давала ей какие-то советы, Лена смеялась и шумно извинялась:

– Извините, я вам тут такое устроила! Извините меня! Я как ребенок, ну право слово!

На следующий день все начиналось сначала.

Я спросил у нее:

– Больно?

Я не знал, как еще спросить.

– Помоги мне платье застегнуть.

Платье было ей мало, но я подошел и послушно взялся за края ткани, к которым была пришита молния, с силой свел их вместе – она охнула.

– Неужели я так растолстела, а! Как тесто просто расширяюсь!

С трудом удерживая края платья, я стал тянуть молнию вверх. Дотянул. Вроде застегнулось.

– Спасибо.

Она оттянула край юбки пониже, набросила пальто и поспешно намотала сверху длинный розово-коричневый шарф.

– Ты знаешь, не очень. Больно, – сказала она, подумав. – Привыкнуть можно. Это как к стоматологу ходить. Вначале боишься ужасно. Но если надо долгое лечение проходить, к третьему разу уже устаешь бояться. Какого черта, в конце концов?

– Правильно, какого черта. – согласился я.

– И потом, это только один цикл. – сказала она, подойдя к зеркалу и критически в него смотря. – Ну, может два. Не так уж и долго!

39

Как-то раз утром я вышел на кухню и увидел, что она плачет. Я спросил:

– Ты чего?

Она всхлипнула и помотала головой.

– Ничего.

Волосы у нее растрепались и распутались, и в утреннем свете казались сероватыми. Она сидела, не поворачиваясь ко мне и положив голову на руки. Когда я сел рядом и немного сощурил глаза, ее гладкие и белые локти показались мне похожими на кегли.

Она откашлялась и сказала внезапно серьезно:

– Тебе надо сдать сперму.

Я еле удержался, чтобы не рассмеяться.

– И ты поэтому плачешь?

Она хихикнула.

– Не поэтому. Но сдать надо.

– Это не больно, если что, – сказал я. – Насчет этого ты в курсе? Надо помастурбировать в стаканчик, и все. Нужна только сила воли.

Она засмеялась и ухватила за мою руку, сделав вид, как будто падает. Она часто так делала. Она никогда не падала по-настоящему. Но я приучился ее ловить.

– Когда сможешь в клинику съездить? Чаю хочешь, кстати?

– Хочешь, – сказал я.

А потом добавил:

– На неделе смогу.

Она поднялась, тяжело опираясь двумя руками на стол. Заглянула в чайник.

– Больше нет. Надо поставить опять.

– Я подожду. Тебе же на работу еще не скоро?

– Нет.

Кнопка щелкнула. Вода полилась, потом забурлила, потом забулькала, стремясь вырваться. Все было как обычно.

40

Сдаваться я пошел в обычную больницу – ступеньки из плитки, пандус, наполовину покрытый снегом, и коридоры, по которым шаркали в бахилах напуганные тетki, которые прихватывали одной рукой свои медицинские карты, а другой сумки, и, когда поднимались со стульев в коридоре, тяжело переваливались из одной стороны в другую.

Я никогда не думал, что в обшарпанных кабинетах есть что-то страшное – тут они были не обшарпанные, а очень даже вымытые и выкрашенные белой краской.

Комната смешно называлась «Спермосдаточная». Не встретить я Лену, я бы и не узнал, что существуют такие комнаты. «Заборочная», наверное. Пройдет лет сорок, и будет «клонировочная». Тудаходишь один, а выходят двое Константинов. И отправляются в разные стороны. Почему бы и нет. Еще будет «восстановительная», где можно обратно нарастить орган или чего-нибудь еще, чего не хватает. Будет комната для омоложения, для поворачивания жизни вспять, и такая, где будут выдавать уже готовых и генетически своих детей. Хотел бы я, чтобы была такая комната?

Но на данный момент есть только эта, где я сдаю свой, как это тут называется, генетический материал.

Мне сказали что делать, выдали пробирку, проводили в комнату за шторкой. Шторка периодически колыхалась. Сосредоточиться там было сложно, потому что я нет-нет, да и смотрел на шторку – она была бежевая и ячеистая, и колыхалась, и периодически мне казалось, что она сдвинется и из-за нее кто-то выйдет и спросит меня, пока я стою со спущенными штанами – а что это вы тут делаете?

И мне нечего будет ответить. Пытаюсь, я бы сказал. Пытаюсь даже не потому, что она меня попросила – я мог бы отказаться.

У меня получилось совсем не сразу. В какой-то момент я перестал думать. И на бежевую шторку смотреть перестал. Иногда мое тело делало что-то такое, что меня удивляло и я не мог понять. Давало о себе знать, хотя я привык воспринимать его как механизм, которые никогда не дает сбоев.

– Вы там долго. – сказала медсестра недовольно.

Я не нашелся, что ответить. Можно было придумать шутку, но ничего не шло на ум.

– Так. Только посмотрим вас и сразу отпустим, – сказала она.

Пришлось опять снимать штаны. Странное чувство.

41

В конце концов выяснилось, что с моей спермой все нормально.

– Совершенно нормальная спермограмма, – сказала молодая врач. Она была похожа на ту, сердитую, в ночь балета и пятидесяти двух фуэте, которые нам пришлось делать сначала в туалете, потом в такси, а потом на обледелой дорожке перед подъездом. – Даже обычная. Совершенно стандартная! Никаких отклонений!

Она горестно вздохнула.

– Значит, все дело во мне?

Врач посмотрела на нее.

– Ну что ж, – сказала она, открывая папку, которая лежала у нее на столе. – Давайте посмотрим.

42

– По-моему, меня нет, – сказала она мне однажды. По глазам я видел, что она плакала. В последнее время у нее часто были водянистые глаза. Вокруг них собиралась краснота, и морщинки в углах глаз, которые я разглядывал просто по привычке, потому что так давно ее знал, что лицо ее стало распадаться на элементы: подбородок, изгиб скулы, прядь пепельных тонких волос, которые в утреннем свете казались седыми. Это ее не портило. Это ее даже не старило. Хотя она сердито закалывала прядь очень близко к голове, как будто хотела сказать «тебе тут не место».

Она отпила из кружки и поставила ее обратно на стол.

– По-моему, меня нет. У меня, – она произнесла это с усилием, – не получается. Не получается...

Она покачала головой.

– Каждый раз как будто разгоняюсь и еду в стену. Разгоняюсь и в стену. В стену. – Она сжала кулаки. – Когда я уже проеду через эту чертову стену? Когда?

Она сердито и кротко вдохнула, и посмотрела в чашку.

– Иногда я иду по улице, говорю с кем-нибудь, и у меня такое чувство, что все наполненные, а я пустая. У всех внутри что-то есть, а у меня одна полость. Полость...

Я протянул руку и коснулся ее пальцев своими. Они были очень холодные.

– Как будто бы я пустая. И всегда была пустая. И всегда буду пустая. Даже когда если внутри меня что-нибудь и... появляется, – она выговорила это с усилием, – то его сразу же... ну... оно...

Она мотнула головой. В чашке больше ничего не оставалось.

Я крепче сжал ее пальцы. Мне почему-то пришло в голову – я представил – как струйка крови бежит по боку глиняного сосуда. Сосуд нежной, кремового цвета глины. Неровной, потому что только-только сделан. Струйка крови бежит и застывает. Это нестрашная кровь – хотя мне вообще, наверное, повезло, что я не боюсь ее вида.

Внутри сосуда полое пространство. Туда даже руку нельзя засунуть – такое узкое горлышко. Как те стаканы и заварочные чайники, в которых я никак не мог засунуть пятерню, когда была моя очередь отмывать оттуда чайные разводы.

Но струйка крови не оставляет разводов. Она бежит-бежит и исчезает навсегда.

– Я ведь не прозрачная, – сказала она совершенно серьезно. Тон у нее был как у отличницы, которая подняла голову от учебника и говорит учителю точный, совсем непроверяемый факт. – Я не прозрачная.

И, поднявшись из-за стола, пошла мыть свою чашку.

43

Был период, когда мы об этом не разговаривали. Тогда я понял, что значит выражение «висит в воздухе».

Когда-то я читал про дамоклов меч. Кажется, в одной из книжек, которые выудил с материнной книжной полки. Книжки меня особо не интересовали, но иногда мне было скучно.

«Дамоклов меч» было написано там. И нарисован царь, которые сидит на своем троне – трон выглядел правдоподобным, – а над ним висит и болтается острый меч с янтарной рукояткой. Меч мне очень понравился. И несмотря на то, что подвешен он был на волос, мне не показалось, что он так уж легко свалится. И потом, даже если он свалится, разве он убьет царя насмерть? Может быть, просто оставит ему на лице длинный и некрасивый шрам.

Меч висел, но волос был прочный. Я иногда поднимал на него глаза. Возможно, нам стоит научиться воспринимать его просто так украшение.

Но она-то – я знал, что она воспринимает его не просто как украшение. Она тоже его видела – и отводила глаза, и упорно, сосредоточившись еще сильнее, чем раньше, занималась своими делами.

44

– Слушай, давать жить без этого, – сказал я ей как-то.

– Без чего?

– Без детей. – сказал я.

Она посмотрела на меня, как будто не видела.

– Нет. – сказала она. – Нет.

– Может, мы недостаточно пытаемся. – сказала она в другой раз. – Должно же быть какое-нибудь объяснение, почему.

– Почему что?

– Почему не получается. – Она смотрела прямо перед собой. – Наверное, мы только скребем-ся в дверь, а надо дергать ручку. Надо раскачивать ее, высаживать плечом. Что-то такое делать, активное, чтобы она наконец поддалась. Понимаешь?

– Понимаю, – сказал я. Дверь я представлял очень хорошо. В моем воображении это была довольно хлипкая, оклеенная синтепоном дверь. С пуговками. Через щель под ней был виден свет изнутри квартиры. Можно было понять, дома кто-то или нет. Дома кто-то был, это я точно знал.

– И раз, и два... – она шевелила губами. – Должен же быть какой-то выход. Ну правда, должен же, ну должен же быть хоть какой-то выход.

– Вход. – поправил ее я.

Она не услышала.

45

Мне надо было ей объяснить, но я не знал, как.

Она обнимала меня, молчала и часто дышала. Мы стояли так, слегка покачиваясь, посреди комнаты.

– Понимаешь... – сказал я наконец, она замерла. – Понимаешь. Ты как будто думаешь, что есть какой-то... счет. По которому тебе не выдают. Ребенка.

Я с трудом выговорил это слово.

– Тебе как будто его не выдают, а ты пытаешься выбить долг. Как будто это посылка, которая не пришла, что ли! Понимаешь?

– Что ты хочешь сказать? – она отлепилась и посмотрела мне в глаза. – Что мы пытаться перестанем? Не перестанем. Не перестанем, и до тех пор, до тех пор, пока... не выйдет, не перестанем!

Она смотрела на меня исподлобья. Взгляд у нее горел.

– Просто нет никакого счета. – сказал я. – Никому ничего не обещали. Нет никакой... удержанной задолженности. Так это называется?

– Не так. – она скрестила руки на груди.

– Нет никакого объяснения. Нет ответа. Ничего этого нет.

Я видел, что делаю ей больно, но все равно говорил. Я редко так делал. Только когда надо было.

– Пошел ты! – выдохнула она мне в лицо. – Пошел ты со своими теориями!

– Это у меня теории?

– Пошел ты с своими «ничего не гарантировано»! Ничего! Ничего! Ты вообще ничего не понял! Они все сказали, что это возможно! Возможно! Мне еще не сорок! Почему это должна быть я, а, у кого не получается? Почему я? Ни черта! Ни черта это не буду я! Вот увидишь!

Тем вечером, в ванной, она плакала так, что мне пришлось стучать и стучать, добиваясь, чтобы она мне открыла. Ее рыдания доносились через покрашенную белую дверь, и я смотрел в эту дверь, на краску, которая кое-где облезла, пока стучал. Я барабанил в нее пальцами, пока та не открылась.

Дверь чуть не ударила мне по подбородку – а она, высоко подняв нос, пронеслась мимо.

– И что! И что! Не смотри на меня так! Это все стресс.

Но в спальне, когда мы «попытались» снова, она снова начала плакать.

46

– Ваша жена пережила травматическое событие, – сказал психолог.
Вот идиот, а. Это я и так знаю.

Не помню, почему решил все ему рассказать. Это был просто медосмотр. Обойти нескольких специалистов, подписать больничный лист, в разных кабинетах. Кабинеты были одинаковые. Лица у всех тоже были одинаковые. А у него, видимо, какое-то не такое. Другое лицо.

Рассказывал я недолго.

Сказал, что у нас не получилось. Сказал, как. Странно, когда я это говорил, я параллельно подумал – что у нас не получилось? Разве у нас что-то не получилось?

Он помолчал и постучал ручкой по столу.

– Я понимаю.

А потом:

– Вам необходимо поддерживать вашу супругу.

– Как?

Он, казалось, смутился. Я почти ждал, что сейчас он скажет: «А как, вы думаете, нормальные люди это делают?» И я с чистой совестью смогу дать ему кулаком в физиономию.

Но вместо этого он сказал:

– Слушайте ее. Поддерживайте. Позволяйте ей говорить о своих чувствах.

– А она не говорит о своих чувствах.

– Вот вы, окажись в такой ситуации, говорили бы о своих чувствах? Может, бегали бы по городу, орали и хватили бы людей за рукава, спрашивая: «Ты меня видишь? Ну хоть ты меня видишь?» И никто не видит, понимаете? Всем наплевать.

Он снял очки и повнимательнее взгляделся в меня.

– Она говорит с вами... о произошедшем?

– Нет.

– Ей нужно это выразить, понимаете? Найти форму, в которой она сможет выражать. Писать дневник. Рисовать картины. Вязать. Шить. Бить подушки. Петь! Очень помогает пение.

Она раньше пела в хоре, сказал я.

– О, отлично! А почему перестала?

Я посмотрел на него.

– Скажите ей, чтобы снова попробовала. И вам нужно быть рядом с ней. Быть ей опорой.

Понимаете?

– Я и так... рядом.

Я вспомнил один наш разговор, пока он это говорил. Она лежала ночью, натянув одеяло на подбородок. Глаза у нее были открыты.

– Я пойму, если ты от меня уйдешь. – сказала она. Потом добавила как ни в чем не бывало:

– Со мной тяжело. Когда я... не получаю чего хочу. Но я правда хочу. Так что, если ты уйдешь, – она запнулась, но только на секунду. – Я понимаю... я могу понять. Всем хочется более легкой жизни.

– И ты не будешь говорить, что я мерзавец? – я улыбнулся.

Мои руки лежали поверх одеяла.

– Конечно, буду, – ответила она серьезно. – Мерзавец. Красивое слово.

Потом вздохнула и добавила:

– Но мужчины справляются хуже женщин. Все говорят, вот он ушел от нее, он ушел от нее. А я иногда думаю – ну ушел. Может так им двоим было лучше. Никогда не думал об этом?

– Нет. – Я смотрел в потолок. – Никогда.

– Но я никуда от тебя не уйду, – сказал я и повернулся к ней. – Даже не надейся.

– Почему?

Голос у нее звучал незаинтересованно.

И я сказал единственное, что пришло мне в голову.

– Не хочу.

Психолог пожал мне руку – его ладонь была мягкой, но приятно сухой. Он проводил меня до двери.

– Я желаю вам удачи, – сказал он.

Мне показалось, искренне.

47

У нас так и не получалось.

Она днем и ночью читала какие-то статьи, учебники, просматривала в сотый раз ту же схему органов таза и тыкала в них пальцем, как в свои документы по работе, что вечно разваливались у нее на столе. То молчала целыми днями, то, обхватив себя руками, ходила из одной комнаты в другую, трогала предметы, с неудовольствием пихала их на свое место, снова ходила. Нашла в глубине шкафа уже отживший свое флакон духов, пахнувший сдавленным вишневым запахом, понюхала его и швырнула в мусорное ведро.

– Что за... – она морщилась и продолжала ходить. – Что за...

То принималась приставать ко мне с каким-нибудь новым, натуропатическим решением, согласно которому надо впустить внутрь себя силу счастья и белый свет.

У нее была эта способность – создавать вокруг себя кольцо. Иногда кольцо сужалось, иногда расширялось, иногда включало и меня тоже, а иногда только ее одну. В это кольцо было не пробиться, если она не хотела. Иногда в него было вообще не пробиться. Иногда я и не пытался.

Она даже к гадалке пошла. Или ведьме – понятия не имею, как они правильно называются. Поехала в какую-то деревню к бабке, наверняка на той маршрутке, которая идет с неудобной установки на другом конце города. Еще и сумку свою рабочую прихватила, и наверняка так и сидела с ней, неудобно прижав к животу, потому что не заезжать же домой и не оставлять ее, а потом объяснять мужу – то есть мне – куда она едет.

– Еще гадалок нам не хватало, – сказал я. Я так устал, что еле заметил ее, когда она вернулась.

Я вообще в последнее время очень уставал. Усталость висела надо мной и туманила голову, я не мог толком сообразать, не мог ничего осуждать, мне хотелось доплыть, догрести уже до какого-нибудь места, где все было хорошо. Я даже почти видел сизые волны и желтый песок. Добраться бы до песочка. Только добраться бы.

– Такая женщина, – я наконец расслышал, что она говорит. Сколько я уже слушал ее? Минут двадцать? Тридцать? – Такая. Не старая. Не бабка. Не знаю, почему все говорят, что она бабка, но она не старая еще. Ей лет сорок.

Я отхлебнул чаю. Оказывается, передо мной был чай.

– Так вот, она вначале раскинула эти свои... карты. Свечки горят везде, страшно, темно очень. Деньги сразу берет. Многовато, конечно, но я взяла, что делать... Потом руку мою посмотрела, и еще раз карты разложила, и зеркало у нее еще было вроде. Что-то с зеркалом делала.

– Что делала? – спросил я без особого интереса.

– Да откуда я знаю, – она отмахнулась. – Главное в руке было. Или в картах. Она сказала, что судьба меня завела не туда. Или все... зашло не туда. Пошло не туда. Так она сказала.

– В смысле не туда?

– Года два назад... должно было пойти так, а пошло не так... не так. – Она сощурилась.

В голове у меня что-то жужжало. Мягко, успокаивающе. Я слушал ее через этот гул и думал – надо же. Дичь какая.

– И вот с того... с того дня, как все не так пошло... все так получилось, что я теперь... ну, если я не прекращу двигаться туда, куда двигаюсь... Вернее, она сказала... – Она нахмурилась и взялась рукой за лоб. – Идти в тупик. Кажется, так. Нельзя идти в тупик.

– Мм.

Мне надо было спросить, какой тупик, но она все вспоминала.

– Я все спрашивала у нее, какой тупик, но она только сказала, что... что тогда все было не так, то есть пошло не так, и поэтому я... я... Ой, кстати, и сущностей на мне нет!

Я поднял голову. Мне казалось, что моя голова все это время висела над столом, и опускалась, вместе с плечами, все ниже и ниже. Еще чуть-чуть, и я клюнул бы в чай носом.

– Чего на тебе нет?

– Сущностей! – заявила она победно. Лицо у нее было такое, как будто все прояснилось. – На мне нет сущностей! За мной не ходят покойники! Никто во мне не сидит! А я иногда по ночам вскакиваю, и мне дышать так тяжело, что кажется – точно сидит! Точно сидит! А она сказала, что нет!

– Лена, – сказал я. – Что ты придумываешь? Какие сущности?

– Ну эти. Она их так называет. – она, казалось, смутилась. – Которые к людям подселяются. И живут. И паразитируют на них. Я думала, поэтому у нас и нет... детей, что на мне одна такая... ну. Сидит.

– У тебя нет детей, потому что у тебя медицинский диагноз. – отчеканил я. – Он написан в твоей медицинской карте. Если хочешь, можешь посмотреть.

Мысль о покойниках, которые должны ходить за ней толпой, видимо, занимала ее очень сильно, поэтому она не вскинулась, а только посмотрела на меня обиженно.

– Почему ты говоришь «у тебя»? У нас нет детей. У нас.

– Ну ладно, – согласился я. – У нас.

48

Мы уже укладывались спать, когда она сказала:

– Все-так что-то есть. По-моему, что-то есть.

Я не стал прикидываться, что не понял.

– У этой бабки?

Она не ответила, только попышнее взбила подушку.

– У этой бабки что-то есть? За ней, видимо, целые толпы покойников шатаются. Еле отбиваться успевает.

Она меня проигнорировала.

– Энергетические дыры.

– Что?

– Она сказала, что у меня энергетические дыры. Я сама себе образовала энергетические дыры. Как-то так она сказала. И через них утекает... как-то она это выразилась... шестерка пик... или что-то другое с пиками? Не помню.

Она зевнула и поудобнее устроилась на подушке. Я осторожно обнял ее сзади – обеими руками.

– Давай сегодня попробуем, – сказала она счастливо. – Я чувствую, сегодня может... ну, после того, что она... сказала. Может получиться.

Через минуту она уже спала.

49

Эта гадалка потом еще несколько раз всплывала. Лена бормотала под нос то, что та ей сказала, и отказалась пояснять, что – видимо, заклинания, которые та ей насоветовала. Но все пошло еще дальше. Однажды, роясь в шкафу в поисках своей зеленой рубашки в полоску, я обнаружил там детский комбинезон. А еще – я протянул руку и вытащил их – носочки и ботиночки, которых там раньше не было. Они были аккуратно запрятаны в самую глубину.

Когда я въезжал в эту квартиру, их здесь не было.

Когда мы начинали жить вместе, их здесь не было.

– Лена!

Она прибежала. В руке у нее была лопаточка для переворачивания блинов, а косынка, повязанная поперек лба, сползала, и она поправляла ее тыльной стороной ладони.

– Если начнешь сыпать соль в мои вещи и брызгать кровью, мне скажи предварительно, ладно?

Я очень старался не повышать голос. Получалось не очень.

Она ничего не говорила. Только хмурилась и смотрела то она комбинезон, то на лопаточку у себя в руке.

– Что это за хрень? – я смотрел на нее. Комбинезон я аккуратно положил на кровать – Скажи мне, что это за хрень?

– Хороший комбинезон. – сказала она тихо. – Пригодится.

И подняла на меня глаза. Потом неловко обняла. Она почти никогда не обнимала меня первой. Всегда была вежлива, всегда предоставляла мне возможность сделать первый шаг.

– Ну и пусть, что я сошла с ума, – сказала она, уткнувшись мне в плечо. – Ну и пусть, что я спятила. Я чувствую его. Мне так легче. Ты что, не можешь понять, что мне так легче?

– Нет, – сказал я сердито. – Не могу.

– Ну и ладно, – сказала она примирительно. – Просто позволь мне сходить с ума, ладно? Каждый справляется по-своему.

– Если я позволю себе сойти с ума, ты совсем съедешь с катушек. – я покачал головой. – Будешь после работы шататься по улицам и кричать, что они уж близко, конец уже близко, и скоро настанет ад и апокалипсис начнется. И на работе все будут спрашивать, почему я женился на сумасшедшей.

– Кричать не буду, – сказала она. – Ненавижу кричать. И скандалить. Вообще крик ненавижу.

Я не стал ей напоминать, как она кричала, когда после гормонов у нас тоже не получилось. Я не должен был слышать – она вышла в хилый больничный садик и подошла к самой ограде. И думала, что за дверью – «Для персонала» было на ней написано – никакого нет. За дверью с надписью «Для персонала» был я. И я слышал, как она кричала. Все мое тело рванулось, чтобы ее защитить. Но я стоял там, пялился на хлипкие перила, состоящие из одной провололочной перекладины, и держался за них рукой, и сильно сжимал кулак. Что мне было делать?

Нет никакой инструкции, которая говорит, что в таких случаях делать. Понимаете? Ее нет.

– Говорить, что они скоро придут, тоже не буду. – сказала она. – И потом, я не знаю, кто такие «они».

– Инопланетяне? – предположил я.

Она, казалось, не слышала меня.

– Ты не думай, что у меня совсем... крыша едет. Я сама иногда так думаю. – Тон ее звучал задумчиво. – Иногда я сама так думаю. А потом поработаю, и вроде нет, нормально. А к бабке я просто так ездила. Чтобы, ну... все варианты попробовать. И не так уж там и страшно. От свеч этих ее и зеркал, конечно, не по себе.

– Может, в церковь сходить?

Я сам не знаю, зачем это предложил.

– Я уже была, – сказала она удивленно. – Батюшка сказал, что повенчаться надо. Во грехе живем.

Я чуть не сказал «ну значит, повенчаемся». Но вовремя захлопнул рот.

По-моему, под конец она верила, что может вытащить ребенка из пустоты. А потом, не знаю как, не знаю в какой момент, она стала верить, что в эту пустоту должна уйти она сама. К невидимому кому-то, который где-то там, на другой стороне, и ждет ее, и один на автобусной остановке, и вертит головой, и поправляет шарф, и топает толстыми ножками в резиновых сапогах, и варежка падает на асфальт, и некому подобрать. Долго ему еще там стоять? Она должна идти.

Когда пришли новости, что она больна, а потом пришли, чем, она, казалось, нисколько не удивилась. Она сидела, выпрямив спину и сложив на коленях руки, а врач смотрел на нее сочувственно. Я сидел чуть позади. Она склонила голову, очень для нее нетипичным жестом – как королева, которую сейчас поведут на эшафот. В простой серой рубашке, волосы стекают по груди двумя золотыми потоками. Острое лезвие, опускающееся на жемчужно-белую шею. Меня аж передернуло.

– Сколько мне осталось?

Я не думал, что она это спросит, но она спросила.

– Вообще-то это лечится. – сказал врач.

Она, казалось, удивилась.

– Лечится?

– Лечится, лечится, – подтвердил он сердито. – Мы с вами составим план лечения, я вам все объясню, распишу, и будем лечиться. И вылечимся. Понятно?

Она чуть заметно кивнула. Было не похоже, что она ему верит.

Врач раздраженно взглянул на меня в поисках поддержки. Очевидно, я должен был держать ее за руку и повторять, как ласковый, примерный муж: «Ну, держись, дорогая».

Ну-ну, держись, дорогая. Не унывай. Кстати, что у нас сегодня на ужин?

– Мы с вами обо всем договоримся, – повторил врач с нажимом.

– Договоримся? – повторила она.

Она только повторяла, что он говорил. Сама ничего не говорила. Это мне не нравилось.

– Мы распишем план лечения, все процедуры, мы сможем вас скоро записать, у нас нет такой большой очереди... – он снова начал говорить, а она замолчала.

В конце концов он замолк.

– Я вам все запишу. Может, вам лучше успокоиться вначале? А потом поговорим. У нас есть психолог, второй этаж. Последний кабинет налево.

– Как его фамилия? – спросил я. Надо же было что-то спросить.

Он с неудовольствием посмотрел на меня.

– Табуреткин. Валентин Михайлович. Последний кабинет налево, второй этаж.

Мне вдруг неудержимо захотелось засмеяться.

Врач уже что-то писал.

– Поговорите с ним. Потом подойдете ко мне. До трех, в три я заканчиваю прием. Удачи вам. Мы вышли.

В коридоре она не взяла меня за руку. Она шла вперед, плавно, как во сне, не вертя головой по сторонам, ничего не замечая, ничему не кивая узнавая. Она скользила, как привидение скользит по старому пустому замку, где красавица когда-то жила. Мы вышли из больницы.

Был прекрасный солнечный день. Она обернулась ко мне.

– Пойдем мороженое есть? Тут рядом есть кафе.

Лицо у нее было совершенно такое же, как всегда.

Я вам могу сказать, что по дороге в ад не бывает блокпостов.

Никто не проверяет у тебя документы и не штрафует за превышение скорости. Никто не выбегает на дорогу и не машет руками – а если даже выбегает и машет, ты переезжаешь их с холодным сердцем.

Дорога в ад – это даже не дорога, это как горка в аквапарке, по которой ты съезжаешь все ниже и ниже. Иногда упираешься и поднимаешься на пару метров вверх, чтобы выкарабкаться

и уйти с этой чертовой горки, вода устремляется вниз, как будто специально – тебя тянет, ты цепляешься за края, но съезжаешь, съезжаешь все сильнее и сильнее, по полметру, по метру. И все. Так это и происходит.

Ну как ты, старик, нормально?

Как у тебя? Тебе уже лучше? Выглядишь вроде лучше.

Внутри они думают – как хорошо, что это не случилось со мной. Как хорошо, что это случилось с тобой, а не со мной.

Как хорошо, что я могу пожить еще немного и не беспокоиться. Для меня эти часы не включились. У меня впереди еще много счастливых часов.

А тебе... тебе Бог поможет.

Ну замечательно.

Я чувствую эту их радость. Что их пронесло. И это ставит непреодолимую стену между мной и ними, между нами и ними – теми, с кем это случилось, и теми, с кем нет. Потому что это случится со всеми. Это я понял четко. Уже позже понял, в автобус сидя.

Просто большинство не знают, что оно с ними случится. И когда. И хорошо, что не знают.

52

Вы заранее знаете, чем кончится эта история. Я ничего от вас не скрывал.

Не то чтобы я не думаю, что для вас в ней не будет ничего трагического. Но когда ты тонешь сам, это не совсем так, как смотреть, как тонет другой. Мне не стоит говорить про это – ничего хорошего в этом нет. Внутри у тебя открывается дверь, ведет она в черное, и ты уходишь в черное, не потому что хотел, а потому что дверь приоткрылась, и вот, ты заглянул туда, и вот там оказался, и вот уже не знаешь, как найти выход.

Я много времени провел в этом черном месте. До меня не сразу дошло, что рано или поздно все там оказываются. Я там до этого не был, и никто мне ничего такого не говорил. Вроде тех вещей, которым не учат в школе – как заполнять налоговую декларацию, надевать презерватив тем концом, которым нужно, и как быть, если оказался в черной комнате внутри себя, из которой нет выхода.

Многие так и не возвращаются из этой комнаты.

Многие возвращаются другими.

Я не знаю, но я так думаю. Я предполагаю.

– Ну и мысли у тебя, Константин, – промышчал коллега, когда я попытался сказать ему что-то в этом роде за бутылкой после работы. Бутылка меня особо не интересовала, а вот его интересовала очень даже. – Лучше на вот, выпей. Лучше будет.

Человек начинает пропадать, когда он еще виден. Когда его тело, его контуры, его слова, его лицо еще видны тем, кто его окружает. Но человек начинает пропадать уже тогда. Это очень легко заметить – даже психиатр не нужен.

53

Она с трудом ловила то, что происходило во внешнем мире. Ее тело слишком ограничивало ее, слишком слепило к внешним раздражителям. Что бы я ни говорил, ни приносил, ни делал – она улыбалась и кивала. Не отвечала, не задавала вопросов, не приставала со своей культурной программой, как раньше – я бы все отдал, чтобы приставала – а только улыбалась и кивала, как древняя бабушка на лавочке, которая протягивает сухонькую ручку и кладет ее на молодую голову, которая вся покрыта рывжими завитками. Как будто вода сомкнулась над ней, уже замкнулась,

уже сомкнулась – и там, в этом ее мире под водой, было что-то важное, что ей одной надо было рассмотреть, подойти к нему поближе, вращающемуся в плотном водном потоке, сверкающему белым лбом, крутящемуся и отливающему синим и серым.

Она рассматривала это и рассматривала, улыбалась и качала головой, улыбалась и качала головой. Мне становилось по-настоящему страшно. Я не знал, о чем с ней говорить.

В конце концов я рассердился.

– Ты долго будешь так?

– Что – так?

– Так себя вести, – уточнил я раздраженно. На больных нельзя раздражаться. Их надо отогревать и поддерживать. На них нельзя злиться. Это мне где-то сказали. В больнице, наверное.

– А как я себя веду?

– Ну так. Как будто тебе больше всех все известно.

Она посмотрела на меня немного свысока.

– Мне и правда больше всех известно.

– И что тебе известно? – спросил я, обзлившись. – Что?

Она не ответила.

– Если не будешь лечиться, у тебя нет шансов, – сказал я сердито. – Если будешь пропускать процедуры, то...

Она посмотрела на меня с высокомерной жалостью.

– Я не пропускаю процедуры. И все лекарства принимаю. Только мне становится хуже. А ты, – продолжила она спокойно, – не хочешь это принять.

– Лена!!

Мое раздражение буквально в полсекунды превратилось в белую ярость. Мне даже глаза слепило. Я был в такой ярости, что в голове звенело, и я чуть было не вскочил и не бросился к ней и не вцепился ей в горло – так мне хотелось что-то сделать, чтобы она очнулась.

– Твою мать! – выговорил я отчетливо. – Конечно, что я не могу это принять! Как ты хочешь, чтобы я это принял?! Ты ни хрена не делаешь, чтобы выздороветь! Ты не хочешь выздороветь! Ты целыми днями сидишь и пялишься в одну точку! Или на кровати валяешься! Придумываешь какую-то хрень про воображаемого ребенка, детская одежда в шкафу, бабки, сама себе мозги пудришь! И мне заодно!! Я должен принимать?! Я?!

– Я не валяюсь, – у нее был ледяной тон. – И никакие мозги... я не пудрю. У меня сил нет. Я хожу на процедуры, если ты хочешь знать...

– Да ты ходишь, потому что я тебя на них таскаю! Я тебя заставляю! Я что тебе, мать родная? Отец родной?

– Ты прекрасно знаешь, что у меня нет ни матери, ни от...

– Ты сдалась!! – я заорал так, что содрогнулась даже входная дверь. – Ты сдалась, мать твою, и я не понимаю, зачем!! Ты жить не хочешь! Хочешь, чтобы я это сказал?! Так я скажу! Ты жить не хочешь!! Ты сама себя записала в...

– Во что? – спросила она, когда я внезапно осекся. – Во что я себя записала? Как ты смеешь? – она стала подниматься из-за стола, скривилась и оперлась на него обеими руками. – Как ты смеешь так со мной разговаривать? Это тебе надо колоть гормоны? Это из тебя хлещет кровь?! Это из тебя все жилы вытаскивают?!

– А из меня жилы не...

– Я бо-ле-ю, – она выговорила это слово по слогам. – А ты мне еще смеешь говорить, что я что-то делаю не так? Да не смей!

Тяжело топая, она ушла в другую комнату и рванула за собой дверь.

Черт подери.
В голове у меня все еще гудело.

Я подождал и поскребся в дверь. Она не открыла, но я знал, что она там стоит.

– Не смей обвинять меня, – сказали из-за двери тихо и угрожающе.

Это был не ее голос. Если бы за ней и вправду толпой ходили покойники, я бы поверил, что это голос именно их. Не ее.

– Я что-нибудь с собой сделаю, понял? – сказал голос. – Если будешь меня обижать.

– Лена.

Она не отвечала.

– Не сделаешь.

– Сделаю.

– Не сделаешь.

– Сделаю.

– Не говори глупостей.

Из-за двери помолчали.

– А ты что мне только что говорил?

– Правду.

Я слышал, как она тяжело дышит.

Потом дыхание отдалилось – видимо, она отошла и села на кровать.

– Я желаю тебе никогда не проходить... через что-то подобное. Через такое... лечение.

Теперь это уже была она. Это был ее голос.

– Никогда. Это ужасно. Как будто... мое тело загрязняют чем-то. Как будто... меня нет. Хуже любого секса с болью. Хуже всего.

– Это закончится, – сказал я. – Я знаю. Я знаю. Так же, как то, что завтра пятница. Знаю. Понимаешь? Что оно закончится. Мы опять поедем путешествовать. То поле найдем. Я куплю тебе бублик! – добавил я во внезапном порыве вдохновения. – Все будет хорошо.

– Завтра не пятница, – сказала она. – И я не люблю бублики.

– Пятница-пятница.

– Боже, – из-за двери донесся легкий шум – как будто она легла на кровать. – Я так далеко ушла? Уже путаю дни недели.

– Ничего. – сказал я.

И повторил:

– Все будет хорошо.

– В любой болезни всегда оказываешься один, – сказал голос из-за двери. – То есть одна.

– Ты не одна.

– Тебя как будто заталкивает... глубже, что ли, в твоё тело, в самую его глубину, – продолжал голос. – И ты сидишь и смотришь оттуда. Как лягушка в аквариуме.

– Так ты выныривай! – сказал я. – Я-то не в аквариуме. Я здесь. Так что давай, давай, выныривай!

Молчание.

– Лена!

Я постучал в дверь. Она была закрыта.

– Если бы это было так просто, – сказала она сонно. – Если бы это было так просто.

Мне снилось, что ее закручивает в мясорубку. Сначала я вообще не мог понять, что происходит, – вращалось огромное железное колесо, много отверстий, из них сочилась кровь, белая кожа

и мышцы засасывались туда и становились мясом. Я бросился и стал тянуть ее оттуда, но никак не мог поймать ее взгляд, посмотреть ей в глаза, спросить, как она там оказалась, а мясорубка все работала и работала. Она не кричала – или я не мог услышать ее крика? Ее тела в моих руках становилось все меньше и меньше. Как комок теста, теплый и выпуклый, от которого отрывают, отрывают, отщипывают на пирожки. В конце концов не остается ничего.

Я проснулся и долго не мог понять, почему у меня под носом вместо кожи и крови только пыльный и стылый воздух нашей спальни.

У меня не было времени думать, что это означает.

Я ни черта не благородный герой, думал я, ожесточенно шагая на работу, с работы, в больницу. В то кафе я больше не заходил – женщина с ее пирожными «картошка» и ромовыми бабами, выстроеными в ряд, спрашивала у меня, как Леночка. Я не мог отвечать.

Я не благородный герой. Из дома в больницу, из больницы в дом, из дома на работу, как твоя жена, откуда у тебя синяк, мне в лоб влетела дверь, а почему голос сел, да простудился, наверное, а откуда синяки такие под глазами, да наверное плохо сплю. Тогда может больничным возьмешь. Больничным. Больница. Болит.

Это все бред. Благородных героев не бывает.

Я не знал, как ее поддержать. Мне надо было поддерживать ее по-другому.

Надо было влезть в этот шалаш со сжимающимися стенами и сидеть там внутри вместе с ней, подтянув колени к груди. Надо было приходиться с работы пораньше. Грустить лучше. Грустить вместе с ней. Надо было больше ждать, лучше ждать, не ждать совсем. Надо было больше верить. Надо было изыскать какие-нибудь другие способы, чтобы у нас получилось – как будто бывают другие способы. Надо было больше пытаться. Надо было забыть об этом. Надо было, надо было, думал я, перебирал, пока шел из больницы домой. Она заснула. Осталась в больнице. Завтра я ее заберу.

56

Она умерла во вторник. Вторник как день недели мне никогда не нравился.

Под конец она совсем отказывалась выходить из комнаты. Или лежала там целыми часами, дремала, или читала книжки, потом откидывала их в сторону, так, что они валялись у кровати стопками. Потом вдруг требовала отвести ее в парк и гулять там с ней – за ручку, как с маленькой. Я отводил, и гулял, и мы ходили минут пятнадцать, а потом она требовательно рассматривала листья и говорила:

– Осень. Осень!

Сиделась на скамейку и долго-долго там сидела. Иногда часами. И отказывалась уходить.

– Ты не можешь со мной спорить, – сказала она мне упрямо. – Ну и пусть, что я замерзну. Я не хочу уходить.

И так и продолжала сидеть, до подбородка укутавшись в свое пальто и заплетая руки на груди.

Я сидел рядом с ней. Иногда прохаживался, потому что ноги затекали, но далеко не уходил.

Тогда я подумал, может, там и правда кто-то есть? Может, он и правда отмеряет, сколько нам осталось? Может, зря я в нем сомневаюсь? Может, раз я еще здесь, раз я буду здесь, а ее не будет, то я зачем-то нужен?

Я больше почувствовал это тогда, чем понял. И она тоже, казалось, поняла.

– У тебя все будет хорошо, – сказала она уверенно. – Ты хороший человек, поэтому у тебя все должно быть хорошо. Все еще может быть хорошо!

– Ты же понимаешь, что это не значит, что с тобой было плохо? – спросил я, взяв ее за руку. Пальцы у нее были шершавые и сухие.

– Понимаю, – отозвалась она тихо. – Просто... мне так хотелось иметь ребенка. Только почему-то... почему-то. Это должна была быть не я. Знать бы почему.

– Никто не знает, – сказал я.

– Он знает, – сказала она. И посмотрела на небо.

Я не стал спрашивать.

57

Моя мать рыдала так, что я даже испугался. А я ничего не боюсь. Это не метафора. Один раз я даже стаи собак не испугался, хотя они неслись прямо на меня по обледенелой дороге между заборами. Я просто за долю секунды решил, что делать, – бросил портфель, который сжимал в замерзших пальцах, и, тяжело оттолкнувшись, умудрился взобраться, кажется, на осинку, которая росла на обочине дороги.

Мне повезло – рядом с осинкой был забор, не очень высокий и не очень гладкий, и мне удалось поставить ногу, снова поставить ногу, оттуда перебраться на дерево, и все секунд за, наверное, десять.

Дерево качалось под моим весом. Я взобрался не очень высоко. Вспомнилась сцена из Маугли, когда тот бежит, обмазавшись чесноком, от стаи бешеных псов, и прыгает с обрыва, а до этого – сидит на дереве и дразнит их сверху, а они рычат, что все равно его убьют. Странные бывают детские сказки.

Собаки покрутились-покрутились. Мне было холодно и неудобно – они чуяли меня, я сидел не очень высоко и смотрел на них сверху вниз. Подпрыгни они, может, и могли бы меня достать.

Я опасался, что они не уйдут, и я замерзну. У меня был телефон, но он неудобно засунут в задний карман джинсов, и, чтобы вытащить, надо было извернуться и выпустить одной рукой ствол. А отпускать я не хотел.

В конце концов они убежали.

Но я не боялся их – я правда не боялся их. Я откуда-то знал, что со мной все будет в порядке.

Но когда мать рыдала – не рыдала даже, а выла, – я не знал, что делать. Когда я позвонил ей, в трубке раздался самый настоящий вой.

Когда я приехал, лицо у нее опухло так, что глаза были с трудом видны. Я неумело обнял ее – ее трясло, да так, что даже прижавшись, она не смогла унять дрожь.

– Ну, ну, ну, – сказал я неопределенно.

Она дрожала и некрасиво и громко рыдала, и рот у нее был похож на отверстие, похожее на то, куда в детских сказках шла печная заслонка. Слезы прочертили у нее на щеках две борозды, и катились вниз по подбородку.

– Не убивайся ты так, – сказал я.

Она икнула.

– Салат хочешь?

– Ког-да... когда... похороны? – спросила она, не отпуская мою спину в пуховике.

– В субботу.

– Так долго?

Я переступил с одной ноги на другую.

– Отпевать будут?

– Будут, – я мотнул головой.

– Понятно.

– Ты такой сильный у меня, – сказала она, когда я, наконец, закрыл входную дверь, содрал пуховик и ботинки и принялся резать салат. – Такой... такой...

Она всхлипнула и замолкла.

– Леночка была такая... ну... она... И ушла... так рано.

Салат она не ела, только брала вилку, заносила ее над тарелкой, водила в воздухе и потом клала обратно на место, так и не подцепив ломтик огурца.

– Не надо, чтобы уходили так рано. Неправильно это.

Она покачала головой и тыльной стороной вытерла щеку.

– Неправильно.

Я жевал огурцы и не чувствовал никакого вкуса. Чувствовал только вкус талой воды, и ее запах, как бывает ранней весной, когда сугробы еще лежат, но выходишь из подъезда и носом чуешь, как собака, как изменился ветер, и в нос тебе несет запах талой воды, и ты знаешь, что снег растает. Скоро растает снег.

Я чувствовал вкус талой воды у себя на языке. Жевал. Проглатывал. Запивал салат водой.

– Как думаешь, отец еще жив? – спросил я.

Она даже не удивилась.

– Жив. – сказала она.

– Откуда ты знаешь?

Она не ответила.

– Он что, звонил тебе? Просил денег?

Мать покачала головой.

– Он звонил... только один раз. Давно. Ты не женился еще.

– Чего хотел?

Она полузакрыла глаза.

– Сказал, что... – она выговорила это слово с видимым усилием. – благословляет нас.

– Благословляет?

– Он ушел в монастырь.

– Что-о-о?

Я подавился огурцом, который, как оказалось, все это время был у меня во рту, и долго кашлял.

– В монастырь?!

– Так он сказал.

Она пальцами взяла кусочек огурца, прикусила его, пожевала и, скривившись, проглотила, как будто раскусила горькую таблетку.

– Я просила его... позвонить тебе.

Он, конечно же, не позвонил. Посчитал, что молчание важнее слов. Молчание тянется над белоснежной равниной, где находится этот его монастырь, который тут же возник в моем воображении – полуразрушенное здание, посреди острова и с башенкой. Молчание тянется между ним и квартирой, заваленной ее вещами. Все так. Так и должно быть. Молчанием можно сказать куда больше, чем можно сказать словами. Это было очень в его стиле.

– Так и не позвонил, – вздохнула мать.

– Ага.

Я подумал, мог бы отец быть святым. Наверное, не мог. Даже если вглядываться в него близко – а никому не позволялось вглядываться в него слишком близко – он не походил на святого. На святошу, да, походил – мне как-то на уроке литературы тощая училка с подрагивающим носом объяснила, что это такое. Училка была до того тощая, что при каждом слове в горе у нее что-то двигалось, и говорила она с усилием, как будто с трудом проталкивала слова.

– Что с вами? – спросила мышка с первой парты.

– Ничего. – отрезала та. – Не твое дело.

Когда я вернулся в квартиру после похорон, ее вещи потеряли запах.

Они висели в шкафу, ее чашка стояла в серванте, ее тапочки – под зеркалом, и это было так

странно, как будто она куда-то ушла и скоро вернется. Я тупо уставился на них и на ее сумку, которая лежала тут же. Оттуда выглядывал край телефонного справочника – зачем она таскала с собой телефонный справочник? Ее серьги, которые она иногда носила. Ее губная помада, которую она аккуратно запихивала в сумочку-кошелек, когда мы уходили в театр.

Я даже и не знал, что замечал все это. Но, оказывается, замечал.

Я прошел в комнату и сел на диван, не раздеваясь. Я был не пьян – я сколько-то выпил, но голова не кружилась, живот не крутило, ноги-руки не дрожали.

Долго так сидел. Не знаю, сколько. Свет я по привычке зажег, но за окнами, за ее растениями, которые она старательно поливала каждый день – а сегодня не полила – собиралась темнота.

Я вдруг увидел, очень явно, как вишу посреди комнаты. Сначала мне показалось, что это какой-то другой парень, моего роста, моего сложения, даже волосы как у меня. А потом я увидел, что это я. Увидел свой серо-голубой свитер – она говорила: «Слишком выстиранный он, на локтях скоро дырки будут!». Но вещи ей не нравилось выбрасывать, поэтому от свитера она не избавлялась. Я висел спокойно, глядя вниз и слегка раскачиваясь – потолок тут невысокий, и до пола оставалось всего пара сантиметров. Я был в носках и джинсах, а на лицо мне не хотелось смотреть – мне было интересно, как была закреплена веревка и как она крепилась к крюку. Вся эта сцена показалась мне странно неуместной. Как фокус в цирке, когда ждешь, что распиленную женщину достанут обратно из ящика, но все равно нервничаешь – а вдруг не достанут? Вдруг реkvизит не тот? Неправильно это было – тебя застали не за тем и спрашивают, что ты тут делаешь, и подозрительно спрашивают, ведь уже знают, уверены, что ты сделал что-то не то.

Как будто анестезия действовала – я смотрел на фигуру, рассматривал ее, кажется, даже кругом обошел и поднялся немного над ней – и ничего не чувствовал.

А потом вдруг картинка сменилась.

Мы шли вдвоем. Шли по степи, голой такой, похожей на то поле, только совсем лысой. Впереди ничего не было – только дальняя линия леса. Справа ничего не было, слева ничего не было – степь. Небо темно сизое, грозное, но не страшное – ветер, и никого нет.

Она шла справа. Я не поворачивался, но она шла справа.

– Да ладно тебе, – сказала она четко и насмешливо. Как говорила до того, как заболела. – Не разыгрывай драму.

Потом она еще что-то сказала, но я не расслышал. Я чувствовал ее рядом, и это меня успокаивало. Кажется, я держал ее за руку.

– Ты этого не сделаешь, – сказала она. – Не вздумай. Это тебе не запасной выход!

Мы шли и шли – шагали спокойно, я не знал куда.

– Степь, ничего нет, – она говорила легко и весело. – Но ничего и не надо.

Я собирался что-то спросить, но тут нога дернулась, и меня резко выдернуло оттуда.

Свет еще горел. Я лежал, почти сползши с дивана – верхняя половина, все еще в расстегнутом пуховике, была на нем, а задница и ноги сползли, и я удивился, как это я не грохнулся всем весом на пол. Где-то я читал, что если полностью расслабишься, травму не получишь, но черт его знает.

За окнами было темно, а подоконник в желтом свете казался очень грязным.

– Черт тебя дери, – сказал я.

Задернул шторы и пошел за тряпкой.

После этого произошла странная вещь. Та же анестезия продолжала действовать, и я оказался как будто за стеной, за какой-то блокадой, когда закалывают обезболивающими, и боль вдруг исчезает.

Я открывал шкафы и смотрел на ее вещи – у них исчез запах, или я его не чувствовал. Я вообще не помнил, какой у нее был запах. Подушка не пахла ей, банное полотенце не пахло ей. Оно пахло чем угодно – хлоркой, мылом, немного йодом, йодовым раствором, которым я мазал порезанный палец – но не ей. Ее запах куда-то делся, ушел из этой квартиры, и поэтому я вынул все вещи из шкафов, выгреб все из кухни, из ванной, с вешалок, все сгреб – и сложил в большую кучу на балконе. Это немного напоминало ритуальную кучу, которую надо поджечь, и плясать вокруг с факелом. Балкон был узкий и завален всякой хозяйственной мелочевкой типа ведер, спинок от стульев, пустых цветочных горшков и моих ботинок «для дачи», которые имели вид настолько страшный, что она выселила их на балкон. Предприми я попытку станцевать ритуальный танец на этом самом балконе, я бы свалился вниз, став причиной, как говорили в телевизоре, «целой череды человеческих трагедий».

Поэтому ритуальный танец я не станцевал, а просто сложил их там, закрыл балконную дверь и больше туда не совался, до тех пор, пока ко мне не постучал сосед снизу.

– Вы создаете пожарную опасность!

Майка на нем держалась еле-еле – съехала на сторону, и на груди были видны складки обвисшей стариковской кожи и серые жесткие волосы.

Я молча смотрел на него.

– Вы создаете пожарную опасность! Захломили весь балкон, завалили так, что в случае, если понадобится эвакуация, мы все сгорим!

– При том, сколько вы курите в день, вы раньше сгорите, – сказал я. – Даже пожара не понадобится.

Он собрался было что-то сказать, но я еще не закончил:

– И перестаньте кидать зажженные сигареты на мой балкон! Перестанете, и не будет никакой пожарной безопасности.

– Я ваш балкон не трогал!

– Ага, не трогали, – отозвался я. – Чего вы врете?

– Это я вру?

– Да, вы, чего вы врете? Кидаете каждый день.

– Да ты на балкон не выходишь, откуда ты знаешь!!

– А оттуда!! – заорал я. – Оттуда и знаю, что нечего мне кидать свои сигареты!!

В конце концов я чуть не спустил его с лестницы. Спустил бы, если бы не пуганая круглая бабка с этажа выше, которая прибежала и принялась верещать:

– Ой! Ой! Коленька! Да отпусти его! Коленька!! Нельзя же так! Да ты что!!!

Я не сразу сообразил, что Коленька – это я. Почему она думала, что меня так зовут, я понятия не имею.

– Психанутый, – проворчал сосед, возвращаясь в свою квартиру. Высаживать по две пачки этот идиот, понятно, так и не перестанет. – Дебил.

– Дебил, – выразительно отозвался я в его спину. – Еще кто тут дебил. Отстаньте! – прибавил я бабке, которая зачем-то повисла на моем локте. Еще будет всему подъезду рассказывать, что у меня «тяжелая рука».

Она резко отцепилась и посмотрела на меня преданно.

– Я знаю, как вам тяжело, – сказала она тонким голосом. – Если вам надо поговорить...

Глаза у нее были водянистые и светлые, а халат, эта жуткая штука, сделанная из того же материала, что коврики под дверь, был застегнут на молнию у нее на груди.

– Если вы захотите... поговорить, вы всегда можете... спуститься... вы всегда можете...

Вид у меня был, видимо, настолько ошалелый, что она отступила и чуть не упала с лестницы. Я придержал ее. Не хватало нам еще тут несчастных случаев.

– Спасибо, – сказал я. Прозвучало пусто, но я не знал, что еще сказать. – Спасибо.

С вещами в конце концов таки пришлось что-то делать.

Он продолжал кидать свои чертовы сигареты, и они могли вспыхнуть – даже сейчас, в эту мокроту и сырость.

Я понятия не имел, что делать. Закопать? Вывезти за город и сжечь? Бросить все в мусорку? Отдать кому-нибудь? Продать?

Бросить в мусорку я не мог – она бы сопротивлялась. Закопать посоветовала моя мать.

– Ни в коем случае никому не отдавай! – она даже вскрикнула. – Нельзя никому отдавать вещи умершего человека! И продавать тоже нельзя! Это принесет несчастье! Может даже принести... ну, что у нее было.

– Принести как? – спросил я.

И, когда она не ответила:

– В карманах, что ли?

Я почувствовал, как она улыбается – краем рта.

– Никому не раздавай ее вещи, – повторила она. – Личные оставь, остальные положи куда-нибудь.

– Я и положил. На балкон.

– На балкон? Они же там отсыреют!

– Ты же говорила никому не отдавать?

Она вздохнула в телефонной трубке.

– У Лидки спрошу, – сказала она в конце концов. – Она врач. Должна знать, как в таких случаях... поступают.

Лидкой звали ее лучшую подругу. Иногда она наведывалась к нам домой – на лицо она выглядела лет на десять старше моей матери, хотя была ее ровесницей, – и почему-то называла меня «мальчиком», даже когда мне было двадцать пять. Возможно, просто не могла вспомнить, как меня зовут.

Мне не надо было спрашивать у матери, куда она дела отцовские вещи. Никуда. Часть из них до сих пор висела в гардеробе, аккуратно упакованная в чехлы.

Лидка сказала, что возьмет Ленины вещи для своей дочки. Я упаковал это все внутрь коробки, оттащил на почту и отправил по указанному адресу. Она позвонила и долго благодарила. Особенно благодарила за комбинезон. Сказала, он совершенно новый – придется очень кстати.

Иногда мне кажется, что эта история пронеслась как-то подозрительно быстро. Слишком быстро. Я никогда не считал, сколько лет мы были вместе. Никогда не отмечал годовщины. Дарил ей цветы, конечно, когда она просила, но время не считал.

Зато она все помнила. И тот день, когда мы познакомились – увидели друг друга в кафе, и тот, когда пошли на первое свидание, и годовщину свадьбы. Мне, чтобы вспомнить точную дату, надо было посмотреть в свидетельство о браке. И то, когда я смотрел в него, я видел дату только с третьей попытки. Она смеялась.

– Какой ты забывчивый!

Это правда. Пять лет вместе или пятнадцать – какая разница?

У меня, правда, есть кое-что. Есть этот день. Этот автобус. Она дала мне жизнь – в руку, дала время – в руку. У меня все никак не получалось его удержать, ухватиться за него как следует. Она мне сказала – живи. И я стал жить. Мне не остается ничего другого, как жить. Так же?

В конце концов я все-таки пошел.

У всех памятники были черные, а у нее белый. Я сделал белый, хотя все уговаривали сделать черный. Что, чтобы ее контуры проступали с черного цвета, как герб Бэтмена?

Фото она сама выбирала. Она ненавидела фотографироваться. В этом я был с ней согласен – как бы ее ни фотографировали, с какого бы ракурса ни подходили, она так стеснялась камеры, что всегда делала попытку спрятаться, и получалась как белка, которая задней частью стремится вернуться в свое дупло, а передней испугалась. Я смеялся над ней, а потом понял, что она обижается, и старался не смеяться.

Даже на свадьбу она отказалась нанимать фотографа.

– Не могу я расслабиться, когда меня фотографируют! – сказала она жалобно. – Лучше уж без. В загсе щелкнут, да и ладно.

Я пожал плечами. Мне было все равно – пересматривать фотографии я не собирался. Зеркало и так давало мне понять, как я выгляжу. И довольно доходчиво.

Даже сейчас я их не пересматриваю. Я помню, как она выглядела – в белой меховой пелерине, надетой на плечи, и гладком шелковом платье, в котором внезапно я ее не узнал. Полсекунды я смотрел на нее и думал, что это кто-то другой. Другая.

Она тогда приблизилась ко мне и сказала:

– Ты странно смотришь.

На что я набрал в грудь воздуха, чтобы сказать, что она очень красивая. Вместо этого я сказал:

– Да.

Она засмеялась и взяла меня под руку.

– Да! – и улыбнулась. – Ну что? Пошли?

На фотографии она была куда моложе. Я даже и не знал ее такой – я почти не знал ее такой, только иногда в ее лице мелькало что-то от этой, двадцатипятилетней. Но тем не менее это была она. Это была она, это всегда была она – тут, там, везде.

Белый цвет, и ее лицо, смотревшее с задумчивой гордостью той, у которой столько всего получилось и столько всего получится еще. Она смотрела на меня спокойно, как почти никогда не смотрела при жизни, гордо и безмятежно.

Я без труда нашел ее. Остановился.

– Привет, – сказал я.

Кто-то стащил розы, которые я принес в прошлый раз. Надо было их подрезать, иначе сразу же, когда моя спина скрывалась за калиткой, кто-то подлетал и забирал их на перепродажу.

– Ты как, – сказал я.

Вокруг было тихо. Будний день.

– Мда.

Я положил цветы под ее портретом.

– Ну.. я понятия не имею, что еще сказать.

Она все еще смотрела на меня.

– Не сердись, – сказал я. – Надеюсь, ты на меня не сердись.

Наверное, надо было сесть на скамейку и завести длинный разговор обо всем, что произошло в ее отсутствие. Но это никогда не было в нашем стиле.

– Не отвлекайся, – бывало, говорила она со своей привычной бухгалтерской торопливостью. – Нашел время разговоры разговаривать! Не отвлекайся!

Не то чтобы я был специалистом по разговорам.

– Кстати, во сне я тебя не вижу, – добавил я зачем-то. – Ну... кроме того, первого раза. Она смотрела на меня снисходительно.
– Хотя ты знаешь – я всегда сплю как убитый, – зачем-то добавил я.

Пока я шел обратно, я заметил, что почему-то со многих памятников люди смотрят очень строго – начинаешь сомневаться, что это вообще люди, а не укоряющие призраки прошлого. Старухи в платках, завязанных на подбородке, пожилые грузные мужчины, которые провожают тебя взглядом, когда ты проходишь мимо. Да, Юрий Алексеевич, я еще жив! Можете себе представить? Казалось, Юрию Алексеевичу этот факт был не по душе.

63

На ее месте должен был быть я. Я подумал это без всякого особенного выражения. Я не думал это с горечью, не думал это с болью. Я думал это с простой, неопровержимой отстраненностью. Констатацией факта.

Мне было все равно, а ей хотелось. Хотелось до такой степени, что это желание в конце концов выжгло ее изнутри. Я не видел, как у нее изнутри, но не сомневался, что выжгло.

Это я должен был быть – обычная жизнь. Обычная история. Может, в обычность моей жизни входило и то, что она была не короткая? Обычной, средней продолжительности. А может, даже и больше. Если повезет.

Мой отец – в новом черном одеянии – сказал бы, что каждому дается по вере его, по силе его. Он любил сказать что-нибудь такое, мой отец. Еще и руку бы простер, чтобы убедительнее было.

Я вдруг представил, как он сосредотачивается и наклоняется над какой-то книгой – тяжелой, тисненной золотом, с крупными буквами, бегущими по грязным страницам. Я вдруг подумал об этом его спортивном костюме, в котором он был физруком в той школе, где говорил, что дети чистые и еще не понимают, как их испортит общество, – что-то в этом роде он говорил и нам, я не мог понять, не мог вспомнить. Я вдруг подумал, сколько усилий у него ушло, чтобы нас забыть. Я представил его сосредоточенное лицо – он и Лена никогда не видели друг друга, но мне почему-то казалось, что сейчас видят.

Мы ни разу не ходили с ним в церковь – он не брал меня с собой. Церковь была для него, а не для меня, она была как любовница, куда он уходил от нас, и мы там ему были совершенно не нужны.

У него сосредоточенное лицо, и он идет к чему-то, чего я никогда не видел, – а теперь вот увидел, кажется. Я смог четко разглядеть то, к чему он ушел. Если бы я был на месте Лены, различил бы еще более четко.

64

Мне кажется, она ушла, потому что хотела. Это звучит жестоко, но она ушла, потому что хотела. Я не сердился на нее – я понял, почему. Несложно было понять.

Дорогая. У нас столько всего могло бы быть, я бы все хотел тебе дать, дорогая. Я просто не знал, как перемахнуть через эту стену, – поверишь ли, я не знал. Я бы хотел прочитать какое-нибудь письмо, где бы рассказали, как надо говорить, чтобы ты поняла. Я стараюсь не говорить. Я не должен говорить, даже в своей голове. Что-то внутри, какой-то голос говорит мне, что я не должен говорить с тобой. Но я бы так хотел сказать это, чтобы ты поняла.

Я бы хотел сказать, что зря тебя нет – совершенно зря, мы еще много чего могли бы сделать вместе. Еще раз поехать в то поле. Найти его, даже если я не знаю, какое поле это было, – мы бы обвели черной ручкой место на карте и искали там, как ищут пропавших людей. Еще раз посмо-

треть на линию горизонта, где небо сливается с землей. Еще раз пересчитать позвонки на твоей спине, проводя по ней ладонью. Еще раз зайти в высокую траву и спрятаться в ней, и усесться прямо там, и идти сквозь, пока дождь не начался. Не терять машину из виду – она на краю поля, на краю дороги, на краю земли. Она точно не свалится с края – правда же? Не свалится. А ты вот свалилась. Бывает же.

Она споткнулась в траве, вскрикнула, чуть не полетела, но вовремя, выпрямившись, удержалась.

– Ха! Цепляется! – закричала, оборачиваясь ко мне. – Не хочет отпускать.

Я не хотел отпускать. Даже когда я чувствовал, что ты уйдешь, что ты должна уйти, вот в этом всемирном распорядке, который всех распределяет по полкам и клеточкам, все предусмотрено так, я не хотел отпускать. Я ни разу не сказал тебе этого. И уже не скажу. Вот бы прочитать чье-нибудь письмо, где это будет красиво сказано. Автор будет разматывать, строчку за строчкой, строчку за строчкой, свою печаль. Растирать, как пальцем трут тушь и чернила, и трогают краски на еще мокрой поверхности, а потом начинает пищать сигнализация, потому что картины в музее трогать нельзя. О какой же дребедени я думаю.

Письмо. Книга. Слова. Нужны, но не подбираются нужные слова. Начинается дождь, и я вижу, как струи бьют в запотевшие автобусные стекла. Я вижу, как проносятся мимо улицы, как слова, которые я мог бы сказать, или хотя бы прочитав со страницы, проносятся мимо. Я вижу, как отец прищуривается, отворачиваясь от меня от и усмехаясь. Кажется, я сказал что-то, что его насмешило, но он не хочет говорить.

– Потом скажу.

Его костюм болтается в шкафу, материны платья теснятся от него все дальше и дальше, как от кавалера, который пришел на вечеринку один и никого не приглашает. И пахнет от него как-то не так.

Я помню все – солнце в лугах, она пробирается сквозь огромные стебли, он закрывает дверь и кладет ключ не в карман, а под коврик, моя мать поднимает голову от кухонного стола, и у нее не волосы, а космы по обеим сторонам лица, и подушку, непримятую, а чистую и гладкую, аккуратно лежащую в изголовье кровати. И струи, которые несутся по стеклу автобуса, и дождь, который барабанит в крышу, и мокрую землю по обе стороны каменной дорожки.

Привет тебе.

Париж, ноябрь 2024 – февраль 2025

Владимир ЕРМОЛАЕВ

ЯСНЫЙ ДЕНЬ

Знаки

октябрьской ночью
в ярком свете ламп

блестят
ионические колонны

отшлифованы так гладко
будто покрыты лаком

воздвигнуты в честь юбилея
мудрого решения

принятого шестнадцать
сотен лет назад

а годом ранее
ошибся узурпатор

и в бежевых столбах
отражена судьба

поверившего
ложным знакам

лгут предсказатели

на вражеских щитах
знак верный

и меч лишает тело
головы

враг издает эдикт

и мраморные леденцы
встают

Владимир Ермолаев родился в 1950 году в Иванове. Окончил Ивановское музыкальное училище и философский факультет МГУ. Стихи начал писать в 2006 году. Публиковался в журналах «Даугава», «Арион», «Воздух», «Дети Ра» и др. Выступает также как переводчик (Дж. Унгаретти, Т. С. Элиота, Э. Хемингуэя, Ч. Буковски и др.). С 1985 года живет в Риге.

в тени платанов

поверхность мрамора
блестит как лак рояля

но пьеса сыграна

ночь тишина

и надпись
с именем врага

свободно тянется
по архитраву

Двое

в берете
с черной бородой
и в черном одеянии

решительный
как полководец

гуманный
кондотьер литературы

другой
почти анфас

без бороды

уложенный
в постель
загадочной
болезнью

оставить все же
он успел
после себя труды
и письма

стихи
на диалекте и латыни

и взгляд серьезный
и налитую жилу на виске

La ville entière

город под ясным небом
прочен

не оплетут его побеги
и корни вреда не причинят

кусты трава
перебрались наверх

и превратились в пинии
прирученную зелень

задумчивый понтифик
бредет по залам

в поисках зеркал

и ни в одном
не видит отражения

Номер пятнадцатый

добрые императоры
носят бороды

императоры добрые
стынут в мраморных залах

четвертый из них
скорбно сдвинул брови

как будто плачет

бюст не похожий
на другие его портреты

где он изображен
спокойным и важным

как и подобает
римскому императору

пронумерован
двумя красными
цифрами

линии
складываются
в число
пятнадцать

слева
четырнадцатый
молодой
безбородый

глаза навывкате
пухлые губы

сын гладиатора
плод измены

справа шестнадцатый
неизвестный

голова доброго
крупнее соседних

брови сдвинуты
лоб нахмурен

но глаза широко раскрыты

в этом виде Антонин Пий
(сектор три
инвентарный номер тысяча
двести тридцать шесть)
может сойти за
плачущего Гераклита

Damnatio memoriae

ни цветка ни мошки
ни пылинки

ни шороха одежды
ни шороха подошв

все неподвижно
тихо

в зале Кьярамонти

лишь на гладком
камне шрамы

рубцы на шеях
тонкой нитью

не от гарроты
и не от меча

хирурги
мраморного века
используют
обычный молоток

закольник шпунт
и скапель

этого хватает

так происходит
удаление головы

и памяти
что в ней живет

со всеми
ответвлениями
корнями

а поскольку тело
жить без головы
не может

на место скола
помещают
голову другую

и радуются
если края сошлись

пьют за успех

и поздравляют
всех кто принимал

хоть малое участие
в этом деле

Ясный день

исчезают стены

колонны не годятся
для построек

столбы
вот все что остается

фундамент под землей
переживет алтарь

нагрелись камни

и ящерицы
прячутся в тени

и пинии бредут на водопой

день выкупил
безоблачное небо
у погоды

Игра в мяч

две безголовые
и легкий бег

по виду легкий
одна
несет другую

закрой глаза
которых
нет

и слушайся
наездницу

что приведет тебя туда
где бронзовая голова
спокойно смотрит
на коня

прекраснее которого
в природе не найти

та голова
уверенная
молодая

с припухшей
верхнюю губой

нетронутая птицами
склевавшими ладонь

и львом
вонзившим зубы
в лошадь

Саркофаг

граненым кристаллом
опалом
аквамарином

высится
светится
саркофаг

охрусталенный
полностью
сверху донизу

поставленный на торец
в полный рост

административный
хайтек-погост

приманка для пилота
в контактных линзах

Бронзовый всадник

укрывшись в галерее
на главной площади

за чашкой кофе
вглядываться в бронзу

изображающую
всадника и лошадь

что не чета
другой усталой

но живой
той с кем ты встретишься

чуть позже
у своей берлоги

вмиг оседлаешь
и помчишься вдаль

к молчанию
во мрак

в темнейшую из ночей

куда и дерзкий
Филиберт не знал
дороги

Большая лошадь

круп лошади
cavallo
в виде расколотого овала

спина холка шея
раскроены разворочены

лошадь осела
на задние ноги

передние вытянуты
грудь поднята

голова повернута
будто в испуге

ось тела
продолженная
пройдя над озером
коснется селения Парадизо
и горы Сан-Сальваторе

вдоль узкой линии парка
по набережной
мимо здания банка
похожего на шестеренки
выступающие из-под
полированной оболочки
сфер Помодоро
оглушая сиреной
несется машина скорой

Туман

где-то возле Гамбурга
высятся горы

туман с моря часто
заволакивает их подножья

бывает он поднимается
так высоко
что оставляет на виду
лишь считанные вершины

их может увидеть странник
если окажется на одной из них

он стоит на краю обрыва
выставив левую ногу
опираясь правой рукой на трость

его взгляд устремлен
поверх тумана
к синеющей на горизонте горе

в это время где-то возле Милана
по широкой равнине
бредет огромное стадо овец

равнина в голубой дымке
над горизонтом занимается
бледный рассвет

два пастыря затерялись
среди овец

Хмурый день

на террасе *Маринеллы*
одинокий посетитель

море справа
море слева

небо в тучах
буря близко

камни влажные блестят

капитаном
быть неплохо

одиноким
морским волком

видеть днем
и в снах под утро

пену волн
вместо ягнят

Последняя попытка

так гладок
что скользит бессильно

рельеф лица
едва намечен

рука висит отдельно

сквозит сквозь окна
бледный свет полудня

конец всех дел
трудов

любви раскаяния
и жажды примирения

последний взгляд
последний скол

последняя попытка
оправдаться

шесть
долгих
дней

а дальше праздность

После Праксителя

являя скрытое
ты славишь суть

поверхность ложь

снимая слой за слоем
обнажишь костяк

на полпути
застынешь Цицероном

свободно перебросив
собственную кожу
через плечо

представив мускулы
и сухожилия

на обозрение
служителям туристам

но утаив страницы тома
опертого на левое бедро

название мышцы
уточнит Везалий
vastus lateralis

о любопытство
разум

спустя века
мы знаем больше
чем Пракситель

Промех

плоть уязвима
пока не стала бронзой

тогда ей нипочем
и плети и дожди

и постамент не нужен

сама себе
и щит и панцырь

спеша обнять
отлитую из бронзы
лошадь

он выбежал под дождь
раскинув руки

и промахнулся
обняв живую плоть

Волны

волны у побережья
Сан-Теренцо
бегут меня цвет
рождая пену
крошась о камень
самоубийцы
невозвращенцы

Окно

зеленая стена
окно в стене

лазурь воды
охраняет дома

причаленные
яхты корабли

в зеленой раме

окно
не дверь

хотя за ним обрыв
как в том рассказе

в стене из зелени
просвет
и райский вид

соблазн
для пилигрима

не уступай ему

путь долог
к маяку

по узкой
и крутой
тропе

лишь взгляд
и мимо

Бесвязное

собор черно-белый
помесь
зебры с жирафом

весь день пасмурно

в чашку мажято
падают капли
дождя

якорь на берегу
чугунный кальмар

на площади странник
чьи пожитки
умещаются в сумке

вместо легких
у него пустота

сквозь которую
видны струи фонтана

концерт начинается
через полчаса

слышно
как разыгрываются
музыканты

Мир Пифагора

эта гладкость
полупрозрачность
зеркальность
прочнее мрамора

время не оставляет
царапины

неуязвимый
нетающий лед

существование
не течет

громоздится
кристаллами

В роще

небо ясное
день ярок

у подножия горы
белеют дома Парадизо

в пальмовой роще
сумрачно и прохладно

отсюда удобно
смотреть на горы и озеро

стволы и листья
соединяются в красивую
рамку

здесь тихо
прохладно

здесь тебя никто
не найдет

даже главный
смотритель парка

Сергей МОРЕЙНО

РАССКАЗЫ

Хиршберг

Die Türme stehn in Glutt / die Kirch ist umgekehret.

Пылают башни и / обрушены соборы.

Andreas Gryphius. Thränen des Vaterlandes / Anno 1636

Дане Бендицкому

Последние четыре месяца часто хандрю. Во-первых, осень, которая перешла в зиму, но лучше от этого не стала. Во-вторых, все как-то резко обрыдло. Слякоть-серятина, и невозможность ее на что-либо поменять, на желто-зелено-красное, давно ничего такого не менял и забыл, как делается. Проще говоря, лень менять и даже мыслить об обмене лень. Мысль как бы накручивается вокруг двух полюсов, выписывая восьмерки. И у спокойного полюса идет временное затишье. Кажется, все нормально, устаканилось все, но иным часом накатит, вспомню то одно, то другое. И сразу откат к беспокойному. А потом – в самый, казалось бы, ничего не значащий момент – внезапно обратное: будто кто-то обнял меня теплыми пуховыми лапами и согрел до самого внутри, до легких, до пищевода. Тогда отпускает.

В эти периоды я рассматриваю тонкие конструкты. Дело непыльное, если знать, как подойти. Но я располагал дневником Кшиштофа, отданным, то есть завещанным мне, а в нем были описания нескольких техник на грани классики и прорыва, и я копался этими инструментами сколько мог, пока не понимал, что именно тут ничего не нароешь. Однако в паре мест прорваться все-таки удалось. В предчувствии удачи я брал гитару и играл на ней заученные в детстве пьесы – до тех моментов, пока не сбивался и дальше не помнил.

Кшиштофа интересовали также Золотые дома, их след на физическом плане. Он говорил, что на данной территории до сих пор правят старые фамилии, и в это мне нетрудно было поверить. Передача государством семейных наделов, чинш, реестр, налоги, выборы наконец, – даже новые шоссе шли так, как того желали старые связи, потому что их русла были опутаны цепями кадастра и сервитута. Кшиштоф еще оставил флешку, вытасченную из мобильного телефона убитого русского ополченца. Он почти целый месяц провел там, на позициях, две недели по одну сторону – плюс две недели по другую. Его «передавали» противнику на бензоколонке, по предварительной договоренности. Поэтому он был уверен, что война удобна и тем, и другим. «Захотели бы закончить – развалили бы все заправки разом. Нет топлива – нет войны». А так – то были оазисы затишья, где происходил обмен пленными, валютой, наверняка – оружием, определенно – нарко-

Сергей Морейно родился в 1964 году в Москве. Окончил Московский физико-технический институт. С 1986 года живет в Латвии. Издал более 60 книг (рассказы, стихи, эссе, переводы). Переводит с латышского, немецкого, польского на русский и с русского на латышский, развивая концепцию «Театра перевода». Среди авторов – Андрей Платонов, Бруно Шульц, Иоганнес Бобровский, Клаус Мерц, Чеслав Милош, Щепан Твардох. Лауреат Русской премии (2008), Премии Андрея Белого (2018), Премии «Мастер» (2021). Редактор «Рижского альманаха» (с 2021).

той. На русской стороне он простыл и попросился домой. Флешка оказалось почти пустой, всего несколько фото: с девушкой перед отправкой на позиции; подвал, переоборудованный в укрепленный пункт; дымы далеких взрывов. Лишь факт, что первый владелец флешки (и телефона) убит, придавал ей темную значимость. Ну, а последний – умер.

Стоя под душем, где, в общем, нечего больше делать, кроме как впитывать всеми порами горячую воду, я часто вспоминаю людей, имевших отношение к душевой кабине, квартире, ко всему нашему дому. Тот, кто клал этот кафель – умер. Тот, кто устанавливал бойлер – умер. Того, кто шлифовал половую доску, ночью на Е67 сбил трезвый водитель. Того, кто латал крышу, сгубил рак кожи. Того, кто шпаклевал стены, жарким майским днем нашли в собственной теплице – уже бездыханного. Сектант, обрезавший старые яблони: инфаркт. Потерявший голос певец, подстригавший живую изгородь – смерть от прививки. Обыкновенно насчитываю человек восемь, иногда – девять.

Если у меня кто-то появлялся, то мы в какой-то момент оказывались у Кшиштофа. За десять лет случилось трижды, нет, четырежды – немало. Он стелил в своем кабинете, крохотной комнатке, заваленной книгами. Неважно, сидел ты в ней или лежал – везде достаточно было протянуть руку, чтобы взять какую-нибудь книгу с полки, из стопки или прямо из кучи на полу. Так проявлялся мой положительный тигмотаксис, мое стремление постоянно контактировать с ограничивающей поверхностью. В этом смысле я как грызун, бегущий в тоннеле: стараюсь не прерывать отношения со стенкой. Периодически касаясь ее хвостиком или лапкой. А может, это генетически ввевшийся под кожу способ прохождения катакомб. Нужно вести рукой по стене лабиринта, и когда-нибудь выйдешь наружу. Имея дело с многоуровневым лабиринтом, с мостами и петлями, надо отмечать использованные переходы. Я так, пожалуй, смог бы восстановить в памяти все разы: по книгам. Она пошла в душ – я вытянул наугад томик о любовных похождениях Тадеуша Бой-Желенского. Бой-Желенский запустил реакцию, вывел на свет караван своих подруг, их любовников и мужей, их палачей и подельников. С поляками вечно так. С тех пор, как их поделили, три демона раздробленной сущности, славянский, еврейский и германский, увиваются друг за другом, сочетаясь в феерических персонажах. Львовская профессура, ломбардское магнатство, тибетский туризм. Много стиля, еще больше эпатажа, в сумме – милые люди с большими, но мягкими комплексами.

Ei nun, güldnes Seelenlicht, komm herein und säume nicht. Свет души, златой, войди, ни мгновенья не годи. Сочинил Силезиус, херувимский странник. Силезия – не моя земля, хотя завлекала с самой юности и продолжает завлекать. Только раньше она была совсем абстрактной, я плохо представлял себе, где она расположена и как выглядит. В такое уже трудно поверить, а это истина. Я вообще домосед, для меня двинуться в путешествие за триста километров – серьезная акция, нарушение структуры. Говорю же: тигмотаксис, мышинный. Цвет ее коричневато-фиолетовый и призрачно-белый. Я определял его, исходя из блюда, которое научился готовить для гостей, приходивших к родителям – «зразы по-силезски». Силезские зразы, их теперь называют роладами. Надо было отбить молотком кусок говядины, закрутить туда ломтик шпика и чернослив, заматать ниткой, вывалять в муке, чуть обжарить, а после потушить. Мама покупала не слишком старую говядину, сало дед солил сам, а чернослив для компота у нас был всегда. Я исполнял, производя тушение в древней утятнице, оставшейся, как считалось, от лучших времен. Строго говоря, время ее было едва ли не худшим из всех возможных. Схема полностью меняла облик продукта и давала вкус, удивлявший взрослых. Они сковыривали нитки, резали колобки пополам – там в бульоне плавал бледный лепесток шпика, который больше не был шпиком. Странно думать о Силезиусе и о шпике одновременно. Но это мое изделие, ролада, – уже тогда оно настроило для меня образ далекой неведомой земли. Morgenstern der finstern Nacht, der die Welt voll Freuden macht. Моргенштерн в ночи дремучей дарит миру счастья кучи. Звезда зари. Шпиковый полумесяц на сливово-говяжьем небосклоне. В ином переводе – оружие, булава-шестопер.

А сейчас этот лунный пейзаж сшит со мной намертво, но типа вживую, не только на макете. Как если бы метеорит ролады вырос до размеров Марса, ямки среди волокон стали кратерами. Мучная пыль запырила поверхность планеты. Чугунный лес щетинится на горизонте. Перекрученность нитей-дорог, угольные жилы, сетки пересохших каналов, вычурных черепичных крыш, местами промятых внутрь как подгнившее яблоко. И, конечно, холмы, взъерошенные, вздыбившиеся и опавшие. Карты безумия малого и среднего масштаба, религиозных и наследственных войн. Махалово: короли против дам. Габсбурги мочат Гогенцоллернов. Русские в Берлине. Гогенцоллерны лупят Габсбургов. Приход лесника, вынос пешек всех мастей со стола. Ундзовайтер. Силезия выступает все сильнее как идея, неслышимый уху звук, а не линия или объем. Это зов существа по имени Рюбецаль в секретном регистре в недоступном диапазоне. Rübzahl – Репосчет, принц гномов. Он украл принцессу, унес ее под землю и на потеху ей наделал из репы подруг и свиту (ни дать ни взять карета для Золушки). Но репка, снятая с грядки, подсохла и сморщилась, подземный народец постарел, принцесса расстроилась и убежала, пока Рюбецаль пересчитывал остатки репы. Почему репы? Резонный вопрос. Почему та Силезия, что на карте расположена выше, называется Нижней (Дольной), а та, что ниже – Верхней (Горной)? Потому что в Верхней горы, а в Нижней – доли. Репа была картошкой своего времени. Она овеществляла идею, которая выше материи.

Есть всякие другие истории про изобретательную девушку в условиях неволи. Про Дюймовочку и крота, про дочку мельника и карлика Румпельштильцхена. Последняя поистине трагична. Король заключает прекрасную мельничиху в Каммер (чем бы это ни было), где она должна прядь из соломы золотую пряжу. В «каммер» является маленький человечек и помогает ей – за непомерную плату в будущем. Став королевой, мельничиха отказывается платить по векселям, зато узнает подлинное имя человечка, дико страшное: Rumpelstilzchen. Тем самым она обретает над ним власть, и, не в силах этого выдержать, он разрывает себя за ноги – напополам. А Рюбецаль в отсутствие принцессы выжил и до сих пор хозяйничает в силезских недрах. Принц гномов – разумеется, джокер. Или пешка, прошедшая в королевы. Для принцессы нет соответствий. Румпельштильцхен – прусская быль о взбесившемся карле. Силезия – сказка об убежавшей принцессе.

Она взялась ниоткуда года полтора назад. Стояло лето, переливавшееся к осени, такой же, что и в этот раз. У меня имелась иллюзия, мол, все вернется на рельсы, настанет осень правильная, с пылающим багрянцем, а поверх выпадет чистый снег. Но ничего и не сходило с рельс, дни катились по ним, один за другим – теплые, сырые и без контрастов.

– Начнем с имени, с чего-то ведь надо начинать!

– Елена.

Эти две фразы всплывают в голове не спрашиваясь, во время лекции, например. У них есть цвет и запах, запах неизбежно коррелируется с цветом – если цвет золотистый, то мандарин, если серебристый – то лайм. Чуткость к запахам сохранилась тоже с детства. Точнее будет считать: с юности; в юности запах стал решающим в вопросе – с какой из девочек можно бы «подружиться». Еще не было известно, как технически «дружат», еще не было известно, как пахнет там – в месте, что вслух называлось разными именами, но про себя только так, «там»; не было известно, пахнет ли там вообще. О том, чем пахнет «то», добрая часть ровесников даже не догадывалась.

Нынешние – дело другое; нынешним знание «того» вкладывалось уже с пеленок, то есть с памперсов. Я проводил в летней школе факультативный урок о тексте мемориалов, о том, что они хотят собой сообщить, повествовал о дизайне, об архитектуре, о переводе травмы в язык гранита и мрамора. Ученики сидели просто на партах, кое-где обнявшись, акселераты и десятиклассницы с сиськами под тонкими свитерами. Некоторые выглядели красавицами. Слушали пристально, а я не знал, куда девать глаза. Пялиться на их сиськи, которые повсюду – не к лицу, отворачиваться – глупо. Рассказывая, думал о собственной жизни как бы за стеклянной стеной.

Без разницы, кто в аквариуме, ты или рыбки: зависит от уровня дискурса. Как посмотреть, от этого. «Такие рано увядают», – утешал себя. Еще улыбки, чаще всего улыбки обнажали их незрелость, их лягушачесть; русалочьи улыбки пока что некрасивых утят – всё еще некрасивых, пусть даже прекрасных уже.

На самом деле я уверен, что ее звали Нина. Как отрезало тот кусок в мозгу, где хранятся имена. А имена важны. Я вслушиваюсь в имя Румпельштильцхен и слышу его обреченность, имя чловечка трудной судьбы. Но Рюбецаль – вполне крепенький кнехт, с рогами, правда, и с копытами; хват Репка, которого дед посадил, а тот вышел, пописал деда и опять сел. Разницу между Ниной и Еленой я однако не ощущаю. Не удивлюсь, если у нее было двойное имя, как у Марии Терезии. Королева Австрии еще имела три имени, но они ей не шли. Нина Елена могла быть Ниной Еленой Ольгой, но Ольга лишняя. Возможная причина моей нечеткости, кстати, – мобильный бар Кельских. Он представлял собой детскую машинку, из которой вынуты сиденье и педали, а вместо них встроены минибар в виде специального ящика. Там стояли и бутылки, и рюмки с бокалами. Машинку пускали по кругу, от гостя к гостю, и каждый наливал себе что хотел. Первые круги Адам называл «квалификацией». Славная семейка! Дочь у них была такой сексапильной, что сами они ее с собой в гости не брали. Никуда, лет с тринадцати. Потому что когда она тихо садилась в уголке и читала, обнажив шею и свесив взрослые груди, не только мужики, но, бывало, и тетки то и дело посматривали в этот уголок, и всякая умная беседа таким образом останавливалась.

– Нам нужно пересмотреть отношение к смерти, – вешал профессор Кельский. – Если смерть может быть случайной, насильственной, волонтаристской, если один человек способен относительно легко убить другого в драке, а священная жизнь ничего не стоит, или жизнь вообще ни капли не священна, то... такая картина не может лежать в основе нашего бытия и существования. Внутри – то есть не на внешний взгляд, а по внутреннему устройству круговорота жизни и смерти все должно быть иначе, – в вершинах клауз выразительно взглядывая на Стасю.

Я тут, конечно, подшлифовываю немного этот вдохновенный спич, как я его понял: не надо считать смерть конечной остановкой, поезд идет дальше. Не в царство небесное, а навстречу иным рубежам. Отсюда: марш, марш, Домбровский, унд зо форт – рукой подать до великой державы. Все это, конечно, подразумевалось, а не называлось. Сегодня назвать свои ожидания можно только очень близким людям. Все жаждут мира, но ожидания у нас в серьезной степени кровавы: как с той стороны, так и с этой. Экран в той части гостиной, которая была кухней, показывал новости. Беззвучно мелькали улыбки женщин во власти. Улыбка сознания своей правоты, которую сотрет только смерть. Улыбка разочарованной ненависти. Улыбка понимания, всепрощения и вновь сознания своей правоты. Мимика не будила эмоций, это был целиком условный план, но совсем сдвинуть его в виртуальность не удавалось. Он продолжал проникать в коллективный разум как отравляющий газ, как «Циклон Б», изобретенный тем парнем из Вроцлава, что параллельно спас человечество от голодной смерти. Поскольку она исключительно молчала, а мне хотелось проникнуть в ее сознание, я тоже задвинул спич, вроде того:

– Война – это начало и конец. Как только принял решение, что ты воюешь – все делается легче. Люди, которые воюют всегда – это не воины, а бойцы. Война имеет цель, иначе это игра, шахматы. Герой довольно труслив в жизни, предпочитает избегать драк, чреватых ими ситуаций, зато там, где нужно – неустойчив. В драке ничего не достигнешь, разве что сохранишь чувство собственного достоинства, но за каким дьяволом оно нужно? Война – это сразу о многом и о многих... – Дальше не помню, я смешался, показалось: все смотрят на меня, а она нет, тогда за каким?!..

Так и не получилось выяснить, произносил ли кто те две фразы в реальности. Разбиваю сцену покадрово: гостиная Кельских, бежевые тона, паркет зрелого мандарина, резкая белизна скатерти на овальном столе, девственная утварь в ожидании первой еды, голое плечо Стаси. Ее приветственный взмах. Машет вдалеке, а вблизи, помехой взгляду – женщина. На внешний взгляд – того

плана, что затрудняют начало общения, поскольку не знаешь, куда смотреть, с чего начать с ними: подавляют... Первое впечатление – большие и гладкость. Плошки глаз и гладкость остального облика в том смысле, что не за что зацепиться. Две-три линии без особых углов, две-три плоскости без лишних пятен. О таких глазах говорят – «озера», но с тем же успехом могут быть «болота»: тонешь в них без всплеска. И кто выговорил «Елену»? Она сама или Адам, отвернувшийся от стола и произнесший ритуальную фразу:

– Начнем с имени, с чего-то ведь надо начинать!

А кто-то сверху подключился:

– Елена.

Но уверен, что Нина. Коса – или даже косища, – уложенная вокруг головы.

И еще: она сильно и остро пахла. Ничем.

С этого места начинается кино, которое прокручиваю много раз. Фильм сбивчивого монтажа, с неясной музыкой, но мощно осевший на мозговых бобинах. Фишка вот в чем – похоже, внутри застрял пресловутый двадцать пятый кадр, где вместо выброса ужаса таится нечто доброжелательное, к примеру, ключик от каморки папы Карло.

Звонок осенью в мой корпус, столько-то недель спустя: «Это я». Соображаю. По голосу узнаю – Нина, то есть Елена. Как я смог узнать голос? Она же все время молчала. Может, представилась, а после умолкла? Но я-то в ответ не представлялся! Значит, не мне было сказано. А я и не претендовал. Спускаюсь на спортплощадку перед зданием, там стихийный паркинг теперь, но она не там, дальше. За черным литым забором две линейки кленов, за ними улица, на ней тоже паркуют авто. Сейчас почти пустая. Я не разбираюсь в марках, у самого нет и быть не может: не могу водить. Мои говорят – мол, брежу, а я себя знаю. Переходя на светофоре улицу, имеющую два ряда или больше, не сомневаюсь, что застывшие перед зеброй автомобили дрожат как возбужденные шершни: только и ждут, чтобы ринуться на меня и размазать по асфальту. Но ее машину я идентифицировал. Примерно такую, только красную, Джейсон Борн водил в первом фильме про себя. Давно запала в душу мечта о справедливом супермене, только не как магнат Бэтмен или пижон Горец, а о незатейливом, с хитрецой в духе Микки-Мауса. Пули в спину и падение в океан отбили Джейсону память, и он стал человеческим супером. На похожей тачке рассекала его будущая девушка, а потом и он сам, правда, на красной. Эта была поновее: более дутая, нажористая и – белая.

Стоит на противоположной стороне улице, водительское окно открыто. Помню, я удивился – подрули она со стороны кленов, проще было бы пригласить меня внутрь. Не хочет, значит. Подумал и не стал обходить, все равно мимо никто не едет. Встал перед ней, она вытянула руку, взяла меня за кнопку на куртке. Я удивился еще больше – как-то по-детски вышло, за кнопку. Лицо непроницаемо, будто пергаментная бумага. Она вся выглядела непроницаемой – как целлулоидный резервуар или белый кожаный футляр. Именно – как одна перчатка, натянутая на нее сверху и окрашенная корзинкой лютиков.

– Адам рекомендовал вас как руинознатца, в своем роде уникального.

И подняла, отпустив кнопку, руку повыше, а я лишь взял ее одной рукой и накрыл другой. Не догоняю, как лучше поступить. И задерживаю, как будто приклеившись. Она руку отбирает, не улыбаясь:

– Не делайте так больше, пока я сама не сделаю.

Машинка съехала вниз, и глазам открылась гигантская вырубка. Не сплошная, нет; чистка леса, прореживание. Тут и там валялись – где штабелями, где внахлест – толстые бревна. Но и оставшиеся деревья были толстенными, может, не такими старыми. Было ясно, что они тут не погулять вышли. На нескольких холмах стволы были составлены в определенную партию, не знаю только, в какой игре. Они стояли не одну сотню лет, хотя, наверно, не дольше трех. Возможно, продолжив их стволы лучами до пересечения с небесной сферой, удалось бы прочитать послание,

написанное лазерной каллиграфией. Но мы имели дело исключительно с их подножьями, далее объясню, отчего.

Забыла сказать, к ней на лицо вернулась мимика. Руля, она свободно поглядывает по сторонам и периодически улыбается. Не обязательно мне. Напротив, она чаще улыбалась вселенной, природе. Четырём полицейским на заставе. Психу, не сумевшему ее обогнать и сильно потом отставшему – от стыда, наверное. Вопреки типу, как я тогда его определил, улыбка оказывается совершенно детской. Пытаюсь понять, что делает ее детской, и меня осеняет – невозмутимость. Она улыбается несокрушимо, словно зная, что за ее спиной какие-то зрелые силы держат мир в надежных руках. Атланты, что ли. И так она рулит несколько часов подряд с одной остановкой на туалет и пончики на «Орлене», то забирая вверх, сильно, то спускаясь чуть-чуть. Под конец – вырубка, солнце по осенней мерке еще высоко, чудовищные буки окрашены нежно и вскользь, неуловимо. Проехал трактор, притормозил в жуткой грязи, удивился. Улыбнулась ему – тот рыкнул и подымил своей дорогой. Посреди вырубки кусок неразъезженной земли и пышный клен, зеленый-презеленый. Под ним мы встаем, кругом – непролазная грязь. Завалы из бревен, за ними – ручей или речка, за речкой – почти отвесная стена леса. Видны мостки и тропа, ведущая междухолмием к чему-то невидимому. Где глинистыми подсохшими отвалами, где по буювым стволам пробираемся к воде, мостков больше не видно, земляное блюдо загнута по краям. Она чистая, а я гваздаюсь, спотыкаюсь и роняю бумажник, он намокает изнутри. Пленка рвется, затем восстанавливается, журчание воды давно позади. Птиц нет. Холмы по сторонам сухие, а мы идем черной сырой тропой: приходится постоянно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться. Оттого, как я уже говорил, видны только комли.

Еще передо мной ноги и зад в белых штанах, материал блестящий, но мягкий. Марс какой-нибудь. И она, марсианкой в скафандре, выточенная из одного куска, идет впереди меня по сектору пространства, не определяемому с помощью GPS. Смотрю, как ставит ногу, наблюдаю родство между ее ногой, землей и протупившими сквозь почву корнями. Упорно лезет выше и выше, лес редет, под стволами лежат камни, обломки каменных сцепок. Руины застигают на полдороге как сон, проваливаемся в него. Оборачивается – нэцкэ, моржовая кость, – и замедляет шаг. Ворота из тесаных глыб, столбы, блоки. Ее присутствие начинает давить неожиданной естественностью, внезапной принадлежностью ко всему здесь, что мне, присяжному руинознатцу, остается чуждым. Чем, собственно, так и волнует меня – чужеродностью, трансцендентом. Я – гость, она – каким-то образом – дома. «Женское, – объясняю себе, – женственное всегда ближе земле, плоть от плоти». Лоно от лона – определяю красиво. Она лучится странным: не хищным, а растительным; терпко, тяжело. Невыносима близость ее внутреннего ядра – тяжестью ореха в скорлупе, которую не расколоть. Попутно, но еще сильнее, чем всегда, мучает вопрос: зачем нужен замок на горе, лишённый смысла, откуда ничто не просматривается и не простреливается? Даже если срубить все деревья – а все их рубить нельзя, иначе нарушится послание в облаках, – ничего не просмотрится и не прострелится.

Волочь сюда камни, известь, железо, кормить сотни зодчих? Я знаю ответ, с самой первой руины. Вечно эти замки одной частью стремились к экстазу, к свету, и вечно прочими частями вываливались во тьму, в приземленность власти. Это не просто видимый уровень, это – ментальная сеть, выведенная во внешнее пространство изнутри хаоса, разъедаемого желанием тех, кто в нем правит, за что-нибудь уцепиться. Их позывы застыли и обернулись известняковыми монстрами. Входя в их зону, их мнимое отсутствие и пустоту, всякий раз испытываю гнетущее чувство: некие объемы скручены в пучок так, что возник вход в горловину этого пучка. Входное зияние намечено (или скрыто) рядом распавшихся конструкций. Войдя туда, ощущаю, как координаты объемов магнитятся ко мне, поглаживают меня, маркируют. Сам я, передвигаясь, возмущаю обнимающие меня пространства, но не могу долго выдержать и покидаю их. Те не отпускают, сворачиваются в мелкое нечто, умещающееся в кулаке; в моей воле выдавить их оттуда – и всё сначала.

Термически обработанный комок белка с ниткой по всей спине. Снаружи ждет она, белое тело невозможной массы, ее гравитация. Встать перед ней, нагнуться, опуститься на колени, чтобы она возложила руку мне на голову и освободила меня? Сделаться мелким, чтобы поместиться у нее во рту или за пазухой? Она подходит ко мне и берет меня за палец. У меня прерывается дыхание и замирает сердце. Принцип неясен, но что-то в этот момент соединяет меня с чем-то большим, чем она сама, она одна. Она улыбается лично мне, безусловно, победительно даже, показывает мне снять со спины рюкзачок, достает оттуда термос и разливает кофе в пластиковые стаканчики. С горячим стаканчиком я иду вдоль стены и вижу торчащий из древней кладки железный болт. Единственный предмет, прошедший обработку огнем, если не учитывать пожары. Кофе и железо, стакан и болт. На головке болта сидит винная улитка, смотрит на меня, выставив рожки. Завитушки панциря наводят на спасительную уловку. Энергетические кольца кругом, наброшенные на холм властителями хаоса: подцепи, собери, снижи в пирамиду, будешь как Бэтмен. Или Джейсон Борн.

Вакельдакель на полочке за задним сиденьем. «Здравствуй, сосиска плюшевая, – реплика без звука – и варьруется в зависимости от того, помню я, кто сидит под стеклом, или нет. – Что, франкфуртер, дождался, не съели тебя!» Путь вниз оказался удобнее, чем путь вверх – древний грек ошибся. Разглядываю машину, ее женские атрибуты – как впервые. Это ведь купе – по одной двери с каждой стороны. Ничего лишнего, – так можно охарактеризовать, пускай кажется, что всего в избытке: фары-глаза и попа-вакельдакель. Дорога в молодом хвойном лесу, какую иногда видишь с шоссе, сидя в высоком автобусе, когда аккуратный шофер, входя в поворот, едет не чересчур быстро, и ты замечаешь иной ракурс леса. Простая и чистая, не разбитая, лишь присыпанная иголками дорога, абсолютно абстрактно соотношенная с тобой, нечаянно рождает некие надежды, которым – как ты с неизбежностью, когда автобус уже выходит из поворота, понимаешь – не суждено сбыться. Она ведет медленно и вальяжно, словно автобус. Успеваю заметить, что серые камни у обочин напоминают уснувших овец – а овцы издали напоминают ожившие камни. Другой вопрос – нужны ли эти надежды?

Зрительный баланс нарушается мертвым зайцем.

– Бедный заяц, – сосредоточенно объезжая.

Пауза.

– Откуда...

Пауза.

– ...ты знаешь, что это был заяц? Кошка же!

– Заяц.

– Да кошка – полосатая кошка.

– Я не видела никаких полос.

– Но откуда ты знаешь, что именно заяц?

– А вот – размер, ноги такие заячьи. И уши.

– Ты видела уши? Где?

– На голове!

Она упрощается, приближается, что ли – всплывает со дна, выныривает из нирваны. С неприличиями пугающе, но не так страшно, как то, что привычка образовалась за неполный день. После зайца она говорит не переставая. Мягким ровным голосом, плавно покачивая руль. О древних племенах: во времена камышовых хижин над озерами, когда озера еще летали в облаках, они, может, и умели, а теперь понастроили себе... О велосипедистах, выскочивших было на шоссе, как пара живых зайцев, и тотчас метнувшихся обратно: всегда несутся не думая, не дай бог задумаются и врежутся в дерево, как теноры в опере, всегда очень глупые, не то начнут задумываться, а смогут ли спеть так, но они не думают, поют и поют, как велосипедисты... И о шесте для прыжков в высоту. Девочка Эвелин занималась прыжками, довольно удачно, думала – а вдруг ее возьмут на

олимпиаду в Сидней, как же она повезет свой шест? Может быть, у взрослых спортсменов шесты разборные? Но тогда они могут сломаться. Спросить не у кого, слишком интимный вопрос.

«Эвелин!»

Откручиваю назад, пускаю пленку медленнее. На повторе – ее мягкая уверенность, спокойствие, прописанное в лице, в движениях, но она скорее уверена не в самой себе, а в окружающем мире, уверена в том, что мир вообще благожелателен и не доставляет людям особых поводов к волнению, если, конечно, люди сами не жаждут поволноваться. Это относится к всем – к ней в частности. Тихие узкие дороги. Ее наступившее в результате зайца согласие со всем – повернем туда? – повернем! – при этом вера в то, что все творится согласно ее желанию. Мой дополнительный страх – не хочу знать о ней больше, чем уже знаю, хотя не знаю почти ничего. Вдруг она знахарь, хербалист, новый специалист какой-нибудь, умеет что-нибудь лучше прочих, у нее масса контактов, востребованная женщина делается чужой и непонятной – не ревность, какая ревность, с чего бы? – просто я, со своими конструктами и схемами, – давно функция, и боюсь узнать, что и она – тоже функция. Свернули на старый, забытый богом немецкий поселок. Отдельный сюжет: дома срослись как сорняки и живут собственной жизнью, появляются дома-хищники, дома-миссионеры, дома-пьяницы. Она, Эвелин, съезжает на грунтовку между асфальтом и заброшенными рельсами, затем, прямо через рельсы, на гравийку, камешки постукивают по днищу. Она по-прежнему невозмутима, да и длится это недолго. Слева высвечивается небольшой пруд или озерцо, справа пригорок, за ним – холм. Там, на фоне до сих пор не погасшего неба, в тускловатой роще царит над округой одна-единственная древняя стена, плоская, с дюжиной разных проемов и створов, более ярких, чем она сама: могучая, отрицающая рощицу, озеро, время, нас. Руля в горку, Эвелин забирает правее, к отдельно стоящей группе построек, мы швартуемся во дворе дома-лепрозория. Как выглядит большинство лепрозориев, я не знаю, но это определенно он. Сплошной темный проем в массиве холма. Она выходит из машины без единого слова, белея на фоне некрашеной или облезлой деревянной стены – но делая останавливающий жест, когда я, хлопнув дверью, собираюсь следовать за ней. На пороге дома оборачивается. Я откуда-то помню этот полуоборот, где-то я его недавно видел.

Дверь, вопреки ожиданию, оборачивается без скрипа. Туда-сюда, туда-сюда. Ко мне, прихрамывая, направляется человек. Исходя из габитуса – местный житель. Вижу, как он хромает – не сильно, едва-едва, вижу в темноте, понимаю, что там у него с ногой, мениск, застарелая травма. Ну, всяко случается. Свежевыстиранное белье плещет на ветру, шпагат натянут от дома к сараю, если это сарай, а не хлев и не конюшня. Нет, внутри трактор, я-то вижу. Хозяин вытягивает из внутренней кишени ватника принадлежности, скручивает сигаретку, протягивает. На дворе тепло, чистое лето. Мы курим, одну на двоих, я пробую догадаться, что он здесь делает. Что здесь делаю я – вопросов нет. «...Говорит, для тебя патриотизм – пустой звук, а это не так. Я тоже люблю свою землю, мой замок на холме, вон, видишь, все это люблю, но я люблю вообще все – а не одно свое. Я знаю, что приеду в Данию – и меня там так расколбасит! Я пойму, что я умирал уже когда-то. Очень важно время от времени улетать в бесконечность, иметь канал в бесконечность...» Лай собак – чего вы раньше не лаяли? – и я пропускаю половину фразы. «...Заменяет бесконечность. Это как женщина, с которой ты можешь спать, когда хочешь, и делать все, что ты хочешь». Речь замедляется, слова протяжны, игла еле-еле скользит по диску. «Твоя женщина, она умеет руками утишать боль, она массирует, производит круговые движения, прокачивает пальцами дырочки вокруг колена, и боль уходит, ходить становится легче». Только что я понятия не имел о том, что Эвелин – моя женщина. Стоит ли сомневаться?

– Я тебя научу снимать паутину. Перед сном, лежа на спине, расслабь живот. Левая рука на два-три пальца ниже пупка, поверх нее – правая. Направь обе ладони в солнечное сплетение. Думай, что держишь руками не живот, а горячий шар. Это непросто. Когда добьешься, осуществится сдвиг. Расскажи себе о нем – как? Правая рука должна стать всечасной! Всечасно чувствуй ее, в мыслях ею делай: пили, строгай, рабогай топором. В мыслях бей грушу, можешь выдумать себе

врага, но бей со всей силы. Можешь идти по улице, воображать, что на тебя напали, а ты одним ударом всех сбил. Лучше бить в живот. Через время явится ощущение руки, всечасной, могучей. Как явится, прикладывай руку к женскому животу. Как станет всечасной, сможешь убирать паучью рябь, отовсюду.

Когда я утомляю его своим молчанием, он, не выдержав, рубит плеча: «Ты когда дроишь, одной рукой дроишь, так? Другой не можешь! Потому говорят: придрочился, значица, установил контакт».

– Хорошо, – отвечаю я, – только я не дрочу.

– С такой-то бабой и не дроишь? Да ведь это самая сладость, дожидаться, когда она на дойку уйдет! Вообразил ее себе – и вперед...

На этом смонтированный фильм заканчивается. Дальнейшее я собираю в обратном порядке, при сборке немного сглаживая ритм: от точки невозврата – к точке устройства на ночлег в гостевом доме-вилле под названием «У Оленя». Вилла была старой, до войны ее наверняка называли «Цум Хирш».

Номер на верхнем этаже. За окном обрыв к петливой реке, омывающей подножье холма, но реки не видно. Видна хвойная поросль, немного подрастающая к горизонту, а у горизонта – горы. Окно открыто в туман, в нем редкие фонари означают ведущую к городу дорогу. Если высунуться поглубже, на пределе видимости можно заметить глазастый белый «вакельдакель», знак моей неожиданной связанности. Я вылез достаточно, чтобы разглядеть, но никого и ничего другого в этой – где глухой, где переливчатой – мгле я не вижу. Изгиб мрака вроде нерезкой просеки – как если бы злой дух прорывался, ломая лес, к заповедным далям. Неплохо бы протрезветь, но выпрыгнуть ради этого из окна уже не решусь.

Решимости я был полон всего четверть часа назад. В честь феста коридор лучился свечами, они то держали ровное пламя, то всколыхивались разом, информируя, что где-то открылась и закрылась невидимая дверь, вызвав мимолетный сквозняк. Свечей было много: те, что потолще и покорооче, могли сойти за фаллические символы. Перехватив мой взгляд, Нина четко вычислила причину волнения. Поразмыслив пару десятков секунд, сделала влажные глаза и купировала мою нервозность двумя фразами. Они так и звучали у меня в ушах, пока мы поднимались по лестнице. «Сегодня ничего не будет, – сказала она. – Завтра». На пороге комнаты она скользким движением ухватила меня указательным и большим пальцем за щеку, деликатно втиснув мне в рот мизинец и вода его кончиком по языку. «Многие в таких случаях, я имею в виду первый, – она поискала слово и нашла: – особый вечер пытаются взять какую-то высоту, а нам никакие высоты брать не придется, мы будем просто наслаждаться тем, что вот мы здесь, без лишних знаний друг о друге, без обязательств...» А я показал рукой себе за спину и покивал головой и потряс другой рукой так, чтобы ей стало понятно – на улице я что-то уронил и должен спуститься, ненадолго. Но никуда не пошел, а тупо стоял под дверью – недолго, те самые пятнадцать минут, в течение которых размышлял, как бы надежнее убить себя, чтобы больше ни от кого и никогда не зависеть.

Надо же – многие...

Из бара мы добрались на такси, в такси сидели сзади, она положила пальцы на мою ладонь и накрыла сверху моей же ладонью. В баре пела прибалтийская группа. Ее язык был настолько певуч, что рок-н-ролл звучал попсой – солист съезжает в попсу, а за ним и прочие музыканты. Елена оказывается на редкость заводной, она движется как ящерица. Под белой курткой обнаруживается обтягивающий черный свитер с искрой. Она потеет, на лбу капли пота, она наконец-то пахнет – корицей. Перейдя некоторые грани, я слизал каплю пота у нее со лба, она укусила меня за ухо. Выглядело утверждением ее ритуальной власти надо мной, как нанесение метки, тавра. Я хочу протрезветь и умыться лицо. В туалете имеет место сцена. Возле раковины ко мне безо всякой причины подваливает высокий нарик с грубым испытанным лицом и расстегнутой на животе

рубашкой. Думаю, ограничилось бы отрывистыми пробами оскорбить друг друга и тычками в плечо, но – вспоминаю – в туалет быстро, как бы танцую, входит человек с красивым, но неуловимым лицом – в неуловимого вида одеянии – и неуловимо быстро, без каких-либо намеков на дискуссию, бьет наркомана в подбородок – секунду-другую глядит, как он с глухим стуком ударяется о деревянную стенку кабинки – разворачивается и выходит, уже не видя, как тот медленно сползает на кафельный пол и обнимает толчок. Вернувшись на танцпол, вижу тревожное лицо Нины – она не танцует, а пританцовывает; видит меня, окрыленного чужой победой, и радостно улыбается мне навстречу, потом снова серьезное лицо, она отворачивается, ловит чей-то взгляд – и снова бесхитростно улыбается мне.

В «Квятомате» я покупаю ей цветы, бессмысленные в гостинице, но украшающие прогулку. Она помахивает тюльпанами, похлопывая себя ими по колену. Еще днем, стоя на мертвом донжоне, на той комбинации камней, что от него сохранилась, я сознавал, что мой порядок рухнул, знал, что влип, что погиб, что наилучший выход – это броситься вниз, но там некуда было бросаться, заросли на склонах экранировали любую попытку броска.

В городе и сегодня все напоминает о войне, даже реклама «для мечты нужны крылья»: темно-зеленая при свете огней лужайка, в траве лежат дети, на них упала тень самолета. Не сразу понимаю, что это – модель, пилотируемый самолетик. Чудится, наоборот, зловещее: тень охотника, он вот-вот отбобмбится по этим детям. Rem'ember me – в витрине ювелирной лавки.

Выйдя из ворот на серпантин, опоясывающий холм и освещенный фонарями, я – не знаю, зачем – заговорил о Кшиштофе. О том, как он, придя домой в результате трипа по регионам, исчез на полтора года в Западных горах, о его поисках жестких конструкций, о полотнах, покрытых линиями и плоскостями, где доминировали лезвия и щиты. О том, как вдова передала в Национальный музей искусств два цикла картин: один, посвященный альпийской кухне, – серия портретов жареной козы, и другой, представлявший образы казненных европейских политиков, – причем изображены они были целехонькими, только глаза как у рисунков, сделанных нейросетью. Слово «казненные» в названии серии он объяснял тем, что применялась казнь «рассечением пополам»; так точно и быстро, что края половинок запекались, и кровь не текла, одни глаза стекленели, застывая навечно. Полиция задержала артиста, воспользовавшись свидетельским показанием дамы на кассе одной из станций частной железной дороги: худой седовласый человек с огнем в глазах шел, громко повторяя – alles ist vorbei, vorbei, alles vorbei ist. Доставленный к супруге, он проводил эксперименты по оживлению портретов и манекенов, закрашивая картины в обратной секвенции: как поезд, наезжающий на человека.

Перед выходом в холле я сначала прислушался, а затем бросил взгляд на телевизор. Транслировалась немецкая дискуссия на высшем культурном уровне. Писательница Юлия Цее в длинных лакированных сапогах, еще несколько хорошо одетых и ухоженных людей рассуждали о беженцах и о канцлере Ангеле Меркель. Я представлял себя по очереди то Ангелой Меркель, то беженцем, ничего, кроме ненависти к дискуссионкам, не испытывая – мне хотелось завалить их всех одной автоматной очередью.

Место ночлега носило гордое имя «У Оленя». На вершине пологого со стороны въезда холма, посередине огороженной белой балюстрадой овальной площадки в свете фар виднелась круглая клумба метров пять в диаметре. Серебряная скульптура козлоногой бестии в центре клумбы не походила на оленя, но кого-то из сказочных персонажей точно напоминала. Рога на лбу также были в наличии. Трехэтажная вилла с двумя башенками под черепичной крышей располагалась ближе к обрыву со стороны леса. Вилла была старой, до войны ее наверняка называли «Дум Хирш».

Лили здесь больше не живет

дни сменяют дни луна теряет свой облик
Гораций (II, 18)

Алиса выходит на двор, там этот январь.

Алиса идет по двору, она ледяная красавица.

Она идет, минуя замерзшие лужи, эти начесанные в снегу бляшки. Ее умение идти меж воронок от фугасных мин и снарядов – как данных, так и будущих, не прячась в уже наличествующие, не по заповеди, что дважды в одну не попадает, а: как по канату, находя его – вытянутой стопой, – натянутый среди пропастей на невидимых опорах.

Она была одной из нас. Самой точной, самой последовательной, оттого, думаю, она пережила всех. Я потерял ее в тот год; тогда многие теряли многих. Петя погиб, Семочка сдох. В общем, Семочку я не ненавидел, я только не понимал, как она может терпеть его сальное рыло, хотя, конечно, в крапленых индийских глазах пробегали по временам такие искры! К типу прилежных девиц не принадлежала. Зубрилки, отглаженные воротнички – мастер прозвал их рейсшинами. Они прибывались ненадолго и вскоре уходили. Ровную линию без линейки мог провести всякий, и я уточнил у мастера, однажды, – за что? – За несгибаемость шеи. Не открутишь болт – голова не повернется.

Алису он величал Транспортиром: за то, что умела нарисовать на глаз любой угол, и в семнадцать, и в тридцать семь градусов. Два луча – и на каждом отложить сколько надо сантиметров. Спросил мастера, чего бы ему не окрестить ее Астролябией? Спросил – и испугался. В глазах у него тоже забегали искорки. Был ниже меня ростом, но жилист, млоласт:

– Ляби, хляби, хлебай!

Но как ученица – верна.

Бывали дни, когда мы долго и безрезультатно изучали какой-либо бытовой вопрос. Как, э-э, предположим, добраться на перекладных от Романова до Ростова, разделенных Борисоглебским уездом, или как постирать в бензине светлые Таточкины перчатки, если, собственно, бензина как такового нет? Те дни Алиса называла днями изучения вопросов. Мировое, от слова «мирь», спокойствие, ледяное, да – это потому, что она брала вопрос в целом, говоря: карта есть всего лишь внешнее покрытие, верхний слой краски, под ним лежат другие слои, подмалевки, грунт, холст, а на местности, представляющей собой наложение всех слоев, – там, стоит нам очутиться в городе Романове над рекой Волгой, символизирующей сочетание всех времен, неизбежно найдется какое-нибудь решение, какое-то транспортное средство, сначала одно, затем другое. Бензин можно получить из живичного скипидара, какового у нас в избытке, кустарной перегонкой.

– Смотри, я соединяю две точки на метафизической карте. Например, точку моего пребывания с точкой исполнения моего желания. Либо я знаю, что должно получиться, и иду к этому, вычерчиваю нацеленный отрезок, либо у меня есть центр, и я начинаю его раскручивать, а видеть цель не обязательно, я и так нащупаю ее своей антенной.

Мировое от слова «мирь». Вот Еня прогнала меня от себя, а после призвала назад; я пришел, сидел за ее столом в комнате и ел гречневую кашу с сушеными грибами, как это я научил ее готовить. Кашу она недосолила (не любила, значит!), и я досаливал ее своими слезами прямо в чугунок. Нестыдно вспоминать, что плакал, никогда не стыдно, нехорошо лишь, что слезы – бессилия. Умер Борик, а Транспортир писала свое безбрежное полотно, страшных «Мандьянов», Таня видела, слезы капали на палитру, а рука вела и вела кисть, набивая запредельный орнамент: нагое мясо в роскошном рубище, увязанных веревкой опорках. Labora et labora – труд

стоял в ее планетах, как вода в новгородских колодцах. В крови нежаркой, прусской, свейской, твердой и темной, однако сладимой. Злоупотребил цитатой, опасной, так ведь долго никто не прочтет. А к тому времени, как прочтут, цитата сотрется или растворится в языке и перестанет быть цитатой.

Алиса выбегает на двор, цитата из моей зрительной памяти. Ее словно на лыжах выносит из парадного: равно цитата, но лучше не скажешь. Удивительный рисовальщик Орлов (также убит) восхищался – Лесная Дева. Она прыгала, скакала на лошади, стреляла из ружья, а он, с лицом северного индейца, был подобен жерди и задумчив в движениях. Отчего не ушел он из Восточной Сибири, после двух небольших лишений? Прекрасно же знал край. Поверил в аккуратность карающего меча? Или в высший суд какой, в формулу равновесия, где место найдется его боли и его смыслу, и, значит, в конце концов уберегут его, спрячут для финального штриха, мазка, удара мастихином? Орлов учился в Европах, но там не задалось. Вернулся, пошло очень неплохо. Он рвался в Индию, предпринимал шаги определенного рода, повторял, что у местных (европейцев) не нашел дара великого духа, что все магические откровения, все ощущения божественных сил они загнали в точность поездов и удобство расписаний. Когда-то сиживал в Cabaret Voltaire, двигал шашки против Ленина и Тцары (тут-то, пожалуй, загнул), но таблицы Schweizerische Bundesbahnen считал швейцарской ведантой, SBB-упанишадой.

Мне с ним приятно было дискутировать, он и после мензурки спирта оставался корректен, не делаясь ни вязким, ни схематичным. Выпив, меньше острил, предпочтение отдавал мифологическим трактовкам. Споря со мной, восклицал – что за миф вещает нам Европа? Войны? Порядка? Небесный или подземный?

– А Россия?

– Чем хуже порядок, тем громче миф, звенит цепями и кандалами, – присоединился к нам мастер. Говорил о сдерживании и одолении, наследники Рима, дескать, в безмерной жажде властвования заковали кого в сталь, кого в железо, реку в гранит, а луг и поле – в камень межей, в бульжники площади. И нам, наследникам Византии, выпало освободить каждый атом каждой молекулы, перебрать всяческую кладку, распрямить и заново свести к точке любую перспективу.

Орлов, ценимый самим Водкиным, позволял себе мастера поддеть:

– *Le mo-o-onde va changer de base...* не так ли? Разро-о-ем мир насилия мы-ы? Ну а затем что?

Мастер сдавался. Он охотнее вел дневник, чем сочинял проповеди. Тут появлялась Алиса, и все замолкали. Листы «Велесовой книги» лежали на столах; Алиса сыпала на пол снежные искры; мужчины, толкаясь, набрасывали тулупы, наматывали башлыки – так осуществлялось ее властвование, которого она не жаждала. Мы выходили на прогулку вокруг идеально круглого озера: тондо – картина, вписанная в круг. Осот и осока, росшие по периметру, обозначали границу невидимой воды, формат изображения. Шли гуськом, цепочками следов оттеняя травяную раму, а озеро лежало внутри – новое слово в языке авангарда. Черный квадрат Малевича, зеленая полуса Ольги, белое тондо Транспортира. Орлов, безнадежно влюбленный, обремененный обязательствами, нес, как жираф, свою рубленую голову без головного убора, вытаптывал странные узоры, используя шаговую морзянку – вдоль, вдоль, поперек... Не ведаю, кому он отправлял послания, обычно мы делали только один круг, так что Алиса, будь она его адресатом, не смогла бы прочесть депешу, а за ночь каракули распушались в нечитаемое. Возможно, черный кот, общий любимец, хозяином признававший одного Орлова, служил ретранслятором. Возвращаясь с охоты на полевок, он укладывался на единственном в мастерской диване, кожаном, еще довоенном, и начинал передачу хвостом: взмах, взмах, взмах – два коротких, один долгий.

Мандат неба, семь обид и межпланетные браки: разные пути ведут карму к выходу из тупика, как чжурчженей – к Вечным могилам. Трудно, но была бы цель! Почему же он все-таки не ушел из Восточной Сибири?

Энергия сдерживания – это энергия плотины.

– Человек сказал Днепру: – Я стеной тебя запрю. Ты с вершины будешь прыгать, ты машины будешь двигать! – задумчиво произносит Алиса, листая журнал «Еж», памятный первый выпуск первого года декады с мальчиком-фрезеровщиком на обложке и строфами приснопамятного немца внутри. – Энергия России – это энергия цунами. Нет смысла противиться системе, система сама надстроена над природой, надо искать ходы в природе вещей.

(Вижу, что выше написал «межпланетные» вместо «межплеменные», исправлять не стану.)

Она находит своих. Не таких, каких мы искали до сих пор, не то так вот придешь к хорошим людям, они накормят, напоят, спать уложат, а наутро научат Родину любить. Ее посещают те и эти. Кто-то спрашивает, чего бы ей, стрелку и наезднице, не вступить в Осоавиахим, могло бы и поспособствовать. – Это не соответствует плану моей души, – отвечает она. А Наденька, ее зависть очень некрасивой, но умной и одаренной женщины, ноторическая – к Алисе! Увязшая в своем enthum mime головного мозга, катастрофах, травмах, вине и ответственности, Надя неспособна к чистому восхищению, ее восприятие, увы, партийно. Для нее вышедшие в «Возрождении» ***** ** посылнее «Фауста» Гете. И Марио; она читала «Марио и чародей» Томаса Манна; она наговаривает Алисе про духоту. На вечернем сеансе в Sala (сарай-синема) кельнер-итальянец по имени Марио – на глазах семейства, каковое он обслуживает в садовом кафе «Изысканное», на глазах отца сего семейства и, собственно, повествователя, – убивает выстрелом из пистолета заезжего факира, гипнотизера, заставившего Марио уверовать в то, что именно он, горбун по имени Чиполла, и есть Сильвестра, Liebeskummer, то есть «сердечная заноза» Марио, принудив последнего чмокнуть его в щечку.

– Ах, не люблю этого высокомерного урнинга! – говорит Алиса.

– Он не высокомерный, – неожиданно возражает моя Еня, – он высоколобый.

– Там душно, – Надежда настаивает. – Духота надвигающейся катастрофы.

– Духота сирокко, – поправляет Еня. Мы все прочли новеллу о бедолаге Марио в семейном ежемесечнике «Вельхаген-и-Класинг» под роскошным ручным красно-золотым переплетом. Ну, а кто – все? Я, она. Ради полиграфической красоты, думается мне, – пусть и с душком, за который мастер отрубил бы издателю руки, со вкусом.

– Прежде всего, он не урнинг, – продолжает Надежда, хотя какая ей, казалось бы, разница? – Прежде всего ценитель красоты...

– Mais si! Как всякий потомственный любекский зерноторговец.

– У вас обоих, похоже, имеются тайные страсти по Любеку?

– Не без того! – смеется Алиса.

– ...а затем. Блестяще описал нехватку воздуха на морском курорте: он, немец, сын великой нации, потрепанной Версалем, задыхается среди итальянцев, упоенных собой и своим фальшивым блеском, новых варваров, этих zierlich festen, детей Дуче.

– Даже на море, – вступает бравая Татьяна, – даже там случается, что душно даже вдвоем. А катастрофа уже надвинулась, невелик труд – быть пророком.

– Марио... – И все мы понимаем, кого имеет в виду разгорячившаяся Надя. – В той духоте его заколдовали. Утратил – себя, лицо свое – с его пушкинскими губами... Нет, как звучит: «вульст-липпен»! И, единожды утратив, более...

– Почему у Марио пистолет, – вдруг вопрошает Алиса, – откуда он? – Оказывается, и она читала, и у нее свое, особое мнение: – А почему он стрелял дважды? Два выстрела – суть символ, два выстрела – не защита, не месть, это кара – казнь.

.....

Потому что сам призвал Чиполлу! И был готов – к другому. Но Чиполла для начала ошибся, и Марио выстрелил не туда. Фактически Марио проверял Чиполлу на годность, на выносливость.

«Какого же Чиполлу ожидал Марио?» – я гадаю усиленно. Алиса объясняет, шепча, нет, бор-моча самой себе, так, что мы слышим: «Он ждал повелителя, а дождался мерзкого фигляра...»

Проснувшись, с чего она начала свое утро? Легко вообразить, с чего не начинала. *Togliere il superfuio*: останется воображаемая суть ее пробуждений. Открыв глаза, она тотчас их захлопывает и лежит неподвижно, в той позе, в какой проснулась, настолько лишь повернувшись, чтобы расположить ладони на бедрах. Этими ладонями она затевает внутреннее путешествие вдоль себя, от бедер вниз – к коленкам, икрам и щиколоткам, от бедер вверх – к лону, пупку, груди, шее, затылку. Дотрагиваясь подушечками ментальных пальцев, она зажигает один за другим квадратные сантиметры кожи, на теле вспыхивают солнечные точки и тянутся лучами к бессолнечному дню, едва тлеющему за отведенными матерью шторами. К свету свет; день расцветает ей навстречу, она нежится в световом скафандре, прослойке между ней и бельем постели, набирающим крахмальной свежести при каждом касании.

Сегодня – получить глаженое у китайца. Подвал на Мельничной, сюда ему ходу нет. И к набережной, в клуб химиков. Мягкое раздвоение. Алиса хорошо умеет разделять себя, даже ночью. Пока правая половина тела без сердца страстно любима, левая спокойно почивает, готовясь к завтрашнему трудовому дню в мастерской. Она записывает отчет в дневник – канцеляризмами; огонь, пылающий в районе половых губ, односторонен, он не переходит на внутреннюю поверхность другого бедра, бабочки не перелетают через пупок. Алиса выходит на двор.

С Песчаной улицы выскальзывает на Валовую. Петрополь, секретный град, лучится изнутри обманным спиртовым сиянием; свет к свету. Она пересекает Башенную, минует Бастионную и так по Суворова аж до Мельничной. Сборка городской природы вокруг нее неслучайна, громада арок, стен, крыш пришла оттуда, откуда пришла, и привела туда, куда привела. А можно локальным образом вывернуть ее, разнять сваи, кирпич, арматуру. Перестроить наоборот, перекроить тупики и подвалы, карманы перешить – и втиснуться в них, пройти по ходам сообщения, как гусар, чуть постарше меня, из оперного театра шел послушать – к разбитым полям, – как строг пулемет. Наш или германский?

– Путь к отступлению?

– Никаких отступлений! – говорит чей-то голос. – Дорога неуязвимости.

Я никого не вижу, но не удивляюсь.

Отец ее, доктор, вынимал занозу из пальца сосновой иглой. Мастер шел от границ, она идет от точки. Пункт касания, точка входа, палец, прижатый к телу, как бы намечает кратер вулкана. Шлифованный миндальный ноготок обводит будто рейсфедером область хаоса – местную вывернутость того, бывшего плана, изнанку, выскочившую сквозь прореху наружу. Ее в принципе несложно упихать обратно, прореху прострочить, заштопать. Алиса, в отличие от мастера, понимает: она не маэстро резца, она – богиня иглы.

Я не удивлюсь – именно что удивлюсь, если кто-либо опишет мне полный объем всех ее пониманий. Нелепость чудес, которые совершал Иисус – два хлеба, пять рыбешек. Или наоборот, нынче без разницы. У мастера нынче – две дюжины человек, им кажется, они делают что-то большое, нужное, он говорит им «глубоко», он их Иисус, чем нелепее его чудеса, тем более в них веры, потому что чудо не должно иметь смысла, это не корень какой-нибудь из чего-нибудь извлеки – чудо есть Бог! Чудо есть чудо, если не веришь в чудеса, так ведь? Так сказано?

Алиса молчит.

Позже возле нее вились Перикюль и Ридикюль; Рискованный и Раскованный, – так шутил Леонид, – я буду упоминать их как П. и Р. Да, Р. и R, так лучше. R. стал тенью для зла, как советовал Карабас, а Р. просто не обращал на зло никакого внимания, но никто не был – так теперь говорят? – эскейпистом. Кто хотел – успел.

R. (в моем присутствии) спросил про Р.:

– Он презрителен ко мне?

– Он прохладен к тому, что не его.

Р. (в моем, скаламбурю, отсутствии) якобы спросил про Р.:

– Какой у него диагноз?

– Он не ходит к врачу, – якобы ответила Алиса, – поэтому живет без диагноза.

Их обоих нет больше, никого больше нет.

Один на один – одна на одно? – с пространством.

Пространство благоволит ей, не отнимая у нее астральную оболочку тех, чьи души забра-ло время. Хранительница брэнного, в яростных разрывах цветных плашек прячущая ледяные ключики от своих дверей. Во тьме ночи – что я говорю! – в белизне ночей она отпирает одну из дверей и слушает. Они уже не обращаются к ней, они, наверное, ни к кому не обращаются, ничего не говорят и никого не слушают, но она – слышит:

– «Срез» жизненного пути – холст моей жизни. Жалкие фрагменты уже раскиданы по нему. Я могу сказать – одна сплошная неудача. А могу иначе – это написанная часть какой-то картины, завершенной в будущем. Нужно только досочинить ее так, чтобы она содержала все уже имеющиеся куски как действительные части.

Алиса тасует фрагменты как карты. Вот он, ее ломберный столик, загрунтован, натянут на подрамник. Масти, достоинства. Борисик, мама, Орлов, Таточка, Чокнутый. И мастер, мастер, мастер. Я тоже где-то там, джокер, всё и ничто разом. Я сложил к ее ногам свой меч. Я по-мужски одолел Чокнутого. Я хотел нести солнце, а он пластался во тьме. «Стань тенью, – повторял как заклинание, – и кровавый глаз Сына Неба напрасно пронзит твою тень». – «Тенью для зла, – напомнил я. – Оно так или иначе пронзит».

Карты пришилины, пригвождены к сукну. О Чокнутом, с сестринской нежностью: «Он не ходит к врачу, поэтому живет без диагноза». Об эпатурирующих Татлине, Малевиче, о Богомазове в особенности, с лаской: «Хохлы круговые, запенясь, шипят». Она не мастер удара, она маэстро укола.

Я доказал ей, что управляю калейдоскопами, правлю бал букв и буковок. Иногда у меня у самого рябит в глазах от моих букв. Я вижу шахматные поля, покрытые урнами, на белых клетках стоят белые урны, на черных – черные. Когда я ступаю ногой на доску, из урн вылетают птицы, из белых урн голубки, из черных – вороны. Опять же иногда урны или клетки меняются местами, а из урн вылетают одни лишь галки. Тогда и копоть, и снег мешаются под моими ногами, приходя домой, я стряхиваю в парадной пепел.

Петр Великолепный. Петр великолепной.

Они принаряжались, перенаряжались и снимались «на чистую красоту», Таточка и Алиса. Фото на чистую красоту – в чем восхитительный восторг этой фразы? Вкруг нас сплошные «фи», философы да филологи, но из них ни один не объяснит мне, отчего такие слова будят во мне свист метели, бег рысака в синей попоне, рык угнанного авто. Лихость эта, бесшабашность, эта уверенность в себе – оттого, что можно погадать или заклясть на чистую красоту? Друзья мои! Вот Леонид, он исследует ужасы, вот Роман, комбинирует метонимии, вот Чокнутый, он чинит носки – Алиса просто прекрасна. Ее восхитительный эгоизм – эгоизм ли? Он что лотос, растущий изнутри, разрывающий узор повседневности и засыпающий поверх своими лепестками. Или ме-дуза, всплывает со дна и будто линза укрупняет и легко подсвечивает то, на что ложится.

Любит мышек... Маленьких миленьких мышек любит она. Рисует.

Сегодня Алиса делает доклад. Еще до ***** руки Р. (Петины) с чуткими пальцами успели сотворить здесь макет Кремля в карминных стенах и даже позолотить купола над алебастровыми шеями. В помещении я как-то раз читал Багрицкого, свежееупокоенного – не будь он евреем, ска-зал бы «новопреставленного», – дюжине библиотечарш химических предприятий и чувствовал их содрожание. Текла река, мы знали, что за наружной стеной с большими мельниковскими окнами течет река, она немного текла и через нас, по крайней мере электро ее трения о русло лежало на наших руках и лицах под желтым стеклярусным абажуром.

Завороженная этим электро, она прячется в своем сне, и сон превращается в тему доклада. Во сне она скитается в лесах братьев Гримм, среди сосен, на заросшем ежевикой пригорке видит дом Бродского, придворного портретиста, сгоревший с одного края. В уцелевшей его части однако уютно, есть даже удобства. Пока Алиса взвешивает, сколько же понадобится средств на обустройство подобного уюта, Бродский высовывается в окно с венским переплетом и кричит забредшим на его участок мальчишкам: «Дров нет! Дров нет!»

Кстати, почему во снах мы не видим киногероев? Ни Дуглас Фэрбенкс, ни Мэри Пикфорд мне не снятся. И не мне одному. Нам снятся либо наши близкие, наши знакомые, либо совсем незнакомые люди. Может, незнакомцы также где-нибудь существуют? Они слишком реальны даже во сне. Однажды я боролся с неким злодеем, он вспотел, и у меня на пальцах оставались жирные катышки с его кожи, я даже побежал под рукомойник, едва проснувшись. Стало быть, нам снятся только реальные люди, а люди с экранного полотна не снятся. Значит, ночной мир сна более материален, чем мир дневного воображения. Так что ли?

Тем временем Алиса покидает свой сон и продолжает доклад.

– Смотрите! Мастер видит мир плотным, нерушимым, единым. Перелопатить весь мир значит для него то же, что разгладить складку на брюках или стряхнуть пыль с сапог. Берем мысленную лупу и вглядываемся в дерюгу на локте батрака: видите плашку серого блеска? Так блестят штывки. А здесь мазки; желтый, оранжевый, беж. Лучина расщепилась и топорщит пальцы, вот-вот спепятся в кулак. Наставь штывк, сожми кулак, бей! Бой – танец, любимая диалектика. Формула танца, мы вечно в бою, вечно танцуем, не разнимая рук.

– А радость? Как же радость? Обычная, зачем ее отменили? Разве желтый не может быть просто желтым, а оранжевый – оранжевым? Солнце, янтарь, песок...

Наверное, я смешиваю воспоминания, я не всегда датировал и сортировал записи, и годы несколько путаются. Впрочем, большие реки времени сами по себе спутывают наши карты, вымывая сильные ощущения на берег сознания. Я помню, как Бродский скупал работы мастера, и знаю, что мастер не продал ни ему, ни другому кому ни одной картины.

– Радость?

– Черпать красоту не из пространства, но из времени, – ответила в тот раз Алиса, – означает следующее...

...Воспринимать все, сказанное близкими, как поток слов из черного репродуктора. Ты зажата между двух тисочных струбцин. Шагнешь навстречу изрекаемому рупором, начнешь понимать, обдумывать, не дай бог возмутишься – и неведомый слесарь, страж тисков, сделает пол-оборота рукояткой, струбцины сблизятся еще на микрон. Стой! Не слушай, стань ледышкой, заморозь речь, себя, струбцины, подерни их инеем, преврати в ледяное стекло – они, треснут, расколются сами собой.

Здравый ум Алисы, ее умение радоваться. R. (Петин Чокнутый) радовал ее.

– Умение отражать отдельные фрагменты полотна и локально менять структуру, – снова голос. Предположительно я сам в своей голове из «после» в сейчас, нет, из сейчас в «до», выдавший виды. Ее поиск неплотностей в кладке времен вдохновлял. Она уцелела – исцелилась?

После доклада начинаются прения. Они об искусстве, но и не об искусстве. Заботит вопрос, почему одни творцы там, а другие здесь; вряд ли я сформулирую прозрачнее. Я не спрашиваю ни себя, ни близких, и не отвечаю – правда, меня не спрашивают. Выяснилось, вполне можно говорить.

– ...Испытывают уменьшение спектра возможностей: капитализм рано или поздно ограничивает массовые возможности.

– Только в более широком ассортименте... – осторожное возражение, и не понять, к чему относится.

– Войны, переселения, миграции – это – как и чума, вероятно, – имеет смысл. Если с высоты мироздания... Чума освободила рабочие места, разрушила кастовую систему, спасла ее от загниения, – литовка (?) Дридзе спасительна; мало с ней знаком, прелестна. – Эмиграция несет миру русскую мысль – почти как плесневый сыр: ты его немножечко заплеснеешь, и получается чудесный рокфор. А мы вот тоже как-то уже перемешались, бывшая княжна спит с рабочим-станкостроителем, и дети у них создадут благородные станки, жужжащие на голубом керосине.

С Уступной набережной через Тыловой проспект к Воробьеву шоссе. Дальше наши пути рас... хо... ты кто знает? Время Алисы: желание быть с силой. По стороне силы. На нужном берегу. Банальность, попробую по-другому. Чувство лояльности по отношению к ***** заменяет сексуальное.

.....

Допустим, торнадо. Некто является торнадо. Его обманчивый гиперболоид – с ним мы не проникаем в сущность торнадо, но можем на миг впасть в транс и почувствовать, что значит быть торнадо. Мир, выстроенный чужой рукой, становится частью твоего мира. Жаркой, теплой, болезненной и самой свежей его частью. Почти как любовь, почти как вы, Алиса Иоанновна.

– Я – свежатинка? Теплая с кровью?

Вечерами не так заметны естественные нарушения целостности городской среды, в светлый час навязчиво сулящие неприглядную старость всему на свете. Ворвавшись сюда, торнадо закидает и створаживается, выпадает в осадок – пухом, снегом. Непредвиденная смена формации как внезапный катализатор дряхления: ее страх. Алиса застывает в своей ледяной молодости, где каждый может донести на каждого, отправить в лапы паука, там только смерть, необратима, как выбитый зуб. Плохая аналогия, но других нет; жемчужная улыбка, бриллиантовый оскал и – вдруг! Всяк готов продать, заложить, как Раскольников закладывал щепку, жизнь – абсолютная лотерея, рулетка.

На что ставит Алиса? На совершенство.

Алиса входит во двор, привычно оглядывается по сторонам, это ее владения, она царит повсюду, а пажы и прочая мелочь шкерится по углам и подворотням. Маскароны и кариатиды с меланхоличной усмешкой, им-то многое известно, столь многое, что и они не скажут, не зная, как из многого выделить малое, чтобы поведать кому-то. Алиса, бывает, пощечочет лучиком гипс – нет-нет да и получает отклик: от них ли, из тех ли миров, что таятся за стерегомыми ими дверьми. «Буратино, пока он не нашел дверь в каморке Папы Карло, откупоривал золотым ключиком бутылки», – слова R., встреченного ею прямо на лестнице, на площадке между цокольным и первым этажом.

Эне-бэнэ-раба-квинтер-финтер. Жаба.

R. P. R.

P. R.

P.

Первые слова P., встреченному ею в коридоре.

«Поцелуй меня в мой лотос», – говорит она, и лотос выбрасывает белые лепестки ему на встречу, раскрываясь, но с одной стороны лепестки словно заморожены или просто оборваны. Она укалывает его ресницей, каблучком, карандашом, рейсфедером. Посреди бытового распада всё совершеннейшие вещи: кедровая мутовка ресниц, каблук сшитой на заказ туфли, карандаш Иоганн Фабер, готовальня Эмиль Рихтер со товарищи или Кохинор (в этом «или» – ее авторский взгляд на себя саму, ее внешняя фотокамера).

R.

P. R.

И я, и Тата, и Еня моя, и страшенькая Надежда, мы, брезжащие по краям торнадо, перебра-
сываемся обрывками снов, как бы лаяя прореху, оставленную чужим, но близким небытием в
нашем разжижающемся, меркнушем, но все еще теплящемся бытии.

– Вообще, ты поднял важную тему смирения – я сам смиряюсь с тем, что в этой жизни надо
остаться в моих серых холодных странах, и тогда, может, в следующей вновь родиться в краю
персиков – а почему? И надо ли? Легко сказать *satis beatus unicus Sabinis*, тяжело сделать. А усадьба
моя крохотна, и винограду дает мало, даже бутылки вина не нацедить. Но что меня поразило в
этих словах – и в который раз я подумал о том, что все уже сказано, причем точнее и лучше, – так
это про луну. Я думал – просто привесок, метафора бега времени, но, когда перед сном вышел на
двор (я перед сном люблю оросить свою яблоню), понял, что каждый вечер, встав под яблоню,
смотрю на луну и фиксирую ее форму, как бабушка в детстве учила – приставляя палец к рогам:
«Р» или «У», – и делаю из этого какие-то малоценные выводы.

– Утром я надела синюю кофточку, юбку, кажется, белую в горох, шляпку, и пошла по указан-
ному адресу. Даже нитяные перчатки, кажется. Шляпка делала меня незнакомым мне человеком,
из прошлой, безвозвратно потерянной жизни. Там, где улица, застроенная доходными домами,
обрывалась, начинался длинный кованный забор, за ним среди кустов несколько вилл, в одну я
и шла. Калитка открылась сама собой, дверь тоже, я взошла на этаж, несколько комнат были
соединены вместе, в мягком кресле за деревянным простым бюро сидел молодой человек, напоми-
нивший мне Арамиса из *Les trois mousquetaires*. С ним рядом – женщина пронзительной красоты,
видимо, цыганка. Она прекрасно говорила на французском и с неуловимым пряным акцентом –
по-русски. Она встала из-за стола и, подойдя ближе, положила руку мне на плечо. Другой рукой
с невероятными пальцами она огладила мое лицо, затем спокойно расстегнула пуговицы блузки,
оттянула лифчик и на ладони взвесила мои истощенные груди. Потом вернулась к столу, поцело-
вала юношу в лоб и села на место. Тот оторвался от каких-то своих бумаг и сказал ласково: «Про-
шу вас извинить мою Жанин, она измеряла ваше психологическое состояние. Вы почти потеряли
эмоции, но если вас подкормить (так и сказал, подкормить!) и дать отдохнуть пару недель, вы
вернете себе человеческий облик. Зуб мы вставим», – указательным пальцем он обвел свой рот.
Забыла сказать – все это время я держала застылую улыбку, как идиотка.

– Когда он зашел в мою дверь в бараке, я не знала, куда девать мои руки. Немытые, с обу-
санными ногтями, не понимаю, с чего я взяла, что они ему важны. По его взгляду я ощутила, что
вот-вот должно произойти нечто, к чему я не знаю, как отнестись, и решила, что должна ему, и он
был так хорош, а я так стосковалась по теплу, но все же не хотела обыденности, а он дотронулся
до меня и сказал только *le type de th garie*, на французском не так отталкивающе, и я забылась
на миг, а потом стало поздно, я забыла себя, страшно сказать, вошла в аппетит и даже орала, да,
орала от наслаждения...

– И я вот думаю – если я плачу, вспоминая про долго буду я любезен, что чувства добрые я
лирой, или про я лежу в земле, губами шевеля, но то, что я скажу, запомнит каждый, – это оттого,
что этими губами говорило неведомое, далекое, то, что чудится мне блистающей осью с серебря-
ным острием, которое в запредельных мирах пройдет через нас, как холодный мерцающий луч, и
снижет, и скрепит, и соединит навеки.

А после похорон и скорых поминок прямо у кладбищенской ограды на обратном пути про-
рвалась русская народная.

*откосили по лугам косари
белым стягом ты меня одари
черной радугой меня озари
ничего не говори*

*только память твоих слез на заре
только замёт твоих кос в серебре
только конь чей хвост развиг по горе
бьет копытом во дворе*

*а рука была как лед холодна
а вина была как рот без вина
и сто лет стоит и ждет тишина
как звенели стремена...*

Все растает

Мы все вместе едем куда-то. Очень сильный снег. Есть две цели: одна та, куда мы вроде приехали, и другая – город Достоевский (хрен его знает, где это). Холодно, темно, прильзлы; на последнем подъеме четыреста двенадцатый забуксовал. Решили плюнуть на него. Все вышли из машины. Гном куда-то убежала, ты зашел в дом, который был чьим-то музеем. Тарас стоял и курил, а мы с мамкой вошли в большой русский дом, там было две двери, парадная и боковая, мы прошли в боковую. В большом холле стоит куча валенок, нам говорят, переодевайтесь все в валенки, в них можно будет и гулять, и по дому ходить, располагайтесь, скоро ужин...

Мы переобуваемся, я беру две пары и мама одну – и в валенках выходим на улицу.

Одну пару даю Тарасу, другую Гному, а ты в этот момент выходишь из того музея, куртка в руке, синий свитер и шапочка, мама говорит, надень куртку, простудишься, и дает тебе валенки.

Короче, все в валенках входят в дом.

И я понимаю, что у меня в руке еще одна пара валенок, вы спрашиваете – кому? Я говорю – папе. И начинаю ходить по дому и звать его. Папа, папа, ты где, я валенки принесла! А дом с высоким потолком, а наверху огромные балки и потом сразу крыша, это как бы все видно, потолка как такового нет, балки и крыша сверху.

И тут поверх этих балок голос – я тут, вы что, меня ищите?

Я такая – о, нашла, сейчас принесу тебе валенки. И у стены деревянная лестница, чтобы залезть на балки. Я залезла, вы все внизу сидите за столом и смотрите вверх.

Я залезаю на балку, отдаю валенки, он их вроде надевает и говорит: давай качаться на качелях! И балка, на которой мы сидим, становится сиденьем качелей, но при этом нет ни веревок, ни палок, как у обычных качелей, балка сама по себе немного прогнулась и стала качелями, капец, короче, какой-то...

И мы с ним качаемся и каждый раз пролетаем очень низко над накрытым столом, практически чуть не задевая еду этой балкой, поэтому мне приходится все время держать ноги прямыми, чтобы не задеть стол.

Дальше два кадра.

Пролетая над столом, я вижу огромную синюю вазу. Она состоит из трех ракушек-блюдов. Синее стекло, ребристое. Первое блюдо плоское, сантиметров семьдесят в радиусе, на блюде, немного не по центру, стоит салатница размером раза в два меньше, и внутри салатницы еще одна, поменьше, а все это вместе имеет вид морской раковины. Так вот, раз пять пролетая над столом, я каждый раз говорю вам: «Бля, если бы кто показал мне эту чудовищную штуку раньше, я разбила бы ее об стену, но сейчас, сверху, мне так она нравится, что я хочу такую домой!» И еще – на стене висит огромная тарелка, синяя, как ваза, только плоская и с волнистыми краями, метр на метр примерно.

В очередной раз летя сверху вниз, я замечаю, что в дальнем правом углу комнаты в кресле сидит Юрка, перед ним на одной длинной ножке стоит столик (помнишь, у нас в детстве был

торшер, и под ним – на его же ножке – столик? Такой неровный овал, с одной стороны шире, чем с другой). А тут только ножка и на ней столик, на нем подсвечник с горящей свечой – почти на самом краю. И за секунду до того, как подсвечник соберется упасть, я кричу: «Юрка! Свеча!» – и он успевает ее подвинуть!

Вы все продолжаете молча сидеть и есть.

Вдруг Тарас говорит – хорош качаться, иди есть, все холодное уже, и ты свалишь что-нибудь на пол...

Я говорю папе, ладно, давай слезай, нас зовут к столу.

Мы спускаемся, я всех вижу, а его нет, но он есть.

Стоят две рюмки. Я – не, не хочу, а то потом вдруг Тараса за рулем подменить, но тут вторую рюмку берет рука, и голос: а я выпью, мне же за руль не садиться...

В этот момент у меня в голове начинается дикий шум! Дрель, пила, арматурина скрипит, и еще колокольчики звенят, все это дает ужасно высокий и звонкий звук, я вроде уже проснулась и собираюсь встать, но при этом думаю – соседи вконец охренели, как можно посреди ночи все это делать?! Надо выяснить, кто это! Почему их никто в доме не остановит? Пытаюсь проснуться и просыпаюсь.

Занавес.

В самолете разносили суп, стюардесса не заострила внимания пассажиров на том, что до конца трапезы надо сидеть, выпрямив спину. Пассажир спереди об этом забыл. Он, доев свой суп или же с миской в руках, откинулся назад, и горячий жирный бульон вылился отцу – который определенно ел медленнее всех в салоне – прямо на живот. Место ожога долго не заживало, кожа начала шелушиться. Данное обстоятельство несколько отравляло безумно увлекательную в целом командировку.

Встречают Юрий Иванович, Женя, Андроник. Светло-серая двадцатьчетверка, вся лоснится, свежая. Служебная, личная? Самара-городок! За рулем Юра, рядом Андроник. Отцов чемоданчик Женя затаскивает на середину заднего сиденья, сам садится слева, отец справа, вперехлест с водителем. Хорошо помню его нефтяной запах, усиливающийся на жаре. Запах был особым и возникал, когда отец пребывал в состоянии полного покоя, к примеру, во время летнего дневного сна в прохладной бабушкиной комнате. Меня – до не помню какого класса – укладывали рядом, а я не засыпал бок о бок с этим превращенным сном в незнакомого мне марсианина человека. «Волга» трогается, слышу ауру успокоения и доверия, это друзья, он с любящими и надежными. Узкой дамбой в обход города летят, летят, лесостепь с обеих сторон и разные регионы родины, делятся краткими заметками о предстоящей операции, мост через приток великой реки шириной со среднюю Оку, справа поезд идет над водой, а мы быстрее, и вновь заборы и лесостепь – а Енисей когда будет? – будет, будет! – вот он и догнал нас, поезд-то – или это совсем другой состав, как зайчики поповского работника Балды? – под сто тридцать на спидометре, машину пошатывает, и уже хребты на горизонте, темная хвоя по сторонам. «Кем бы ты хотел работать, если бы не стал врачом?» – спросил я тогда, – «Наверно, автогонщиком», – ответил он. – «Как кто? Как Жан-Пьер Жабуиль?» – «Ну, наверное. Или как Ханну Миккола». – «Ралли?» – «Ралли!» Легковой автомобиль тем временем въезжает прямо в тайгу. Отец ни о чем не спрашивает, ралли так ралли.

Лесная дорога – две колеи, неглубокие. Видать, не так давно прошел грейдер. Он куда, интересно, ходил? Засыпано иглами, сучками, ветки по днищу поскребывают, тише едешь, дольше будешь, старая шутка, но не приедается. Все оживлены, будто сбросили оцепенение скорости. Юрий Иванович поглядывает на шикарные часы на запястье. Мы за чем-то торопимся? Не торопимся зачем? Пять минут, десять – два, от силы три километра. Свод леса вобрал в себя, как вбирает мушку антикварный абажур в старой квартире или рыбежку – коралловый риф в «Клубе кинопутешествий». Трепет благоговения нисходит в салон, в то же время столпы древесно-

го храма кажутся бестрепетными. «Гемосорбция, – напряженно шутит Женя. – Очистка крови ультрафиолетом». Тихий тон шебуршения шин о подстилку взрезает милицейская сирена. Все явно востроно взирают. Андроник зачем-то прикрывает голову руками. Юра резко по тормозам – тормоза хороши. Отец вспоминает о двух «кирпичах», увиденных на съезде и чуть дальше, на первом пересечении с трассой лесовозов, тяжелой унылой впадиной, чуть подскобленной грейдером к перекрестку. Никто не оглядывается. В зеркалах виден желто-синий уазик с маячком. Сирена смолкает. Двое, на ходу надевая фуражки – голубая рубашка, темный галстук, – многозначительно в окна: тук-тук. Вылезай-ка, зайка. Ну, вылезаем. Два шага назад, руки на кобуре. Стоять! Руки на машину? Нет, руки не на машину. Свободно руки, Женя в карман засунул. Представь себе Юр Иваныча, с его часами, с руками на машине. Обратни в погонах? По-настоящему испугаться никто, похоже, не успеает. До прожилок, до костного мозга, далеких страхов детства. Слишком величава тайга... А страхов и без того много, держат баланс, балласт. Они – засыпка. Арматура. «Водитель, откройте багажник. Медленно». Медленно минуя Женю, медленно открывает багажник Юрий Иванович, отходит вбок, отец не понимает выражения лиц, странные лица у них, да, неприятно, но... – тут один из синих нагибается под крышку (погоны – капитан) и достает оттуда двустолку. Переламывает, проверяя патроны. Отец не понимает в оружии. Ружье так ружье, тайга ведь. «Пройдем». Народ оживает вновь, Андроник трогает отца за плечо. Валко бредет к уазу, тот, что с ружьем, пропускает их, глядя в землю. Второй обгоняет, забывая о незащищенной спине. Да ему плевать: кряжист, дубоват – майор. Дела! О чем сейчас думает отец? Что, если обо мне? О сестре, скорее всего. Что он о ней думает? Так. Встали по-за уазиком в полукруг. Неужто вязать будут? Майор откидывает заднюю дверцу. Подмигивает. Жест. Приглашает в свой ад, что ли?

...Сзади за сиденьями.

Там, на розовой полиэтиленовой пленке, лежит мертвый освежаванный козел.

А уже отсмеявшись...

Обе машины скатываются к ручью, лесному. Друзья, это также друзья! Начальник райотдела и зам его. А это безусловно горный ручей, такой резвый. Пейзаж из уральских сказов, но и Ханну Миккола, гонщик, чувствовал бы себя в нем как дома. Хотя мы в двух с половиной тысячах от Свердловска и в тысячах пяти-шести от Хельсинки. Серебряное копытце вот-вот вскочит на замшелую крышу избушки над ручьем и натопаёт фонтан самоцветов. Над трубой курится дымок, из хатки выходит старик Кокованя, крепкий и не старый вовсе, держа в руках две выпотрошенных рыбины, брюшками к гостям. Кокованя идет к воде, на бережку из камней сложен очаг или жаровня, он кладет рыбу на решетку из тонкой арматуры, ополаскивает ладони в ручье, распрямляется и объявляет навстречу: «Пыжьян». – «Сиг, – уточняет Юрий Иванович. – Это сиг, Гриша». Пыжьян подает Жене руку, пожимает руку Юре, облапывает Андроника. Вблизи черты каждого лица малость подправлены азиатским скальпелем, но Андроника и Кокованю роднит нечто большее. Над мангалом теперь тоже дымок. Дом глядит на воду углом. С той стороны, что видна не сразу, под косым навесом накрывает стол Даренка лет тридцати. Новые друзья дотащили наконец козла до мангала и насаживают его на вертел, сваренный из тонких труб. Так все уютно и дружно, что сразу хочется дерябнуть. Я ощущаю зовущую как бы слюнку во рту отца, легкое приятное подсысывание – как подсказку, что скоро станет еще уютнее и еще дружнее. У Даренки малахитовый взгляд, но как бы слегка запавший, чуть горячечный, впалые скулы и слегка вздернутый нос; можно поговорить о губах, но к чему? Обветрены. Выцветший волос стелется туманом. «Помидоры, берите! – говорит она. – А, вы не знали? У нас тут котловина, и климат как в Италии. Но – летом. Декабристы сюда семена завезли и выращивать начали. Арбуз – соленый. Попробуете? А сладкое вот – виктория, томленая. Ай, и этого не знали? Земляничка... Аджичка у меня... Славная. Я, как рассадку на новую луну высаживаю, величальные прибаски сказываю. Хотите послушать? – И не

дожидаясь согласия: – Но... Помидорчик, помидорчик, мой синьорчик-луидорчик... Ты прекрасней всех вокруг, я горжусь тобой, мой друг! Ах, ты мой огурчик, стройненький фигурчик – я тебя сажаю, вот как уважаю...»

На этих словах майор прихрюкивает. «А мож' и гитара есть? Вы, Григорий, какие предпочитаете?» Майор подстраивает поданную Пыжьаном гитару, подшлепывает деку, струны, дурашливо распевается: «...У меня-я, у меня-я три желе-езны-е коня!» – и вдруг меняет лицо. Будто тень по воде или рука по глазам прошла – и нету прежнего.

На пяти ветрах приутих мой страх.
Ой-да, ой-да, ой –
неспроста...

Выйду погулять, уток пострелять.
Ой-да, ой-да, ой –
красота...

Утки воду пьют, песен не поют.
Ой-да, ой-да, ой –
немота...

Слова не скажу, узел завяжу.
Ой-да, ой-да, ой –
да с моста...

Вилы по воде, порох в бороде.
Ой-да, ой-да, ой –
суета...

И – тр-р-рямс по струнам.

Сконфуженный наставшей тишиной, более емкой, чем бывает тишина вообще как таковая, майор крепко откашливается... «Солнышко, – пользуясь паузой, докладывает отец, – лесное».

– Э-а... А э-а кого?

– Это Визбора вроде, – подсказывает Даренка.

– Ну да... – отец, смиренно.

– Ты скажи мне, Гриша, Визбор – еврей?

– Визбор, Саша, литовец, – отвечает Юра. – Помнишь, Ландсберг у тебя фамилию менял? Ты тоже думал, он еврей, а кокнули – Ландсбергис.

– Так я ж ничё. Литовцев не уважаю, факт. Затеяливые все шибко. А евреи – они господа нашего войско. Служилые. Сегодняшним днем живут, о завтра не думают, вся ноша-то на чужие плечи сложена...

– Эж, Саша, тебя занесло!

– Я ж ничё. Я – уважаю. Как солдаты. Добровольцы... дан приказ – ему на за-апад, ей в другую сторону-у... – пьяно рыкает майор. – Освежусь схожу-к'. Ик... За тебя я хоть на плаху, я держусь, и ты держись... ты держи меня, родная, за... ик!.. впереди у нас вся жизнь...

Андроник и его неотчетливо угадываемый соплеменник ставят на отполированный неокоренный спил казан с дымящимся мясом, взятым грубыми, сочными ломтями. Беседа распадается на части, словно абажур на капли-хрустальки, словно каждый из восьмерых разговаривает с рекой, пихтами, дымком из баньки под бесконечно высоким небом где-то в глубине опрокинутого колодца.

– ...Визбор, приехал к нам. Думала, сердцем пишет, а он умом, хитростью еще.

– Бор-р-рман, мать твою, солнышко ночное.

– Она – принцесса, платье, как годовые кольца у дерева, солнечные глаза, остров. В Эстонии это проще пареной репы, у них тысячи таких островов, я знаю, что нужно делать, но я-то не буду...

– Пел, ждите, говорит, я знала, что не вернется...

Женя неспешно встает и – выразительно при этом показывая: дескать, вспомнил! – совершает поход к багажнику легкового автомобиля, однако извлекает не ружье, а ящик с бутылками и, поиграв в солнечном луче пробкой с изображением триумфальной арки на пивном бочонке, вручает его по назначению.

– Пошли, Гришань, в баньку – пора!

Банька, видимо, финско-русская. В ней очень жарко и очень влажно. Нахоженная и насиженная, она представляет собой апофеоз сегодняшнего дня, изолированный рай, зал ожидания перед вступлением в нирвану. Сейчас на лавке четверо – пассажиры «Волги». «Сашка у нас из кержак-ков...» – тянет Юр Иваныч, и дружество погружается обратно в молчание, прерываемое удовлетворенными вздохами. Женя, как самый молодой, работает вениками. В какое-то мгновение отец не выдерживает и от общего счастья срывается на свежий воздух, чтобы навзничь плюхнуться в ручей, где он на миг – надеюсь, что лишь на миг, – теряет сознание. В настоящий момент я вижу в ручье, метров в двухстах ниже по течению, еще одного лежачего мужчину, с расквашенным лицом, или – попросту – с его отсутствием. Я вижу его в воде – отражение снесенного почти начисто лица, – поскольку лежит он животом в ручей, в позе столь же неловкой и неестественной, как у ободранного козла в багажнике милицейского УАЗа.

На следующий вечер – небольшой, так сказать, прием, организованный директором перчаточной фабрики, сделавшим реальной всю эту ошеломляющую командировку. Отец оформлен как мастер-наладчик вязального оборудования, больница позволить себе такое не смогла. Само-го директора вижу смутно. Лица двух женщин имеют налет нездешней если не красоты, то эфемерной изысканности. Наверное, как и помидоры, семена которых были завезены ссыльными с Западной Украины, то есть из тогдашней Польши. Сапоги-чулки, джемперы-лапша, замшевые юбки. Лица выказывают интерес. Еще несколько персонажей одеты в джинсовую ткань, хорошие башмаки, держатся надменно-расслабленно или же – переверну оптику – скованно-валяжно. На столиках – кроме уже початых и отставленных местных разносолов – абаканские пряники, томский мармелад, красноярский «Кара-Кум» в импортных вазах матового стекла цвета ультрамарин. Туристы пробуют из вежливости, придвигая хозяевам раскрытое польское «Пташьє молочко» и куйбышевское обсыпное «Раздольє». Столичная, в основном, профессура. Выступают на Западный Саян. Доктор Плотников развлекает их рассказами о героях своей молодости, бардах, поэтах. В городе Либава доктор знал некоего Арона Круппа, сына Якова из двинских евреев – впрочем, это Ротковиц был евреем двинским, а Круппы были евреями даугавпилскими. И этот Крупп кажется ему самым искренним трубадуром, трогательным и самым честным... не слышали? Запел он примерно к середине оттепели. Не настаиваю... Между прочим, тут у нас неподалеку и погиб... Нет, ну да... Нет... «Вы не считаете, что во вдохновении есть нечто священное? – полумечтательно, полупрезрительно сузив глаза, закуривает пахучую сигарету из бежевой пачки одна из туристок. – Мистичное, если использовать специальную терминологию. Высшее. Осознание того, что ты не такой, как все, что тебе позволено взлететь за пределы наших установленных норм и рамок?»

(Полуофициальные застолья сквозь туман моей памяти. Вечный цыпленок табака, сулугуни, дагестанский коньяк. Тамбовская ветчина, заливная рыба, само собой. Бывала черная икра, крабы тоже. На сегодня – кроме сулугуни – могу только вспоминать, что это такое.)

– Вы это о Раскольникове? Скажу вам как психиатр – маньяки тоже мистичны. Где сможете провести границу?

– ...Так проникновенно пел стервец; казалось, самое важное в мире – это сидеть и ждать, пока тебя не снимут с горного плато.

– Раскольников? Неожиданно, честно говоря. Но что-то здесь не так. Достоевский о другом, мне кажется.

– Достоевский, я уверена, не до конца постигал современность...

– Зато домашний дебош с кровопусканием, – вмешивается Женя, – он нисколько не мистический. Давеча даю наркоз одной бабенке с Комплекса, а у нее свежий порез на уровне таза. Спрашиваю – откуда, отвечает – муж подколол.

Доктор Плотников артистично снимает напряжение:

– Знал я одного певуна – тот ночами любил обгладываться с крыши. Выходил через дверь на пологий скат, и однажды – в тумане – не заметил, где крыша заканчивается...

– Техника безопасности, – отвлекается от своего кружка майор или капитан, точно не вижу. – Не ходи без касок, не лоби хакасок... Ну а чё такого? – в ответ на недовольный смешок: – Кругом стройки – и сифилис.

Разговор сам собой переходит на преступность. Народ у нас здесь душевный. Но случается всяко. Бывает, люди пропадают. Двинут в тайгу – да и не вернутся. А кто знает, может, надумали перебраться куда. Сменить, что называется, место жительства... Ищем, само собой...

В избранном кругу – доверительное.

– ...Есть одно специализированное учреждение. Не скажу, кого готовят, но я не об этом. Подчиняется напрямую... Нет, никто... И один, скажем так, преподаватель решил поделиться опытом, задумал выступить на краевой конференции. Хороший мужик, только чересчур восторженный. Святой, можно сказать. Как он туда попал, не очень понятно, видать, не предупредили его хорошенько, а может, завихрение какое в голове. Начальнику спецчасти с почты передали письмо, письменную заявку на выступление. Перехватили как? По обратному адресу... по списку, Мышин его фамилия, один он тут Мышин. Не Мишин. А начальник возьми и свози его в лагерь, по договоренности, как бы для обмена опытом, а тот, значит, увидел кое-что и с глузду съехал, да и подался в бега. «Прикинь, – начальник мне, – сколько ресурсов я трачу, чтобы они жили как в оранжерее? – Вот-вот... Хотелось бы понимания, конечно, мне тоже, но для дела важнее долг». А я, мол, ты заради долга не пощадишь ни себя, ни меня! Короче, если вдруг как-нибудь где-нибудь у вас там слухок пройдет или сам объявится... Ладно, помянем идиота.

– Его уже, что ли?

– А хрен его...

– А помните, у Блока – какой огромный плакат, какой огромный лоскут, – говорит там, вдали, доктор Плотников. – Хитрый Блок так написал, что читатель сочувствует тем, кто повесил плакат, и смеется над старухой. Поэтому его сразу и напечатали. Но я старухе сочувствую, а авторов плаката не ценю. И не смотрите так, дальше не пошлют...

В этот момент я вздрагиваю – не из-за Блока, конечно. Я вспоминаю мужчину без лица, лежащего в ручье, и напрягаюсь.

После подобного я, обычно уже на следующее утро, принимаю в оздоровительных целях какую-либо из маминих историй. Именно мама, пусть скупно, но рассказывала мне о своем детстве, о моем детстве, нашем с сестрой общем детстве и так далее. Допустим, про оттепель, закончившуюся с рождением меня.

– Оттепель? Этого слова я не знала. Впервые услышала от сам знаешь кого, но значения не придала. Он как-то в разговоре с С. Г., который уже был дома, сказал, что читал «Оттепель». Это слово прошло мимо ушей. Когда это было, я не помню. У нас в памяти была только смерть Ста-

лина. Линейка, все плакали, собирались на похороны, но меня не пустили. Но точно помню, что я и не хотела. Почему – не знаю.

После тех страстей на его похоронах все быстро подзабылось, и жизнь пошла своим чередом. У нас была однообразно убогая жизнь (я так думаю). Хотя помню лишь хорошее. Интересно, что в школе тоже никто ничего не говорил. Я это подтвердила в разговоре с Юрой. Он даже с трудом вспомнил слово «оттепель», хоть он и в своем уме. Впервые мне рассказал про своего папу, который уехал работать на Север, но причину он узнал много позже: поехал сам, чтобы не отослал.

Как и почему я и Юра не помним оттепели – думаю, что мы не помнили и «зимы». У нас дома, во дворе, в школе, среди наших ребят никто ничего не знал. Если старшие и знали что-то, то ничего не обсуждали. А уже начав читать, узнавать... В дальнейшем все это ощущалось не через призму пережитого – мы зимы не переживали. Мы – это я и мои сверстники на Пресне. Первый раз я услышала, что в стране что-то изменилось, когда приехали родственники из Америки, когда прошел симпозиум. Я думала, что это также в порядке вещей, так должно быть, такая у нас хорошая гостеприимная страна. Думаю, все было от глупости и серости нашего пресненского содружества. Есть и другой вариант. Может быть, кто-то из знакомых ребят знал, понимал, переживал – Гриша, например, – но они молчали. А вот когда приехали, я стала иногда прислушиваться к разговору, тихому, шепотом: «надолго ли», «как ты, Серж, смог пережить», «как теперь твоя работа», «может, вернут квартиру» (какую – я, конечно, не понимала), «как дальше». Вопросы робкие, их было мало – при мне, – но и они до меня не доходили толком.

С Гришей мы об этом вообще не разговаривали. Приехали родственники, богатые, знаменитые, привезли всего и много, одели нас, вывели на симпозиум, где мы болтались целый день, красиво одетые, сытые. Мне всё в радость, но Гриша ничего не рассказывал. Дома тоже. Даже не очень спрашивали нас о том, где были и что видели. А поскольку мы уже расписались, все подарки принимались как должное. Да и жизнь была жутко тяжелая и запутанная. Расписались, свадьба, учеба, жить негде и не на что. Но все стало как-то лучше. Еще могу сказать, что когда решили расписаться, папа и мама особенно не были рады, но не отговаривали. Мне тогда впервые очень коротко объяснили, где был С. Г., что это была ошибка, но о «жуткой зиме» никто не говорил.

Даже когда мы стали бегать на сборища молодежи к памятнику Маяковского, где читали стихи молодые поэты, я не понимала, что это – оттепель. Общее молчание дома и вокруг меня не будили во мне желания узнать какую-то правду о тех временах. Не знали зимы, не знали оттепели! Интересно, что когда все опять стало идти к «зиме», эти так часто повторявшиеся слова – ну вот, всё сначала... – наверное, и заставили меня обратиться к прошлому, вспомнить тихую, плачущую незаметно В. В., ночное печатанье на машинке, поездки с книгами к странному знакомому, закрывание дверей, приход тихой приятельницы, какие-то письма, очень скудные воспоминания Гриши о голоде, холоде и одиночестве. Он так всего и не рассказал. А я, когда дотумкала до всего, то и не спрашивала.

Не было у нас оттепели на Пресне.

Будучи статистически ближе к концу жизни, нежели к ее началу, четко отдаю себе отчет в том, что я (тоже) никогда ничего не знал. Простейшие вещи, которые иной знал, казалось, с рождения или постигал из воздуха – до них мне приходилось докапываться с огромным трудом, чаще всего мозговым. Мне даже хотелось нарисовать такую картинку – в пустом вагоне ночного метро сидит человек. Мы видим его сквозь большие окна, стоя на платформе. Он совершенно один – по крайней мере, прочие пассажиры сидят вдалеке от него. Он снял с шеи свою голову и держит ее на коленях: та устала за день и отдыхает. Он смотрит на нее с нежностью. Она – и только она ведет его по жизни, помогая там, где другие справляются руками, сердцами, чувствами (один проблемный вопрос – чем он на нее смотрит?). Я, к сожалению, его так и не нарисовал, но это сделал мой тогдашний друг и одноклассник, построивший после школы могучую терапевтическую карьеру.

Кроме того, мне фактически никто никогда ничего не говорил...

На следующий день майор зайдет в единственное в городе кафе, где подают зарип: густой бульон, заправленный мукой и сметаной, как соус, а в нем – пельмешки размером с ноготь большого пальца из вяленого мяса и сушеных ягод. Свободных столов в кафе не найдется, и он сядет за уже занятый. Напротив него окажется человек примечательной внешности, но это если присматриваться. А на самом деле внешность у него такова, что – ради сохранения собственного душевного покоя – присмотреться и не захочется. Людей подобного типа в здешних краях зовут «бичами». Бич, сидящий против майора, поведает примерно следующее. Да что темнить – ровным счетом следующее.

– Мужики в сушильню зашли с обеда, а тама бункер заподлицо с полом, и в нем ядро на масло скапливается, полубрак то есть, с подгнильдой, но уже без пленки, так вот, и он там на карачках стоит, пастью в орех всунулся и как мышь его перемальвает... Оголодал, почитай? А Кузьма подкрался так и лопату взял совковую, ну, она к патрубку прислонена стояла, мы думали, он пошутит, а он с размаху-то и в висок. Но этот крепкий, видать, был, в бункер рухнул, на спину, а сам шевелится. «Мужики, – мычит, – мужики!». А мужики – они на зоне мужики. Кузьма ему: «Ты кто?» – говорит и добавляет немного, а тот в ответ «Мыш-мыш-мыш», – уже не выговорит. Ну, Кузьма ему в пасть раззявленную орехов как сыпанет! Пасть черна от крови, а Кузя еще – ешь, мол, жри, давься! И плашмя... И еще – да чё такое на мужика нашло? Зарыл, чисто похоронил. Никто ни словечка, дебилы наши как-то сами подсустились, за ноги вытащили и повлекли по полу, куда – и не скажу. А пол жидовочка замыла.

Мне отчего-то позарез нужно было обо всем этом рассказать. Но как? Придумать один центральный персонаж? Тогда откуда мне это все известно? Я мог бы назначить обобщающим персонажем себя. Как бы меня тогда звали? Вася Брянский, Вова Якут, Зюп, Греча... Себя – героем? И меня будут звать Герман Греча? Ант Плошкин? Подруга Хасл? Пуга? Брыга? Буратино? Рики-Тики-Таки-жрет-колеса-как-бигмаки? Пацан с пятиэтажек? Буду ли я исполнен трагизма в стиле: «И когда я уже завязал, они снова меня туда втащили»? Я ведь должен быть трагичен – потому что трудно не быть трагичным, если твое большое воображение начинает писать (ударение на любой слог) романы о другой части воображения.

Человеческое достоинство в русском понимании конвенционально. Оно зависит от определенных условий, положений, статусов, судеб – возможно, свершений. Французы и финны, те же вон чехи и поляки сумели прийти к пониманию достоинства как абсолюта. Когда-то. Некогда. Раньше. Давно. Чтобы не заблудиться, будемте мыслить достоинство как некую неразделенность меня и меня – или наоборот: если тебя циркулярной пилой режут на части, лучше самому превентивно распастся на подробности и прошмыгнуть между ногами топчущих – меж их pinaющих ног, – чтобы после склеиться за пределами галактики слез и унижений.

– Мышь... мышь... мышь... мышь...

Евгений МАЛЯКИН

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСЕНКА

Алексею Голицыну
«...и снег идет с двенадцати сторон...»

Единственный голос бога, говорят, тишина
– тишина, когда убивает себя страна
и нет ничего, чтоб под горку катилось горе,
мертвая зыбь, горы соли на мертвом море
горы боли, когда – ничья или всех вина.

Единственный голос смерти, говорят, смех
– смех, когда мыши хоронят льва и поют песни,
падает снег в тиши, все убивают всех,
а единственный голос бога – исчезнет

падая вверх памятью
из-под бездн и глыб
с пристани венецианской плывя рекой
а не лагуной, корабликом среди рыб
память закрой на лбу ледяной рукой

и параллельно нам этот мрак живёт
тело таит там, где вечный покой
где продолжается черного неба гнёт
и облака стоят неживой строкой

так и стоят словами о том, что нас
больше не будет,
что ныне дни сочтены
что на Земле люди
в последний раз
видят Господнее это око луны

Евгений Малякин родился в 1964 году в Саратове. Закончил филологический факультет СГУ. Книги стихов: «Избранное из двух книг» (Саратов: «Контрапункт», 1997); «Стороны света» (Саратов: «Музыка и быт», 2024) Публиковался в журналах «Волга» и «Последний экземпляр». Журналист. Живет в Кисловодске.

мы никогда не ходили с тобой
тайными тропами
кустами этими, полными пыли...
мы никогда с тобой рядом не были
и всегда с тобой рядом были

я не видел море твое душицы, клевера
море судьбы твоей, смерти, ожидаемой,
неожиданной, как боль и вера твоя
и книга твоя неизданная

не избирательно с главной башни бьет
главное это оружие – помнишь, Гамлет,
как постоянно с детства над нами каплет?
как этот тигр нитку с бумажкой рвет?

да и кораблик с пристани не уйдёт
время пробьет облако чёрным светом
как поцелуй на лбу будет лежать лёд
снег на полях будет лежать летом

Эта страна протечёт
вместе с рекой времён
– так говорил Державин
много ли мы после себя оставим
много ли скажет о яви дурной сон?

Общей судьбы общего горя звон
звуки трубы – отклик ватного неба –
где ты в России ни был – везде ты в России не был
и непрерывный снег с четырнадцати сторон

февраль-май 2025 г.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Дремлет в порванном чулке
Луковица золотая.
Рыба плавает в реке,
Над рекой сова летает.

Рыба, словно это мышь,
От неё нырнула в норку.
На снегу следы от лыж,
И река воняет хлоркой.

Даль по-прежнему темна,
Зарастают сорняками
Окна. Серая стена
Не меняется веками,

Смотрит на тебя в упор,
Не даёт закончить фразу,
Словно это тот забор
Из известного рассказа.

В левом углу в синих трусах,
Кухня ведь тоже боксерский ринг,
Сидит особенный человек,
Утром вставший не с той ноги.

Чайник вскипел, колбаса и хлеб.
Господи, подари ему
Самый обыкновенный день
С полднем рабочим, вечерним чаем.

Сила не в комсомольской правде,
Незачем всюду искать друзей,
Чтобы потом заслужить покой,
Выключив ночью в уборной свет –

Алексей Александров родился в 1968 году в городе Александров Владимирской области. Окончил физико-математическую школу и физфак Саратовского университета. Публиковался в журналах «Волга», «Воздух», «Знамя», «Урал», «Новый Берег» и др. Редактор отдела поэзии журнала «Волга». Автор нескольких книг стихотворений, в том числе «Настоящее имя реки» («Стеклограф», 2024). Живёт в Саратове.

Надо как бабочка танцевать
Возле того, кто бесцельно машет
Многопудовыми каменными кулаками,
Словно пытается снег поймать.

Одежда – то, что надевают.
Спасибо, что надежда есть.
Вода в бутылке дождевая,
Не то что ода в чью-то честь.

Умнее день, а ночь глупа,
Мурашки ползают по коже.
Червь тоже с облака упал,
Оно на яблоко похоже.

И миллионы лет назад
На ветке зрело это чудо,
И мы не покидали сад,
Не выгоняли нас оттуда.

Видно, как воздушные замки
Лихорадочно достраивают и латают.
Но они всё равно медленно тают,
Покрываются трещинами с изнанки.

Сыплется с них пыльца золотая,
Проливается, словно вино из банки,
Мёд тягучего времени и застывает,
Только так и не зарастает ранка.

Небеса заполняются новосёлами,
Вот они уже расставляют столы и стулья.
Птицы нам с земли кажутся пчёлами,
Там у них, наверное, улы.

Не дом кино, а дым кино –
В пылинках серебристых воздух,
Луч света в тёмном царстве, но
Легко тебе как в девяностых.

Возможно, всё – игра теней,
И буквы ничего не значат.
Почти что ничего, верней
Всё – дым, или кино иначе.

По дороге с облаками
Ждёт нас банька с пауками,
Прорубь у крыльца парной,
Звёзды, холод неземной.

Раньше пах ты хуже скунса,
Но очистится душа,
Если в речку окунулся
И на полке полежал

Книгой никому ненужной.
Жалоб, заявлений нет.
Жарко в темноте и душно,
Дальше – тишина и свет.

Облака чернее тучи,
Лужи сохнут в душевой.
Видишь звёзд глаза паучьи,
Словно ты ещё живой.

Внизу задумчиво ходит сторож с ружьём,
А кто-то летит на воздушном шаре.
И дождь начинает начинаться.

В общем не так уж и нужен мёд,
Как из-под него пустой горшок,
В который можно посадить цветок.

Революция – это время рассерженных пчёл,
А дождь вслух отсчитывает его,
И кажется – каждую каплю учёл.

У каждого своя война
Идёт в уставшей голове.
И не твоя ли в том вина,
Что не успел и не сумел,

А поражение от победы
Ты сам не должен отличать?
Зачем тогда дымят заводы
И синяя стоит печать?

Но за стеклянную стеною,
Которая ещё цела,
Сирены Одиссею воеют,
Поют про странные дела.

Как будто вырвался из плена
Какой-то монстр из темноты
Альтернативной нам Вселенной,
А это в дом вернулся ты.

Союз молодых авиаторов
Готовит нам творческий вечер.
Он любит талантливых авторов,
Встречает огнём и картечью,

Ну, то есть конфетами с чаем,
Вживую не то что на сайте.
Теперь, говорит, полетайте.
И мы вдохновенно летаем,

И чертим подобье парабол,
Как будто мы выпили зелья.
Не хочется нам, но пора бы
С небес возвратиться на землю,

Где хлопают нас по плечу
И тут же о нас забывают.
Лечу, ты кричишь им, лечу!
Они отвечают: бывает.

Бедные пресмыкающиеся,
Трудно вам пресмыкаться.
Вам бы давно раскаяться,
Сразу во всём признаться.

Глупые вы рептилии,
Ящерицы и гады,

Вас бы давно простили,
Вам повиниться надо.

Медленно вы подползаете,
Смотрите не мигая,
Всё-то вы понимаете,
Жизнь-то теперь другая.

Всё вертится вокруг смешного смысла,
Как мотыльки у лампы, обжигаясь.
Возможно, гибель он и есть,
А может быть, полночный хоровод.

Круги сужаются, как будто возвратился
Тот камень брошенный из медленной реки,
И рыбы обо всём поговорили,
И стрелки на часах показывают север.

В той точке, где совпали зима и лето,
Где носят поголовно все не белые одежды,
Ведь минус – это то же ожидание
С большой земли прихода корабля.

Счастливым человек весь светится,
Он проглотил сегодня лампочку.
И стрелки у часов не вертятся,
И небо зашивают ласточки.

Таблетки словно батарейки.
Все несчастливые похожи,
И летний дождь течёт из лейки,
И время на часах всё то же.

Каких ещё нам ждать знамений?
Но с каждым днём темнеет позже –
Так может, лампочку заменим
И ласточке с шитьём поможем?

Эскадрон летучих обезьян,
А в другой реальности – гусары.

Инь не может победить без ян,
Терминатор всюду ищет Сару.

Рыбы спят, в чужом обнявшись сне,
Снег идёт в провинции дремучей.
Дело тихо движется к весне,
Грозовые собирая тучи.

Сабля блещет, палец над курком –
Замерли в сомненьях постоянных.
Невозможно ни о чём другом,
Кроме как об этих обезьянах.

Жёлтая бочка, мокрая сдача,
Бидончик с резинкой на горлышке.
Едешь с дачи, выпей стаканчик.

Саженцы держатся за колышки.
Гуси-лебеди на Соколовой горе.
Загорелый чёрно-белый мальчик.

Подсыхает лужа в виде копытца.
Мы однажды вернёмся, чтобы напиться
Чистой родниковой воды,
В густой черёмуховый дым.

ГОЛИПЭ

Рассказ

В тот день Катерина так и не доехала до меня. А через два я лег в больницу. Завешание не оставил, но код от банковской карты на всякий случай сообщил товарищу, мало ли. Я мог лечь в отдельную палату, за деньги, но захотелось к народу. Одинокая холостяцкая жизнь достала, нужна была смена обстановки, новые люди и впечатления. Это все хорошо, но где я буду курить, ведь в больницах курить запрещено?

Я сдал на спецхранение куртку, ботинки, шарф, шапочку, и прежняя жизнь стала уходить у меня из-под ног: обратно дороги нет. И еще для пары человек дороги назад не стало, мы поступили в распоряжение сопровождающей.

Поднялись на этаж. На этаже ждала лифт не совсем обычная каталка. На ней возвышался прямоугольный короб под синей материей. Чего непонятного, это вывозили покойника. Чернокожий медбрат метнулся к соседнему лифту нажать кнопку вызова. За каталкой с покойником стояла другая, на ней лежал человек, которого везли на операцию. Образовалась очередь. Мужчину ничто не отвлекало от созерцания над собой потолка. Я же мысленно еще раз пробежался по своей квартире: закрыл ли балкон, окна, выключил ли газ и воду в стояке. Все сделал. От сердца отлегло.

Мои документы легли на ресепшн. И вскоре меня приняли не на работу, но в пациенты. Прощай, гражданская жизнь! Дело за малым – дожидаться свободной койки.

Жизнь – это короткий период размножения, путь от отчаянья к восторгу. На этой дистанции свободный и дикий человек поклоняется, прежде всего, Богине волн. «Кыс-кыс-кыс, – позвала она. – Садись и жди, пока заправят постель. И забудь, что ты был мачо, не пригодится». Я понял это как намек избавиться от бутылки вина, которую прихватил с собой. Но я забыл штопор. Тут я возразил Богине волн: «Бывших альфа-самцов не бывает, я до сих пор открываю бутылки указательным пальцем». Из палаты напротив туалета вышла сестричка, она везла тележку с лекарствами и еще с чем-то. Увидела меня и сказала: «Сейчас я к вам приеду». Я растерялся, позабывшись, где нахожусь. «Но у меня нет еще своей постели», – сказал я. «Будет», – обнадежила она. Она сказала, что я – вновь поступивший, а вновь поступившим в первую очередь надо сдать кровь. И так улыбнулась, что стало хорошо-хорошо. Такие они, современные вампиры. Они работают в больницах. Побольше бы таких юных вампирш, с безупречными формами, чистенькими, как накрахмаленная скатерть.

Дурак занимает мало места. Ему не грозит стать взрослым, а потому он никогда не станет сосудистым хирургом, подумалось мне. Я отвернулся, когда игла шприца вот-вот должна была войти в вену. Я даже медсестрой не стану, то есть медбратом. И таблетки раскладывать не мое призвание. Вдруг ошибусь! Подумать страшно, какие могут быть последствия.

Между тем, сдав кровь прямо в коридоре, пока суд да дело, я уединился в туалете. У меня отдельная кабина с видом на улицу. Закрыл крышку унитаза и сел. «За тех, кто в море», – был мой первый тост. Выпил, пардон, из горла и закурил. Богиня волн не заставила себя долго ждать.

Не наговорить бы лишнего, хотя море стало заметно мелеть и грозило стать по колено. Таких рыб, каких ловил я, никто не ловил. Стал милее пейзаж за окном: пара сосен и вертолетная

площадка. На душе стало светать. Всякого человека рано или поздно прибывает к берегу. Вот и я не стал исключением. Тишина вдруг наступила такая, что было слышно до Владика. Мир – это интимность во время цунами. Что меня ждет? Операция? Операция тоже. Но главное, меня ждут пирушки, хождения за моря, походы, чужие свадьбы и похороны, рождение детей... Я вместе с москвичами сел на чемодан перед отъездом. Не уехали сегодня, уедем завтра. Место луне на небе. Всякий лунатик об этом знает. Ее расписание он носит не в кармане пиджака или рубашки, а в сердце. Знал я одного такого. Он копил на квартиру, но деньги у него украли. Он так и не выбрался из однушки. Это к слову.

Стансы

По вечерам здесь делать нечего, разве перекинуться в подкидного, только не с кем. Или поплакать, если есть о чем, никто не увидит. Если не о чем, то наплакаться впрок. Или от нечего делать поучить названия лекарств. Чтобы потом забыть. Я не рожден для латыни.

Много лет я не был здесь. Много лет я никак не повзрелею. Коплю годы, сам не знаю зачем, а повзрелесть не получается. Жду у моря погоды. Море волнуется – раз, море волнуется – два, море волнуеться – три. Морская фигура замри. Никто так и не угадал, что я изображал воду.

Будет так: годы, скопившись, материализуются в толстяка, тот прыгнет на подкидную доску, и с другого ее конца в воздух взлетит их обладатель. До этого он ни о чем таком и не думал и мирно обедал. Но каким-то образом умудрится прихватить с собой котлету.

Летом сюда приезжать не стоит. Сюда надо приезжать в конце ноября. Дожди, стыло, последние листочки летят по небу, такому серому, хоть в гроб ложись. В такую погоду хорошо взростеется. Невольно ссутулишься, ругая себя, что не взял перчатки, забыл и шарф, теплые носки с подогревом. Сигарет не купишь. Человека не встретишь. Рыбалка – пустое. Справки о судимости нет. А ее никто и не спрашивает. От холода и тоски звезды на небе не светят. Зато можно взять чернильную ручку и наперекор всему написать письмо. Только адресат выбыл. С другим адресатом та же история. А третий тебя уже не вспомнит, хоть обнищай. Смириться с этим и есть стать взрослым. Ну тогда я давно взрослый, лет этак с шести, когда понял, что смертен. Смертен, но при этом живой! В те поры чуткая детская душа охотно шла на поводу у художественного бесчинства. Из каждой щели, из любого сочетания несочетаемого сочилась его пропаганда.

Здесь можно спиться. Но я не пью виски. Правда, вернувшись с прогулки, махнешь стопочку на радостях, что довелось увидеть зайца. Что было бы со мной, если бы я увидел лисицу или кабана. Хорошо, что они здесь не водятся.

Путь не близкий. На дорожку следовало бы прилечь. Но я все стоял и ждал. В такие минуты подыскиваешь слово, которым можно было бы все назвать. Им оказалось слово «espresso». В его сторону и надо выдвинуться. В дороге встретить врача, чтоб погадал по руке или на водице из лужи. Как знать, может, он даст совет, как повзрелесть. Может, выпишет чего. Дальше подняться на лифте...

Не каждый может позволить себе стоять и ждать, ждать и ехать. Знание зарубежного языка не обязательно. Не познавшим благодать просьба не беспокоить. Коллективные заявки не рассматриваются. Быть красивым обязательно. Таблетки с собой не брать, не пригодятся. И не рыпаться. Количество Бога не считаешь, взвесив Его не купишь, только оптом и Всего.

Я стоял и ждал. Ночь была пуста. Сколько места освободилось, места и времени. На дорожку надо прилечь. Все шло к тому, чтобы прилечь под забором и не маячить, не мешать самому себе продолжать стоять. Надо хорошенько все обдумать, сделать УЗИ, ЭКГ. Без спешки, себе в удовольствие составить духовное завещание, мало ли. Ближе к утру накопать червей соседу. В конце концов, составить план, как повзрелесть, и жить по пунктам.

И я поехал, помахав рукой себе подзаборному. А скоро пожалел, что отчалил. Щедра земля на кочки и выбоины. Экипаж трясло. Ничего лишнего: только ты и тряска. Умом слабел с каждым километром. Вот и подумалось: не сделать ли пирсинг?

Я стоял и ждал. Никого. Это снаружи. Внутри же что-то теплится, даже толкалось, как младенец в утробе. Так толкался и я когда-то у мамы в животе.

Здесь убьют, там прибудет. Потому и хочется человеку сняться с места, без особых усилий прибавить себя. Возможно, себя вычистить. Или просто навестить родственников. Я же хочу убыть, чтобы повзрослеть, зашторить окна и выдохнуть: вот она взрослость, наконец-то ты муж.

– Курносая ты моя, – услышал я, когда вошел в палату. – Солнце мое, обожаю тебя. Я тебя любить буду. ...Что? И это делать буду. Боженька не увидит. Мне бы только рядом с тобою быть. ...Что? Я тебя пятнадцатилетней помню. Это уже до гробовой доски, курочка моя. Ты у меня Дюймовочка. Ты у меня цветешь, как майская роза. Хорошо-то как... На завтрак была гречка с молоком.

Человек в наушниках разговаривал с любимой женой. Ему за семьдесят. Он покорила меня волей к жизни. Моя кровать оказалась рядом с его. Я переделался в домашнее и лег. Моисей попрощался с женой. Но слово за слово, и разговор побежал сначала: «Курносая ты моя, обожаю тебя...».

Хорошо на казенной постели. С первой минуты меня охватило чувством чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. А на вечер осталось полбутылки вина. Я обязательно ее допью! И если бы сейчас у меня попросили займы, я охотно бы дал, причем с любовью. В дверях показалась сестричка, взявшая у меня кровь в коридоре. Она катила впереди себя штатив с физраствором. На колбе я прочел свою фамилию, написанную черным фломастером. Она катила штатив к моей постели, я же не верил в это, что удостоился внимания молодой девушки. У меня было особенное чувство, что я угадал ее – в своей жизни она ждала именно меня, теперь и у нее все будет по-другому. Между нами обнаружилась тайна, мы не нарушим ее. Мы, конечно же, расстанемся, но знамя, поднятое нами среди ничего, никто не посмеет опустить. Богиня волн меня поддержала, ее воды смешались с водами физраствора. Я задремал так сладко, так по-детски, что были не страшны несчастья других людей. Это было время счастливой разлуки с ними. Виделись сугробы и мужики. Мой сосед справа сидел на стуле в изголовье своей постели, как будто ее сторожил, чтобы не заняли. Я попросил его меня разбудить, если усну, чтобы не пропустить обед. Он не отреагировал. Я еще не знал, что он с глушиной.

– Замерзла? – послышался голос Моисея. – Оденься. И вынь ключи из двери, а то Симочка не сможет открыть ее снаружи.

Обед. Как же все славно! Потому что продумано. Первое, второе, третье... Составлено меню и на вечер. И в завтрашнем дне, можно не сомневаться, о нем уже побеспокоились. За окнами солнечный день. Как же все правильно. Моя операция стоит 240 000, а ее сделают бесплатно. Мне хватило двух половников супа, одной котлеты и компота. Дома я ем два раза больше и все равно остаюсь голодным, а тут хоть и подумал о добавке, но понял, что она будет лишней.

Мы, дети Галактики, ели молча, сосредоточенно, как и полагается детям. Моисей первым закончил обед, отнес посуду на мойку и уже звонил домой. Завтра у него операция. После шести не есть, надо сбрить бороду, сделать клизму, доложил он своей курносой. Я где-то его видел. Я убедил себя, что видел его на лыжне солнечным днем. И Александра, соседа справа, я тоже где-то видел, где-то в коридорах института. И Валеру, пятого из нашей компании, где-то видел. То ли на уроках по НВП, то ли в армии.

Стансы

В детстве мне нравилось жалеть себя, маму, загубленную жизнь, больных голубей, околевающих на морозе синичек и воробьев. Иногда вдруг всплакнется прямо на дороге. Вернешься домой и закроешь с головой одеялом.

А вот мертвецы не вызывали слез. К ним было какое-то почтение. ...Старая ива у моста через тихую речку. Под ее пологом человек спрятался. Но его ноги в ботинках почему-то расположены над

водой мысками вниз. Да он повесился! Дальше – базар, народная сходка, приезд милиции. Соедянное этим человеком не умещалось в голове.

В лице дороги мы имеем дело с тем, что дальше тебя, в лице покойника – с тем, что больше. И есть чувственные объекты, вызывающие ощущение болезненности. В том же сонном голубе, часами сидевшем на одном месте, я жалел себя. Обед же за откидным столиком тумбочки вызывает чувство сиротства. Мы, обитатели палаты, – сироты, за ними не придут и не заберут домой родители. Мы в том возрасте, когда их срок вышел, их просто нет на свете. Все правильно. Все неизменно. Обед по расписанию.

*...И затерялись где-то голоса,
которые вчера ты только слышал.*

Впрочем, это не отражается на аппетите.

Не может быть, чтобы я не остался где-то в анналах лежащим на мешках пшеницы. Что тут добавить. Я собирал землянику в майку. Можно представить, какой кисель я носил на пузе, под майкой. И все равно было мало. Гречиха цвела. Козленок предлагал пободаться. Куры лежали на боку в своих ямках. Пьяный солдат на побывке. Он плачет. Плачет его женщина. Ну и я за компанию. Светло и хорошо сделается после.

Особое отношение было к груженным баржам. Они представлялись безлюдными, плывущими сами по себе – такие античные корабли, которые под разгрузку не встают. Невероятно – льет дождь, а они плывут! Плывущее железо внушало чувство Истории. Для нее, оказывается, необходимо наличие воды. И можно плыть против Истории, а можно по ее течению. Выйти, к примеру, на берег Волги или Миссисипи – оказаться перед лицом Истории. Речушки малой родины – ее дополнения, тихие рассказы с медленным течением, обязательно прозрачные.

Прозрачная история – как мы стали сиротами, пока стайка рыб держалась у поверхности воды в косых лучах, прорезающих толщу. За это время мы заметно повзрослели, пообедали и несем тарелки на мойку. Мы тоже умрем, как и наши родители, но пока поправляем здоровье. Умирать надо здоровым, во весь рост, с чистым носовым платком в кармане.

Я шел делать УЗИ и ЭКГ, как на праздник. Выйти в люди – всегда событие. Длинный переход в соседний корпус. В нем одно окно сменяло другое. Я имел дело с остановившимися кадрами и должен был отсмотреть кино новым способом – при помощи своих двоих. Мне не дано перемещаться со скоростью 16 кадров в секунду, и я отсмотрел эпизод в замедленной съемке. Он был о том, как с высоты второго этажа подо мной двое молодых людей везли на каталке прямоугольный короб под синей материей.

Кабинет узиста тонул в полумраке. Атмосфера, как в театре, нет, как в мавзолее. Из мавзолея я вышел живым.

Экэгистка, когда ставила на мое тело присоски, не поняла, почему я хихикаю. Я объяснил: боюсь щекотки, это – моя ахиллесова пята. И подумал: какие же мы доверчивые, чуть что, сразу раздеваемся и не требуем ничего взамен. Хотя правильно было бы, если экэгистка тоже разделась. Кто его знает, может быть, мы созданы друг для друга, и нас ждет Венеция. Уж там бы мы развернулись в узких переулках. Я бы купил ей тонкие лайковые перчатки. Потом мы бы расстались. Для нас не секрет, что счастье не вечно, и нечего тянуть. Увидев это кино, я двинулся в обратный путь. Я отнесся к расставанию с хрупкой экэгисткой философски: человек создан, чтобы терять.

Позвонила моя наставница: «Я хочу приехать к тебе помыть посуду». «Приезжай», – сказал я. И назвал новый адрес. Я сказал, что если она приедет, то мы не увидимся – в больнице карантин, и пообещал узнать, требуются ли здесь посудомойщицы, в этом случае мы могли бы видеться каждый день. Она возмутилась: «Я не хочу видеться каждый день!» И поздравила меня с днем рождения. «У меня в апреле». – «А сегодня разве не апрель!» – возмутилась она. Я ее разочаровал – на дворе февраль. Я понял, что она позвонила мне после общения с Богиней волн.

Возвращаясь в палату по длинному проспекту коридора, я повторялся. Но, черт возьми, повторяясь, мы создаем копии времени, они далеко не подделки, скорее даже наоборот – образцы. Так что возражения в подлинности или не-подлинности опыта не принимаются. На проспекте правостороннее движение. Пеших сменяют пациенты в инвалидных колясках, а также на каталках. Больные на каталках накрыты белыми простынями. Ходячие отличаются разной скоростью передвижения. У медработников она деловая. У зевак вроде меня прогулочная. У стариков с палочками скорость ниже прогулочной. Оживление на проспекте праздничным не назовешь, но солнце в окна шпарит. Наблюдалась молодежь в лице практикантов из медучилища. Им весело. В служебное время гиппократика этого не предусматривает, но витализм неубиваем. Это поэзия на диете, в смысле больно умной стала, а молодые девушки и парни являли собой любовь, красоту и вдохновение в одном флаконе. Связь поколений на проспекте представлена в полном объеме. Эх, не уберег я честь смолоду, и теперь вожу за собой сани, как неприкаянный, оставшись вечным женихом.

Так же оживленно было в коридоре приемного отделения. Сюда поступали с переломами, вывихами, сердечными и головными приступами, бытовыми травмами – молодые и старые. Та же картина, можно быть уверенным, была и вчера. И так каждый день: первичный осмотр – и на рентген или томографию. Молодоженам после бракосочетания следовало бы приезжать сюда, а уже после лететь на Ленинские горы и прочие популярные места. Озаботиться бережным отношением к своей божественной анатомии и поклясться никогда не попадать сюда, пить только витамины, водиться с хорошими людьми, кушать воздушные пирожные, тающие на небе. Но, черт, возьми, все может перевернуть случай, из того же ЗАГСа можно прямехонько угодить в это самое приемное отделение, как ни старайся уберечься от кирпича. Мысли об анатомии обратили меня к архитектуре. Уходя из приемного отделения, я задумал побывать в Венеции. Но для начала оказаться в каком-нибудь барачном захолустье с одним клубом.

Вернулся в палату. На месте Моисея лежал гладковыбритый человек. Я не сразу узнал в нем прежнего Моисея. Этот был моложе прежнего на десяток лет. У окна лежал под капельницей прооперированный утром Артур. Почему не сразу привезли? Дело в том, что операция на сонную артерию предусматривает постепенное восстановление давления и температуры тела, – после операции она чуть выше тридцати градусов, – поэтому человека кладут в палату интенсивной терапии на шесть-восемь часов и только потом переводят в общую палату. Для Артура все позади. Он дремлет и мнет в руке корку мандарина.

Наша команда – герои плутовского романа. А иначе как объяснить, что мы прикидываемся, будто не молодые, надев по такому случаю подобающие маски. Но врач, который пришел со мной знакомиться, не заметил подвоха. Или он играл в свою игру, подыгрывая мне? Но для этого надо быть циником, он же, тонкий и быстрый, с первой минуты произвел положительное впечатление: не циник. По сравнению с ним это я циник, с камнями за пазухой. Признаюсь, было желание снять маску. Но тогда разбирательств не оберешься. Использование фальшивых данных – это подлог, тянет на статью. Вся жизнь пойдет под откос: суд – приговор – Колыма. Или куда там высылают теперь? Но, может быть, там повзрослел бы, жизнь-то впереди, если раскроется мой истинный возраст.

Мы с врачом сидим за столом. Я слышу и не слышу моего собеседника: я где-то его видел. Обсуждаем предстоящую операцию, каков риск инсульта во время нее. Оказалось 2-3 процента. То есть послезавтра этот человек возьмет в руки скальпель и... Ему станет не до шуток, тогда как его пациент преспокойно будет поживать на операционном столе под общим наркозом. Моя вера в него безоговорочная: такой не зарежет. Я не сомневался, если попросить у него взаймы, он с охотой даст. Я еще подумал, что представляю собой прямой угол, а мой врач – биссектриса. В последний момент я обернулся арбузом, который он разрезал пополам. А все оттого такие глупые фантазии, что я не взрослый, к тому же одиночка. Одиночки – трагикомичное явление. Помню, однажды мама спросила меня, с кем я останусь дома, если не поеду со всеми? «С мухобойкой», – ответил я. Одиночки отличаются верностью. Когда все неверно, последнее слово останет-

ся за мной, и я скажу: «Все верно, господа, потому что мы идем по неверному пути, ё. Успокойтесь и запомните, есть неравенства, ограничивающие колебания в стохастических, то есть случайных процессах, что делает результат менее переменным». Одиночка остается верен течению реки, которого уже нет. Бывает такое – река пересохла. Но в память о ней он по-прежнему будет ходить на рыбалку, призывать платить речникам зарплату, как раньше. Мне хотелось обсудить с моим врачом и другие проблемы, но его ждали дела, он спешил.

– Курносая ты моя, полдник принесли. Представляешь, здесь говорят, что женщины делятся на лежачих и дающих. Как грубо.

Среди моих платонических женщин не было курносых.

Занавес.

Рабочие сцены начинают выбивать из него пыль. Она поднялась до облаков. Зритель негодует.

Я не хочу сказать, что театр умер. Я хочу сказать, что он еще не родился. Ломать копья – пустое.

Завтра надо снова сдать кровь. Дать имена вещам, побывать в роли Адама. Меня учили, что унижение преодолевается творчеством. Не отпускала картинка. Снегопад. Под окнами моего дома самосвалы целый день возили снег. А снега на улицах только прибавилось. Разве это не пример все того же творчества. Катерина нашла меня через много лет. В ту же копилку опыт. Получается, я был для нее платоническим мужчиной, я был ей нужен! Благоговейный ужас испытал я в тот день: она моя. И никаких фиговых листочков. Увидимся ли мы, если она так и не приехала?

Время ужина. За окном встала темень. В палате светло как днем.

Больница – дом физических страданий. Морально-волевые качества больному в помощь. Старик из соседней палаты потребовал грузинского вина. Он хочет обсудить особенности армянского – нет, не коньяка – языка. Его сиделка налила в пластмассовый стаканчик простой воды. Старик выпил и остался доволен данным сортом грузинского вина. Об особенностях армянского языка он пообещал рассказать после ужина. Старику 90. Он русский.

В своей жизни мы – туристы. Мой глуховатый сосед справа совершил экскурс в 59-й на американскую выставку в Сокольниках. Событие мирового масштаба. Но он так и не попробовал кока-колу, не досталось. Ее продавали в павильонах «Квас». Вместе с Александром и мы нырнули в 59-й и так же из него вынырнули. Вспомнили Олимпиаду все в той же Москве. Широко шагнув, мы не порвали штаны. Безлюдные улицы, финские джемы... Артур показал большой палец, участвуя в разговоре молча. Он отказался от ужина под предлогом, что хочет похудеть. За ночь-то вряд ли, а к утру проголодается. Моисей попросил меня взять его на рыбалку на Кольский. В обед я рассказал о своих былых подвигах, и не предполагая, что они могут в ком-то отозваться. Я сказал Моисею, чтобы собирался, завтра выезжаем. Но ему позвонила любимая жена. Разговор скомкался. Можно прогуляться.

Топография местности так себе: палата – коридор – туалет. Ну еще в холл у лифта можно сходить, там посидеть. По стенам висят репродукции классиков от Малевича до Айвазовского, вернее, наоборот. Куда без «Девятого вала»! В открытую дверь женской палаты подслушал разговор.

– Они никого не любят.

– Кто?

– Выдры. ...Не от курева у нас, девочки, блямбы на артериях, а от мучного.

Я привел себе примеры взрослых мужчин, не по годам взрослых, а по геологическому устройству: Толстой, Хемингуэй, Тургенев, Астафьев... Из моих знакомых в их ряд никто не попал. Они – вместе с ними и я – любопытные аквариумные рыбки. Получается, наша стихия вода, а не земля. Мы друг другу попутчики, окольцованные случаем на небесах. У нас боковые места.

«Копите свет, господа. Станьте батарейками», – был мой первый тост. Но так и не выпил. В свое время я не решился предложить Катерине стать натурщицей. Тогда я еще баловался ки-

стями и красками, покупал холсты, был последователем Матисса и отказался в рисунке от штриховки. И сейчас Катерина встала перед глазами во весь рост, поставив перед собой зонт острием вниз – о эта точка в полу! – объявив: «Я ухожу». Я вглядывался в этот эпизод еще и еще раз. Ничто не делает людей роднее, чем красивое прошлое. Она кинула в воду камешек, а круги разошлись во мне. Я вглядывался в то, как она повелевала. Рядом с Катериной нельзя было быть некрасивым. Больше я никогда не был таким красивым, как в тот момент, когда она сказала: «Я ухожу». Потому настаиваю на этом, что если бы было не так, то не врезалось бы в память на долгие годы, и круги от камешка не расходились бы до сих пор. ...Меня стало как-то больше. Я вгляделся в темноту над ореолом света от фонарного столба и разглядел на небе пару звездочек. В соседней кабине опорожнился человек, спустил за собой воду и зашаркал к выходу.

В свое время меня не стало вместе с отмененной страной. Я был за правых и за левых, но это ничего не могло изменить – нас вместе взятых отменили. Всеобщий авангардизм это только подчеркивал. Идея выбрала нас, нам улыбался капитализм с человеческим лицом, перефразируя одного известного правителя. Смешались кони, люди... Конца этому пока не видно. Я закрылся в своей кабинке, сидя верхом на унитазах, предусмотрительно закрыв его крышкой, чтобы насладиться силуэтом с зонтом. Я вглядывался в него и так близко принял к сердцу, что в какой-то момент он заменил меня.

«Я ухожу» было сказано не мне, а собравшимся в комнате. Эту комнату-пенал, с низким фанерным потолком, крашенным масляной краской, мне не забыть, как и вековую решетку в открытом окне. Вид за окном апокалиптический. Это был проход между кирпичной стеной и сараями, заваленный всяким мусором. Но ступала ли здесь нога человека – вопрос. Войны, революции, эпидемии этого прохода не коснулись. Здесь нашли упокоение ведро, детская ванна, тазы, остов кровати и сложенный пополам истлевший ватный матрас. Но воробьи чирикали. Пришла весна. ...«Я ухожу» Катерина сказала, обратившись ко всем, а провожать пошел один, ее молодой человек. Я в тот день напился, наверняка пообещав себе и другим больше не пить. Мне рассказывали, что я кричал на диктора, вещавшего по ламповому радиоприемнику, посылая его, диктора, на три буквы.

«Учимся властвовать», – был мой второй тост, и я вылил остатки вина в унитаз, туда же залетел окурок. Спустил воду – окурок остался. Я дождался, пока бак заполнится водой, и повторил попытку – окурок остался. Тогда я его выловил и вместе с пустой бутылкой, выйдя из кабинки, выбросил в мусорный бак, который стоял за дверью.

Через час я пожалел, что не выпил. Шуплый Валера напротив моей кровати устроил концерт. Он храпел, как богатырь, его рулады просились на нотный стан. Еще часа полтора я присидел в коридоре и попросил у сестрички снотворную таблетку.

Стансы

Солнце стояло высоко. До него было близко. И далеко-далеко простирались поля и поля. Я задрал голову к небу и сощурился, как будто мне вот-вот должны были сделать больно. Я загадал, что пуля меня не возьмет. «Гп-р-р, – слышалось сзади. – Подвезти, отец?»

И мы поехали. Ехали полдня. Только к вечеру возница спросил, куда я еду. Мне стало грустно: куда я еду, туда не приедешь. Я не ответил на вопрос. Вдоль дороги стояли стены кукурузы. Прохлада развеяла грусть. Но ее сменила тревога, сознание не могло справиться с несметным количеством кукурузы: зачем столько? Еще и сумерки давили неопределенностью: подожди, вот стемнеет, попляшешь. Дорога пошла в горку. Лошадь переключилась на понижайку, выпустив лишние газы. Возница предложил мне папироску. Я сказал, что не курю. А я курю. И что на меня нашло? Мы проехали развилку дорог, и я задремал. Очнулся, когда стемнело. Дорога уже шла под горку. Что-то мне подсказало, кукурузное поле нигде не кончалось. Я сказал, куда еду, – в Шумерли, там меня в детстве художница рисовала. Ее я, конечно, не встречу, но побывать в тех местах очень хочется. На Суре

давно не был. Та художница в купальнике была, на пляже она меня рисовала. Я ее тоже, можно сказать, срисовал, хоть и маленький был.

Мой рассказ затянулся. Я скакал с одного на другое, но каждый раз возвращался к тому, что молодая художница рисовала меня, а я рисовал ее. Я запомнил, что у нее была талия, голые ноги, грудь... Что тут сказать. Она была одной из первых моих платонических женщин. Художница добивалась в рисунке портретного сходства, мне же нравилось, что она мне нравится. До этого я видел грузовую машину с высокими бортами, груженную коровами, которых везли на бойню. Это сейчас я понимаю весь ужас их положения, а тогда жалости к ним не было, только как-то холодно стало в животе. Тех коровушек давно съели. Мой рассказ нырнул в сторону: исправимся ли мы когда-нибудь, говорит человек, сокрушаясь об их участи, а сам отрезает от батона очередной кусок колбасы. Нет, не исправимся, не хватит совести. Европейец так же устроен, всякий наш либерал и тамошний демократ и т.д. и т.п. Хоть весь свет обойди, свежей мысли о человеке не встретишь, одни лишь выдумки и дизайнерство. И все-то мы едем в кузове с высокими бортами. А что, разве было когда-нибудь по-другому? Не было. Во всем всегда было полчеловека, и заячьи уши торчали. Стало быть, живем впрок, вот накопим жизни за щеки, тогда и посмотрим. А коровушек по-прежнему на скотобойни везут, чтобы потом отправить мясо в столицу.

Мой рассказ обернулся обличительной речью. Возница слушал и не слушал. И то: я начал за здравие, а кончил за упокой. Он только заметил, что дорогу на Шумерли мы проиляли. На той развилке, которую проехали под вечер, она уходила вправо. «Надо было раньше сказать, куда вам».

Дальше наши пути-дорожки разошлись. Я попрощался и зашагал назад к той самой развилке. К утру, может быть, буду. Ночь без луны темная. Звезды светили, но света от них не было. В темноте кукуруза как будто выросла еще выше прежнего, предоставив коридор для прохода. Я шел и помалкивал. Бояться вредно. Я и не боялся, но страшиновато было. Я смотрел сон наяву. Вскоре и в самом деле уснул. Но продолжал идти. Проснулся, когда впереди послышалось тарактеное мотоцикла, и меня ослепил свет фары. Мотоциклист остановился и что-то меня спросил. Я не расслышал, что именно, и на всякий случай показал рукой вперед по ходу его следования, мол, он правильно едет. Я подумал, что мотоциклист заблудился, и не подумал, что заблудиться нельзя – дорога одна, прямо. Он дал по газам, наделав шуму на всю вселенную, и должен был сорваться с места, как на гонках, но поехал вперед несообразно медленно. Я пошел дальше и снова уснул. Где-то через час пробудился. Не сказать чтобы выспался, но спать не хотелось. Я еще подумал: мне снится, что я пробудился. Так или иначе, этот неустановленный факт не мешал размышлять. Я задался вопросом: как доказать, что я не сплю? Первое, что пришло в голову, – протиснись вперед с закрытыми глазами. Не убедительно. С закрытыми глазами человек и во сне ходит. Мне пришло на ум обжечь огнем руку, и чтобы огонь от зажигалки не пропал даром, закурить. Но зачем? зачем доказывать, что я не сплю, малодушие какое-то, тем более тебе ничто не мешает размышлять дальше. И не стал прикуривать. Между тем я подобрался к главному вопросу: куда ехал возница, если кукурузное поле нигде не кончалось? Об этом он не мог не знать. Знал и не сказал об этом! Возникает следующий вопрос: с кем я имел дело? Мне стало не по себе. Я закурил, вспомнив, что возница предлагал мне папиросу. Папиросы в Москве не купишь, он же курил – ладно бы «Беломор» – «Прибой», их точно не выпускают. А лошадь у него откуда? Лошадей в хозяйстве уже не держат. Колхозов нет. И телег во дворах не встретишь. Я его где-то видел. Но где? Подсказку сделал мотоциклист. Я вспомнил, что ездил на этом мотоцикле в детстве, на заднем сиденье. Это мотоцикл моего дядьки. «Ява» была только у него, он на ней потом разбился. Я установил, что мотоциклист и возница – одно лицо. Это – мой дядька, который возил меня в Шумерли. Почему я его сразу не узнал? Потому что старше его в два раза. Я состарился, а он остался вечно молодым, как поется в одной песне. Этого я и предположить не мог, что когда-нибудь встречу с ним. В свою очередь в моем лице он не признал мальчишку, в котором души не чаял. Подумать только, я для него «отец». Вот такая звезда бессмысленного счастья осветила неожиданно дела минувших дней.

Мое первое утро на казенной постели было счастливым. Я как будто родился в общем вагоне и принадлежал всем. Первая большая остановка поезда. Первое расставание. Щуплый днем Валера, богатырь ночью, тихий Александр, человек с глушинкой, собирали вещи на выход. Их ждала Большая земля. Увезли на операцию Моисея. Без него в палате стало как-то пусто. В соседнем вагоне жалобы – от окна сильно дует. В дверях показалась высокая женщина в коротком белом халатике. Она смотрела строго на меня. Ух, да я ей нужен! Кто бы это мог быть? Я где-то ее видел. Она напомнила маляршу из нулевых, не хватало косынки на голове. Это была анестезиолог. У меня есть свой анестезиолог о длинных ногах! Немного уставшая, но в целом хороша. Она узнала обо мне самое главное: гланды выдрали в десять, аппендицит вырезали в двадцать, аллергии на лекарства нет. Идеальный жених. Но, похоже, я ей не понравился. Она ожидала увидеть в постели новорожденного, а в ней лежал взрослый дядька. Произведя расследование, она направилась к двери и на прощание даже не обернулась. Это она потом поднесет к моему лицу маску, явно задумав меня усыпить, коварная. Вот кто настоящая, а не придуманная Богиня волн! Я знаю теперь, как она выглядит.

Она вышла из палаты.

Нет, не малярша – спортсменка, припомнилось мне. Как я мог забыть, она бежала сквозь слезы и еле добежала до финиша, где ее ждала родня. Они обнимались и плакали. Если бы я был настоящим художником, то написал бы такую картину и назвал бы ее «Нет слов».

«После шести не есть», – прозвучало как приговор. «Началось. Вот оно», – написал бы Толстой. В атаку идут, чтобы побеждать, а не умирать. Вот и я про то. Привести в порядок, и мысли, всем все простить и пообещать себе стать лучше... Позвонила моя наставница: «Я хочу умереть». Я прыснул от смеха и не мог начать разговор. «Что ты ржешь? Вот когда еще был жив Кузя...» Тут я просто сполз с кровати: вот оно новое летоисчисление – «когда был жив Кузя!» Кузя – собачка, существо злобное и ненужное. «И что? Когда он был еще жив – что?» – спросил я. – «Ты меня сбил, я забыла, что хотела сказать». Я ей заметил: когда она позвонит в следующий раз, я буду знать, что она воскресла. Смешно стало ей, она передумала умирать. «Что случилось?» – спросил я. – «В том-то и дело, что ничего». Она призналась мне в любви и сказала, звонит муж, она не может говорить.

Поезд тронулся около одиннадцати, когда все уснули. Я за машиниста. За что мне такое счастье. Счастье – не слышать Моисея, но обращаться к женщинам его словами: «Солнце мое, обожаю тебя. Приеду, в угол поставлю. Никому тебя не отдам, курносыя ты моя».

...Я разделся догола, лег на каталку и укрылся свежей, как майский день, простынею. Меня повезли.

Ну, удивите меня! А цыгане будут? Может, какой-нибудь Гамлет встретится по пути или Как То, то есть Кокто. Считаю себя артистом, хотя не сыграл ни одной роли на сцене. Пляски разума мне ведомы и сейчас хочется праздника, разгула, необузданности, несоизмеримости. Прощайте настенные Айвазовские и Малевичи. Только потолок, только он мне товарищ и брат, отменивший законы перспективы и вообще горизонт. Я наконец выплывлю под общим наркозом, осталось немного и недолго. Я отменю собой время. Хватит, наелся! Я созрел для монолога, меня не остановит холод в животе, когда вдруг ясно вспомнил, что, уходя в больницу, не выключил свет в прихожей и туалете. Меня не остановит чувство вины перед родственницами Харона, двумя женщинами, что не могу помочь им катить каталку, на которой лежал. От них я узнал божественные новости: со следующей недели у техничек изменится график дежурств, а сегодня на ужин будет горбуша с пюрешкой. Заодно они промыли косточки одной своей сотруднице. И мир начал твориться сам собой. ...Я впервые ехал в лифте лежа, поднявшись на последний этаж, как в первый раз. За ближайшим поворотом от лифта попали в затор. Небольшая очередь, перед тем как попасть в операционную. Мои неузнанные поначалу Сильфиды сказали, что меня заберут другие, положили историю болезни на грудь и, пожелав ни пуха, ушли.

Стансы

За последние двенадцать лет я встретил лишь одну примечательную женщину – то ли секретарша, то ли блаженная. Она переходила речку вброд. Чем выше она поднимала подол платья, тем сильнее билось мое сердце. В кои веки захотелось взяться за кисти. Она обернулась и сказала, чтобы я возвращался домой и все забыл. Я так и сделал. Пришел – лег – уснул. Открыл глаза – прошло шесть лет. «Что ты делаешь вечером?» – спросила блаженная секретарша. «Ничего», – ответил я. «И я ничего», – сказала она и предложила встретиться вечером, прогуляться. Пока собирался вечер, прошло еще шесть лет. Меня ничего не волнует и не мучает. Я понял, что стал блаженным. «Что ты делаешь вечером?» – спросила моя мучительница. «Ничего», – ответил я. Она предложила встретиться вечером, ей нужен натуращик. Я согласился и подумал: только бы в наши отношения снова не втесались шесть лет. Я отнесся к мероприятию ответственно, проявив бдительность часового, осторожность минера и зоркость снайпера. Бдения увеенчались успехом – мы, наконец, встретились, на берегу речки. Она поставила этюдник на ножки и попросила меня зайти в воду. Я встал лицом к ней. Она сказала, так я похож на дурачка, и попросила встать спиной. Большие мы не виделись.

Пейзаж утратил зримость. Дальше вытянутой руки ничего не видно. Опознание местности производится по памяти. Несуразной покажется установка «пиши, что видишь».

Чего непонятного, братицы, – туман. Слава Богу, не газовая атака. Я поставил этюдник на ножки и нарисовал что знаю – солнышко и травку. Побоку туман. И все-таки спасибо ему, открывшему горе-художнику глаза, что раньше ему все казалось. На самом деле ничего не было, он себя обманывал. Из той точки на земле, где он стоял, все только должно было произойти: ожидания, скука, праздность, радость... Само собой и деревья. Новую жизнь можно посвятить раскопкам и, слушая старые пластинки, поспорить с кротами в производительности труда. В паузах кивать самому себе головой. Или бросать в туман камешками. Или кинуться отмывать посуду от жирового налета. Или сосредоточиться на лимоне, объявить, что он – ВСЕ, и начать варить холодец, уверовав, что никто больше не варит сейчас холодец, ты единственный. Неповторимый ли? – вопрош. Но туман не диктует правил морали, а потому вопрос останется открытым. Туман сам по себе – выдающееся явление природы, ни с чем не соизмеримое. В нем есть дух бессмертия, он осязаем. Кажется, что вот еще немного, и он тебя заменит. ...Я сложил этюдник и решил испускаться посреди наступившей вдруг зимы. Заодно наловить рыбы, она же заблудилась в тумане, став легкой добычей.

Мысли думались коротко. Еще немного и ты ослепнешь, продолжая видеть.

Надо закончить красиво.

Вернувшись домой, я обнаружил письмо без обратного адреса. В конверт был вложен чистый лист бумаги.

У меня нет врагов. Это плохо. Вот если б были, тогда и жизнь, глядишь, сложилась бы по-другому. А то все весело, хи-ха да ха-ха. Зато редко бывает грустно, забыл, когда в последний раз печалился.

У меня никого. Если что, хоронить будет моя наставница с мужем. Своей смертью я причину людям неудобство, а для них это будет горем. Очень-очень далеко до тех времен, когда все было впереди. Теперь я часто слышу за стеной, как соседка кричит бранными словами на свою маленькую дочку, кричит на сына, кричит на мужа.

Богу на ночь не молюсь. Верю в конец света. Но это не я верю, какой-то другой человек. Только Богиня волн может отрезвить, возвращая слух. И тогда я вижу до Владика и знаю, чем занимаются на Чукотке. Откуда? Кто ж его знает. Мне хорошо, когда снится моя покойная мама. Хочется к ней, и не жалко ничего потерять на этом свете. Последний раз она меня пожурила, что не звоню.

В заторе я простоял минут пять. Увезли в операционную мужчину с животом. Забрали женщину, прооперированную, как говорила мама, по женской части. О чем думала эта женщина, глядя в потолок?

Я один.

Захотелось горохового супа с копченостями. И, конечно, яичницу. Не могу вспомнить человека, который говорил: «И лаврушечку, лаврушечку».

На груди история болезни вместо Библии. Конец темным влечениям. Спать, спать. Даешь общий наркоз! Я ждал, что за мной придут. И пришли. Двое, он и она. Я где-то их видел. Как я мог забыть, они же еще Гипократу ассистировали. Она – полненькая, он – худенький. Скажем, невзрачные, не проронившие ни слова, не посмотревшие мне в глаза. Все говорило об их потусторонности.

И меня повезли.

Я убедил себя, что слышал когда-то, как эти inferно пели на два голоса. Пели тихо, из-за непогоды. В непогоду аудитория слышит лучше, не надо стараться. На каком языке они пели, не вспомнить. Было озеро. В ночи оно казалось каменным. Я тогда сам у себя купил свою картину. Хватило ума не предложить сделать себе массаж. И сейчас меня везли по каменному озеру слушать мессу. Вляпался. Предстоит побывать на отпевании себя при жизни. Пусть так. Только вот коммунальные платежи не оплатил. Все-таки надо завести Личный кабинет, перейти на автоплатежи. Бухгалтерия достала. Других долгов, слава Богу, нет. И надо купить новый смеситель, шланг в душевую, поменять губки для мытья посуды и отхлорить туалет – начать новую жизнь, пока живой, и обращаться к себе на «вы». Может, тогда повзрослею. Ах, как хочется услышать сверчков, выйти босиком на травку в лунную ночь, когда сердцу мил даже храп Евгения с соседнего участка. Живет человек и ему всегда хорошо. И спит хорошо. А в округе соловьи заливаются. Луна заглянула в дождевую бочку.

Каменное озеро не кончалось.

Наконец повернули налево, и я оказался в большом зале с синим сводом, показавшимся огромным. Я поймал себя на мысли, что меня привезли в зал планетария. Я перелег с каталки на операционный стол. ...В изголовье надо мной показалась Богиня волн.

.....
.....
.....

Дома меня не было неделю. Первым делом я выключил свет в прихожей и туалете. В остальном все в порядке и на месте. Потом я неожиданно встретился с собой в зеркале. Я где-то видел этого человека, у него глаза были больше.

И чего я рассмеялся?

Такой вот эпилог.

Саратов, 2045

Сергей ТРАФЕДЛЮК

БРРР БРРР

Перемен

*Хочешь в жизни перемен?
Покупай себе ремень!
Новогодняя акция в магазине «Студия ремней» –
уверенно раздаётся в июне голос на остановке*

Но хочет ли он сам перемен?

Голос обрывает ещё одна песня
в которой *Россия* рифмуется с *красиво*

А пару лет назад из колонок
вплетаясь в гул транспорта
звучали записи птичьих трелей

Зачем? – думал тогда
Зачем улетели в другие края? – думаю сейчас

Аркадий Р.

Куда делась дебильная, но трогательная привычка пометать всё своим именем?

В 1969 году Аркадий Р., оказавшись в узком парке рядом с Пушкинской, взобрался на каменный парапет

Поросшая бурьяном горка уходила вниз, в Южную бухту, ветер задувал в уши, заглушая стуки и скрипы кораблей

Аркадий Р. запомнил этот вид надолго (или забыл через пару лет) и высек имя, куточек фамилии и год на парапете

Не зная даже, что такое маркер или баллончик, он потратил на этот акт – сколько? полчаса? час? Спешить ему явно было некуда

Сергей Трафедлюк родился (1986) и живет в Севастополе. Окончил филологический факультет Черноморского филиала МГУ им. Ломоносова. Публиковался в журналах «Знамя», «Сибирские огни», TextOnly, «Полутона», «ХИЖА», «Дактиль» и др. Предыдущая публикация в «Волге» – № 7-8, 2024.

Камень сохранится и сохранит – полагал Аркадий

И хотя до войны на месте узкого парка стояли дома, Аркадий всё же не прогадал

Но это камень

Вот со стёкол троллейбусов имена, нацарапанные титаном, сошли без следа – да и сами те троллейбусы где теперь?

В автобусах если и пишут, то суету, похабщину, в редких случаях никнейм, ссылку на аккаунт

Всё это эмоции, пыль в глаза

На потаённых стенах сохранился обычай оставлять номер телефона – для разумной по цене, дешёвой или полностью бесплатной любви

Но и это не то: номера же могут потеряться, сменить владельца

И что вообще человеку мерещится в цифрах?

Код, шифр, пустота

Кое-где ещё встретишь вымирающую колонию имён на стене в глухом тупике, в кабинке туалета, да только они скорее прячутся от глаз, как тля на изнанке листа

А на видных местах имена не пишут

А те, что были написаны, – стираются

Хулиганы растворяются в безбуквенном массиве природы и рукотворной истории

Может, потому что хотели скульничать, притвориться узорами коры, зигзагами воды, сеткой теней

Или просто не до имён опять

Нужны парки, здания, заведения, инфраструктуры, места, где молча растят детей, покупают вещи и уносят в дом, где идут себе по делам не оглядываясь, где не остановят и не спросят, кто ты такой

Один доисторический Аркадий Р. всё там же, на парашюте, глядит на замершую в ожидании, желанную и недостижимую бухту

И ещё полвека проглядит

И хоть бы что ему

Сатана Ларисы Долиной

Я подписываю договор не читая и отдаю ассистенту Никите

Глаза стерильны, белёсые волосы собраны в пучок, из-под халата выглядывает серебряный медальон – козлиная морда на перевёрнутой пятиконечной звезде

Ассистент Никита проводит меня в комнату и берёт мою кровь

Теперь бы перечитать договор – лучше при свете луны или над пламенем чёрной свечи

Оставляя подпись, заказчик подтверждает, что даёт культу право на следующие действия с кровью

- 1. Ритуалы различной направленности*
- 2. Выведение гомункулов*
- 3. Усиление авторитета Князя Тьмы среди смертных*
- 4. Донорство*
- 5. Подписание иных договоров, об условиях которых культ обязуется предупредить заказчика в течение примерно 28 рабочих дней (точнее – 666 часов)*

Столько вариантов, столько возможностей, а в итоге просто набор цифр в pdf-ке: хеликобактер пилори, Эпштейн – Барр, банальность и скука

Поиски сатаны в окружающем мире не прекращаются ни на минуту

Смотрят под каждым камнем – но там другой; пролистывают том за томом – путанные следы; выскивают на подозрительных телах, находят, выжигают, если надо – лишнее отрубают

Но сатана сидит во мне – поёт Лариса Долина

А вот чьи это слова, невозможно отыскать даже в даркнете: какому проклятому поэту пришили они в декадентском бреду?

Так оно и происходит раз за разом: ничего не ждёшь, и тут выныривает, переливается неуловимыми цветами пузырьёк

Ну как пузырьёк – выдох нездешнего воздуха, если точнее

А если не уточнять, а просто смотреть, то вот цыганка осела на скамейке, чешуйчатые ноги так раздуло, что шлёпанцы рвутся, и сто раз она звала: сынок, сынок, помоги – и всё мимо, и тут вдруг слышишь в причитании знакомый голос

Или мать с подростком курят у витрины, одинаковые очки в квадратной оправе, молчат, будто из 80-х и не умеют говорить по-нашему, но очевидно, что бесконечная мысль тонкой струйкой сочится между ними – и никогда не иссякнет

Счастливый пухлый мальчик размером с пенёк – в солдатской форме, с автоматом наперевес – и как ни старайся, не поймёшь, настоящий или нет, и мама катит коляску

рядом, пока сын притопывает и приплясывает – и теперь уже совсем ничего не поймёшь, хоть несколько жизней проживи

Или вот пробирка крови и серебряная морда козла на опрокинутой звезде

Или сама звезда, падшая в самую грязь, густоту бесконечно бурлящей застройки, которую мы лепим, латаем, обустройстваем, защищаем, разносим в щепки, закрашиваем красной краской, дом за домом, год за годом, город за городом, звезда посреди человеческого месива – просто не сумевшая преодолеть тяготение любопытства

А может, даже любви?

Пузырьки выныривают, переливаются и лопаются

Сейчас есть – а спустя секунду: хлоп – воздух вышел

Но если успеешь вдохнуть – самые тонкие, самые недоступные шрифты мира замерцают даже при свете дня

**Бетельгейзе
Бетельгейзе
Бетельгейзе**

Кто замуровал в асфальт горлышко бутылки?
Король червей глядит из-под земли
на тщетные попытки
находить столько тысяч шагов
чтобы обойти его владения стороной

Я надеваю на себя
рекламу «Стрижка по акции
за 349 рублей»
Червовый маскировочный цвет
для тех, кто родился
без рубашки

Не зови меня
Я превратился в информацию
и топчусь на жаре
истекая потом под покровом
почасовой оплаты

Человек-паук
Человек-комар
Человек-клоп

Тук-тук в потолок
Тук-тук в потолок

Не сажай меня в банку
не гони меня прочь
я вот-вот стану рельефом
на мраморной щеке
что изъедена оспой
облаков

Гости

Они наводнили наш крохотный парк
как насекомые с перепонками цвета купороса –
неестественного и чуждого пейзажу

играли в бадминтон
рисовали мелками на плитках
кидали и отбивали мяч, стоя в круге
штурмовали акации
слушали музыку на скамейках, где обычно никто не сидит или кто-то спит
закапывались в кусты с острыми листьями
поедали шелковицу с веток и асфальта
хрустели пакетами
сообщались смехом
суетились, носились, складывались в последовательности

наконец повиновались крику «Строимся! Строимся!»
сплелись в синий рой
и двинулись из всё ещё нашего парка –

в места обитания
где цвет растрёпанных перепонок
не вызывает тревоги –

куда-то прочь
когда-то прочь

Пикник

Озеро затекло в подмышку курчавой горы –
и там и осталось

Долго оно было в уединении, а потом перестало

Вот она – нарушительница одиночества
приехала на дряхлом минивэне «Опель-Зафира»
(слишком много сидений для неё одной)

Разложила столик, хромающий на ногу
Расстелила скатерть в привычных, как карта, пятнах
Достала бутылку белого, пробка скручена из газеты

Здесь она проведёт остаток жизни

Так она думает прямо сейчас, скорее в шутку
(кстати, у неё неприятный юмор)

Теперь озеро проявилось в её глазах
целиком и навсегда

Тяжек был путь по автостраде М18
тяжек будет и путь назад

Но пока она именно здесь, в точке
которую выбрала и поставила сама

Такой невидимой для всех
Такой незаменимой для неё

Гора скрыта густым подшёрстком
и она вспоминает местечко под рукой человека
куда всегда хотела вжаться всего сильней

Ей казалось, что это она оставляет след в нём
(точно так же, как он оставил след в ней)

Она выговаривает вслух имя
которым её уже никто не называет
и чувствует будто что-то знакомое

А потом у неё вкрадчиво урчит в животе

И она открывает контейнер –
внутри не так уж много осталось
чтобы прожить здесь всю оставшуюся жизнь

Но прямо сейчас ей кажется
что этих двух кусочков хлеба
этой соломки моркови
горсточки помятых черри
пучка рваного салата
и купленной в придорожном магазине салями
вполне хватит

Вполне

Открытка

1.

Всё стало проще
Джейсон Момоа
в домашних штанах и халате
патлы стянуты в гульку, завязка с клубничкой
купают младенца в ванной

Всё стало проще
Вот и ты посреди опустившейся Атлантиды
и прибой плещется
сразу за порогом
кофейни с шаурмой

В безоблачную погоду
мох выпускает
снаряды
и они расплываются
в считанных миллиметрах
от поверхности

У небытия просто нет шансов

Так же просто как шампунь заказать
ты научился не умирать

2.

Снег изнутри Чёрного моря
кажется гусиной кожей
незнакомца:
наверно, весь ёжится от озноба
но кто он такой
через пару секунд?

3.

Два муми-тролля
посреди колыханья холмов
встречаются и не расстаются

Муми-тролль номер раз
мурыжит в лапах бинокль
Муми-тролль номер двас
придерживает нелепую шляпу

Над ними
крутится-крутится

всё крутится-крутится
всё время свербит и крутится
птичий торнадо

Что тебе надо
дружочек мой дорогой?
Опусти бинокль
на что там смотреть?

В твоей потной лапе
утешенье мира
У тебя под носом
сверкнула капля

Не осталось простуды на солёном ветру

бррр
Я снова увижу тебя через пару секунд
бррр
Я снова увижу тебя через пару секунд
бррр
Я снова увижу тебя через пару секунд

НА ТОЙ ГОРЕ СВЕТА

Рассказ

Мы проходим мимо большой звездной пыли Северное сияние – выкинутой наверх спутниковой антенны из центра города – или, ещё говорили, мерцающей горы, чтобы нас наконец-то увидели и нашли. Вокруг утренний туман раскладывает свои широкие плечи.

Я держу в одной руке серебряные от инея камушки, во второй – дрожащие пальцы бабушки.

Северное сияние мерцает в глазах. Бабушка смотрит в самое сердце Большой Свиньи, и из неё выпускает дух, как пар, наше озеро:

– Прости меня, Праскый, я так перед тобой виноват.

Под тающим льдом слой за кусающим другой слоем начал вырисовываться старый советский ковёр: красный, с дикими узорами, напоминающими то ли драконов, то ли вечеринку леших в лесу, танцующих под адское пламя с тиграми.

В его языках я увидела лицо еле сопящего дедушки, потирающего свой нос. На фоне разноцветными шумами бурчал телевизор: антенна опять барахлила, и её нужно было передвинуть поближе к окну – ей не хватало воздуха.

Белая зима была вечная, камский снег, тающий под босыми ногами, накатывал на небольшой городок бурей, и мы, как в яме, лежали в нём, укутавшись в своё разобшение со всем внешним миром.

Деду было под шестьдесят, он выхаживал своё хрупкое лёгкое, и каждый раз, когда бабушка хоть чуть-чуть приоткрывала окно, он кашлял и ругался, что она опять «пускает злой дым, злой воздух».

– Вода грязная, надо поменять.

В небольшом круглом аквариуме плавали переливающиеся зелёные водоросли, как в волшебном новогоднем шаре снег.

Там были ещё маленькие, совсем крошечные медузы:

– Гидроидные полипы завелись, – говорил дедушка, выписывая щелбан круглому аквариуму.
– Хе-хе, жизнь всегда найдёт способы появиться вновь.

Бабушка подошла с половником и с леденящим душу лицом выкинула мёртвую рыбку в унитаз.

– Не бойсь, Татый, эта рыбка совершит три оборота в водных подземельях и ещё обязательно к тебе вернётся. Праскый, мы идём чай пить?

– Да, идите уже сюда, только чайник не трожьте, он ещё не наворчался.

– Смотрите! Ищейка! Ищейка идёт.

У меня был детский розовый стол, весь в каких-то непонятных блёстках, грязи, почти блевотине – я тащила на него всё, что находила на ближайшем озере – Большой Свинье, и, как собака, зарывала в землю стола; я тащила всё с улицы, с помойки, с детской площадки.

Стол стоял неуклюже в углу комнаты, в нескольких шагах от места, где сопел, переходя по незнакомым галактикам, дедушка, иногда он поглядывал одним глазом в телевизор и переключал каналы для виду, а пока он искал понравившуюся передачу, я путешествовала по мирам, затаившимся в создании выкинутых вещей.

– Если есть большая свинья, то должна быть и маленькая? – я всегда с интересом спрашивала у бабушки, а она озадаченно смотрела на гладь пустой воды, потому что Малой никогда не было.

Она не знала ещё, что раньше в нашем городе было два озера, озера-близнецы, абсолютно одинаковые по размеру, и даже не было тогда деления на Большую и Малую свинью.

Наша Свинья стала большой, когда внезапно для всех выросла и сожрала свою сестру.

На ёлку, куда я совсем не хотела, меня отвёл, точнее, за руки приволок, дедушка.

Он настоял на том, чтобы у меня было самое целлофановое, самое из-пакетное, самое девчачье розовое платье. От него у меня была крапивница неделю, оно сжимало и давило в груди.

Сверкала и светилась я ярче ёлки, обрывочно сияли пластмассовой пустотой стулья, была ещё на ужин в садике подозрительно пахнувшая рыба: она светилась мигающе, как Большая Свинья, и пахла тоже похоже – слегка простуженный, едковато-протухший запах, доносившийся от первого слоя воды, а за ним – хоровод рыбок, плачущих, играющих тризну по своей павшей подруге, а потом настоящий хоровод с детьми на утреннике, на котором по кругу я облежала всех: каждую прекрасную Снежинку, Белоснежку, гнома-воителя, Деда Мороза, завалившуюся Снегурочку.

После этого меня перевели в другой детский сад, до которого нужно было идти каждое утро через Северное сияние с глазами Большой Свиньи.

Мы ходили на озеро чаще всего с дедушкой, бабушка в детстве чуть не утонула и ужасно боялась глубокой воды.

Дед пускал камни, отскакивающие от пружин, протыкавших старый матрас, натянутый на Свинью, завывая:

– Кул иясе! Что, боишься воды, старый дурак? Я тебя к нам зову!

А я делала куличики из грязи и перемолотой травы с водорослями и иногда долго смотрела в озеро.

– Что ты там видишь? – спросил дедушка, пока я пыталась наружу вытащить то слово, самое подходящее слово, но начала дико, задыхающееся кашлять, почти лаять.

В этот момент из озера стали подыматься пары, похожие на растопыренный хвост белого кота, пытающегося добрать отравленного стоячего над ним воздуха. Громкие вдохи, выходящие из труб-суставов перерабатывающего мириады мусора городка, пробрались в лес, покрывшийся копотью, и там – где-то между озером и натянутым проходом к лесу – случилось наше первое *при-касание*.

В огне потрескивали кости, кинутые бездомным псам. Дети из соседнего дома радостно кричали:

– Шабаш! Шабаш!

А затем пришла Та самая и мальчик с девятью-десятью веснушками – временами десятая на носу подмигивала нам и затем на несколько дней исчезала – одним движением ноги потушил костёр.

Девочку звали Олей, и она была как не из нашего мира: что-то рядом с ней, когда она приходила к качелям, искрилось-постанывало. У неё был шестой палец на руке, ещё один большой – «про запас».

В моей коллекции на тот момент чего только не было. Я забрала, спросив разрешения у двоюродной бабушки, кусок разноцветного платья, которое висело на стене избы и начинало тлеть. Оно было кряшенское, как говорила двоюродная бабуля: «наше, народное, родное», но моя бабушка с ней всегда спорила и говорила, что ей всучили мокшанское платье и обманули, надули как дуру.

У другой бабушки я взяла монетку со стола – уже не спрашивая. Такими украшали платье – без соприкосновения с другими монетками она всё равно теряла свою магическую силу, так что, по сути своей, ей была не нужна.

Ещё где-то за слоями перины я раздобыла выпавший зуб нашего пса – самое сердце моей коллекции, где полувековые народные платья гнили вместе с древесиной избы, а моя любимая чёрная собака, носившая всё детство меня на своих плечах, подвывала из-за того, как по мне сучает.

Я хотела забрать у брата дохлую мышь с его «алтаря», но он не отдал.

– Мы его скоро удалим. Родители очень хотят...

Мы молча топтали пепелище. Дети разошлись кто куда, а мы с Олей остались вдвоём. Я долго смотрела не её руки, они множили движение в воздухе, захватывая что-то, что никто другой не мог понять.

– А он может, он умеет, он... он... он ловит... сигналы? Он может, он что-то говорит тебе?

Оля долго смотрела на палец, затем на меня и, кажется, слегка улыбнулась.

Дедушка подолгу уезжал то ли на завод, то ли куда-то в лес с другими дедами рыбачить. Бабушка сама не знала, куда он едет, но молча собирала ему в дорогу бутерброды и термос с крепким-крепким чёрным чаем.

Перед этим он долго ходил кругами по небольшой комнате, сильно задумавшись, расчёсывая табак в костенеющей трубке.

Люстры своими хрустальными лапками начинали крутиться и брнчать по кругу, и я думала, что дед похож на жука, который вот-вот перевернётся, ляжет на спину ногами кверху, и нам потом с соседскими детьми опять придётся устраивать похороны насекомых.

Через несколько лет, когда дедушка уже давно умер, мама мне рассказывала, что он ездил к своей любовнице. Она жила в какой-то избушке посреди леса. Тётя тоже говорила, что его видели в лесу с какой-то женщиной вдрызг пьяного, со следами поджаренных усов антенны на дрожащих руках.

Большой пушистый белый кот всегда дико поглядывал на дверь – сама идея свободы выглядела такой нелепой и глупой рядом с его роскошным, холёным, как у павлина, хвостом, но она его ужасно манила – и он, как бы охотясь, подходил к двери, имитируя все звуки, эхом отдающиеся от подъездных стен.

При первой же возможности – дверь была чуть приоткрыта, я в одном ботинке, а бабушка увлеченно завязывала шнурки на втором, левая нога случайно опустилась на его хвост – он прикусил меня за босую ногу и сломя голову выскочил в приоткрытую дверь.

По пролётам раздавались крики, перерастающие в лай: вздохи задыхающейся глотки, в которой застрял густой июньский «снег» – громкая липа спадала на прикрытые дрожащие веки и жмурились пальцы, зарываясь в белоснежную шерстку, за белым хвостом не было видно просвета железного горла, не было слышно, как открылась подъездная дверь, не было, не было слышно.

– Татый, иди сюда.

Я вскарабкалась деду на шею.

– Видишь эту гору? Её ещё называют у нас Северное сияние. Знаешь почему? – я покачала головой. – Потому что её очень-о-очень редко видно. Она вся прячется в смоге, дышит им. Но, когда видно, с неё спускается странный, белёсый, электрический почти свет – и странно мерцает. Я мечтаю однажды забраться на неё.

– Зачем?

– Некоторые не до конца уверены, что она вообще есть. Думают, что она пропадает. Про неё ещё говорят: Странствующая гора. Себе на уме гора. Сама по себе. Но Странствующая гора – так красиво, да? Тебе тоже нравится?

Я кивнула, смотря на то, как у краев горы искрились пурпурные блёстки, похожие на глаза деда, потопленные в утреннем киселе. Я ткнула в них:

– А это что?

– А это... а, я не дорассказал же, да. Люди в нашем городе уверены, что она пропадает не просто так. Что она оказывается в каком-то другом мире. Связана как-то с ним. И я даже подозреваю как.

Он опустил меня и залез в угол балкона, доставая оттуда странное устройство, похожее то ли на антенну, то ли на оружие:

– Вот оно что, Татый. Это оно там блестит, оно нас прячет, и я это обязательно докажу.

В кафельной плитке кабинета сверкали маленькие звёздочки от прожектора и водили хорошо, медленно передвигаясь поближе к выходу.

Мои босые ноги, которыми я помахивала в такт их кружению, выглядели как деревья, окружающие озеро. От спрея, забрызганного в горло, ужасно хотелось спать, и глаза слипались, не подчиняясь моему контролю.

– Астма, да, – врач снял с рук перчатки прорывающим громом пространство, и я быстро воспрянула. Он побил рукой по воображаемым часам и быстро вышел из кабинета.

Бабушка и дедушка подвинулись поближе, и хоровод сверкающих огоньков передвинулся на дедушкины очки и её изумрудного цвета глаза.

В озере водились очень странные – продолговатые и всегда одинокие – рыбы. У них были то ли усы, похожие на рога, то ли маленькие трепещущие антенны.

Иногда казалось, что озеро дышит: вспышки статического электричества подсвечивали его изнутри, как дешёвая подсветка.

– Озеру не хватает еды, оно светится хуже обычного последние дня четыре.

Тогда мы с братом забрали батарейки из бабушкиного склада-про-запас – тайного шкафчика на кухне, и начали бросать их в озеро.

– На какое-то время хватит.

И оно стало светиться ещё ярче, ещё сильнее, ещё чаще.

«Тёмный как лес». Глаза закрывались, как глубокий последний вдох, когда кто-то заводил о нём разговоры. Столпы зудящей пыли, отскакивающие позвонки заводи инверсированного света – на ладони легла небольшая лужица, к которой можно было вот-вот прикоснуться губами, напиток, но потихоньку вода западала за открытые от страха белки глаз, руки заламывало в судороге. В темноте задышался кто-то древний, скрипя разлетающимися суставами, за ним завывал маленький пищущий голос с ноготок.

Дикая темнота в конце концов становилась знакомой и уютной: пахло влажными грибами и стоячей водой, кричали олени, погоняя неловких медведей, а за стволами деревьев мерцающе пропадали силуэт испуганной женщины, которая силилась кого-то спрятать.

Наш лес был на деле глухим полеском: три осины, туман, бери да заблудись. Он стоял всегда голый, как лысеющий человек, начинающий проявлять безразличие не только к тому, что происходит с ним, но и вокруг: на его голове, за его пределами.

В душе его была вечная зима, полное отсутствие влаги, медленно затухающий пожар.

Про дедушку двоюродные бабушки всегда говорили:

– У него уголёк внутри.

Брат думал, что это значит по-простому: деда любит огонь. Но никак не может им насытиться, потому и курит трубку, потому и прячет вечный окурочек где-то в перинах стонущего от табачного дыма балкона. Так он решил принести ему, своему самому любимому дедушке, его самое любимое вещество.

Из кухонного шкафа бабушки, куда он всегда получал доступ перебором разнообразных отмычек, он выудил несколько коробков спичек. Когда я вернулась из кухни, он уже скакал вокруг ритуального пламени. Оно задышалось, потому что он использовал для топлива пластмассу, оно шипело, взрывалось и исходило искрами прямо на наследственный ковёр бабушки.

– Отойди, я сейчас буду прыгать через огонь.

Его ноги, пальцы, двоящиеся ступни, руки, снова ноги замёрзли языками пламени над тлеющими углями – и навсегда, навеки остались в испуганных отражениях семейных фотографий. В центре комнаты, в самом сердце небольшой квартиры, навсегда остался шрам невыносимой любви.

*

Я смотрю на рисунки, возникающие в груди озеро,
и задерживаю дыхание.
Жуки, нахлобучив на спины портреты
покойных бабушки, дедушки, двоюродных
бабушки и дедушки, разбегаются в сторону, и
горячая вода выступает остывающим потом на моих руках.

– Так говоришь, как будто я в Бога не верю! – говорил дед, рассматривая макароны-звёздочки в своём супе. – А я верю, и побольше других. Просто вся эта ерунда с причастием, причащением, стоять всю ночь в церкви... Исповеди! Параш, ну подумай сама, зачем мне и Богу нужен какой-то посредник между нами? Если я захочу, он прямо сейчас меня услышит.

Бабушка поставила громко тарелку с хлебом, всем видом давая понять, что разговор окончен.

– Он вообще всегда и всех слышит, он всемогущ, – дедушка посмотрел робко на бабушку, затем набрал воздуха и всё же продолжил. – Ходить куличи святить! Да откуда они эту воду берут для освещения, ты вообще знаешь? Хоть из унитаза могут брать, а тебе всё святая вода...

Он посмотрел на меня, а затем несколько минут давил звёздочки дёснами в проваливающемся рту.

– Я вообще от тебя, Костя, ничего не хочу. И даже не просила тебя в этом году идти со мной на освещение. Про Полунощницу я вообще молчу. Эту Пасху ты можешь встретить, где твоей душе угодно: на озере или, может, в лесу. Но не здесь.

Дед продолжал молча перегонять суп по рту, в двух парах его глаз искрились ярко-оранжевые кубы моркови и блеск накаляющего металла.

– Ну яйца-то мы хоть побьём?

Оля, или как её звали на дворе бабушки – Улунка, была кем-то отмечена с самого рождения; кто-то хотел, чтобы закаты татарским вечером мы встретились с ней опять: на берегу, на качелях, во множестве других и не других мест, прижимая к коленям разваливающиеся подорожники и зубы бордюров.

Заря полыхала, как гаражи, рядом с которыми всегда кидали непотушенные окурки – было чем небу разгореться. Мы с Олей сидели у песочницы.

– Мама говорит... что это не очень красиво, – она кивнула в сторону большого пальца-близнеца, – когда так...

– Она врёт, – из-под быстро перевернутого ведёрка голо посыпались песчаные бабочки-мотыльки.

Мы вздрогнули от резких криков дерущихся котов, кто-то небесно-белый и по-домашнему пушистый пробежал в сторону схлопнувшегося заката.

С озера было слышно, как кто-то стонет, поёт странные песни на подыхающем языке сумерек и зовёт нас к себе.

Мне попался один репейник и больно вгрызался зубами в руки, у мамы венки заплетались сами по себе, раскидываясь под её сверкающими на свету кистями рук, которые колыхались, как шесть травы.

Её волосы, покрытые золотистой росой, пылью, полуулыбками пленённого ею заката развевались на ветру, она смотрела на меня, весело покачивая головой, и смеялась.

Ветер задул так, будто его ударили под дых, а потом начали щипцами вытаскивать разбитые в щебень рёбра: кусочек кусочек кусочек.

Мама обернулась, и улыбку с её лица, и цветы из её рук забрал с собой ветер: ты дань моя, попробуй теперь отбери назад.

Она не отобрала, даже не пыталась, но подбежала ко мне, и уже через мгновение я смотрела через её плечо, как распадающийся в воздухе вертолёт застрял в пасти разомкнувшихся газовых труб.

Два взрывающихся пальца, протыкающих воздух. Братья с подкошенными ногами. Трусливые выхлопные пары на выдохе, застрявшем у пламени ног злого, расчёсанного до крови неба.

Никогда не могла запомнить, как называются свисающие штуки, похожие на пожар, у петухов – я называла их жабрами.

– Жабрики-жабрики, кудах-тах-тах.

Петух смотрел на меня одиноким глазом, презрительно.

Я раскопала ещё больше зёрен и пыталась показать ему, как следует клевать, то есть кушать. Он отвернулся и, тряся могущественным хвостом, направился к сараю.

В сарае среди бездомных лыж и зацветающей кучи мусора дедушка вытаскивал гребешок из дерева, чтобы «спутать волосы лешего», как он говорил, но сам он шептал себе под нос:

– Су Анасы, Су Анасы, я тебя не знаю, ты меня не видишь! Су Анасы, Су Анасы, мин сине белмим, син мине күрмисен! Су Анасы, Су Анасы!

Лианы, фальшивые пластмассовые деревья и бутафорские фрукты были разбросаны по клетке три на три – всё, чтобы дети могли сами себя развлечь, отдаваясь потопленным в тысячелетиях инстинктах.

У меня была кукла – обезьянка Роша, и несмотря на её относительную молодость, у неё уже выпадали волосы. Глаза же её трепетно, нежно смотрели вдаль на просвет между лиан.

Там было окно на соседний рабочий квартал, в которое иногда заглядывали свободные, вольные идти куда захотят люди. Из-за грубого рисунка почти туалетного непроходимого стекла, они всегда казались ужасно несчастными, загнанными на работу против своей воли животными.

Когда лиц случайных-несчастных не было, были видны рекламные щиты, на которых за год – пока меня туда водили – перебивало всё: от красивых шипучих таблеток, похожих на конфеты, до кокетливо подмигивающей женщины-медсестры. Она нелепо оттопырила ногу в ажурном чулке, будто бы задумавшись, насколько она ей в этот момент принадлежит.

Потом я обнаружила её в своих кошмарах – в самых потаённых углах. Она всегда приходила в образе пирата, с деревянной ногой вместо той самой в чулке, и что-то как будто наоборот шептала. И улыбалась, да, она всегда – так странно озираясь назад, громко волоча свою тяжёлую ношу, как будто извиняясь за громкий шум своих ног – улыбалась.

В утреннем автобусе, следовавшем по маршруту Б: со Скотопрогонной набережной до Озёрной улицы – той самой, где жила Большая Свинья, ездили одни алкаши и бабушки с хрупкими до свиста руками.

Моя бабуля ещё была в рассвете сил – в пятьдесят-шестьдесят лет, как мне казалось по бабушке, жизнь женщины только начинается, я мечтала дожить до шестидесяти.

– Сейчас зайдём за мясом, а потом к бабе Прасковье. Она уже сделала чак-чак и лапши отварила, – бабушка игриво мне подмигнула.

В автобус зашёл гражданин мира, житель улиц, и все свистящие бабушки и жмущиеся от яркого утреннего света обратно в сиденья автобуса алкаши задвинулись ещё ближе в свои углы. Бабушка спрятала меня за подолом и сама инстинктивно отошла на пару шагов назад.

С мужчины сыпались фантики, клей и грязь опадали хлопьями, газеты шерстили чёрной краской, и отлетали насекомые: то ли саранча, то ли моль, то ли летающие клещи.

Он стоял очень не к месту, обидно и одиноко, посередине кабины, и каждый раз, когда автобус накреняло вправо, влево волной выплёскивалась какая-то его часть.

Я подвинулась поближе, и он меня заметил. Он продолжил смотреть на меня, и бабушке пришлось перейти со мной в самый конец автобуса, чтобы приземлиться на плешивое кресло.

А он продолжал стоять и поглядывать, пока резко не достал кусочек красивого-красивого пёстрого стекла, и начал наводить через него на руки субтильных бабушек и дрожащие колени алкоголиков лучи просыпающегося солнца.

Я смеялась, мой смех стоял посреди горла у всех, смех двоился и множился, перескакивая с одних прозрачных рук на недоумевающие лица других.

В озере водилась рыба с большой жёлтой головой, которая как-то нарушала её рыбий баланс и постоянно перевешивала её вправо, она плавала кругами против часовой стрелки.

Ещё там росли голые ветви непонятого происхождения – тянулись маленькими обрубка-ми-руками к воздуху, но водная гладь, покрытая тонким барьером, никогда не пускала их наружу.

Маленькие рыбки заплывали к ним в руки, а потом висели безжизненно, как потухшие пакеты после долгого пути от солнца обратно на землю.

Бабушка жарила по воскресеньям рыбу, потому что это была единственная «серьёзная» еда, которую ела её мама. Тоже Параша, Прасковья – семейное имя, и моей маме повезло, что именно на ней и её сёстрах эту традицию решили прервать.

Вероятно, из-за того, что ровно в тот день, когда мама родилась, Прасковья старшая попала на пустом переходе под машину и впала в кому. Все думали, что она умрёт, и если в этот же день родившуюся девочку назвать Прасковьей, она на себе всю жизнь будет носить тот перекрёсток, переселение душ, зарубку места, где Прасковью сбили. А может, и встанет сама на её место – выйдет из этой точки на зебре, смотря на мигающий красный, как зачарованная, и пойдёт дальше жить не свою жизнь.

В этот день, когда солнце остро заливало родильную палату, осколками впивалось в кожу бабули и новорождённой и отсвечивало в очках розовощёкого, стоящего на улице за окном деда, в семье появилась самая первая не-Прасковья: Света, Светлана, Ланочка, или как её звали бабушки в деревне: Спитлана, Сбитадыр, или по-церковному: Фатина.

Прасковья старшая, правда, из комы успешно выбралась, долго потом рассказывала, что запуталась по дороге и попала случайно сначала в мусульманский, а потом в какой-то ад для всех христиан без разбору, где играла надоедливая турецкая музыка, перемешанная с хитами 80-х, и ужасно, «невыносимо просто» пахло жареным мясом – в котле варились ноги двух свиней, гребешок петуха и чьи-то болотистые волосы. Больше мясо она никогда не ела.

А потом узнала, что родилась первая не-Прасковья в роду за несколько столетий и что дочка её больше детей не планирует, по-детски отвернулась к стенке и не разговаривала ни с кем неделю.

У Оли было шесть пальцев на руке, шесть лун в глазу, шесть полумесяцев-шрамов под подбородком – в три года её покусали в темноте летучие мыши или какие-то лягушки-пиявки на озере.

И всегда, когда темнело на дворе, она чувствовала приближение комаров – вечно стоящий писк в перегретом воздухе. Когда я оборачивалась, она исчезала, а я оставалась убирать игрушки и разрушать куличики одна – чтобы никому с утра это добро не досталось.

В один пылающий предзакатом или очередным дышащим пожаром день я замирая смотрела на её палец и не могла оторвать глаз.

– Хочешь?

– Хочу, – ответила я, и она мне его обещала.

Передвижение бабушки и дедушки по квартире стали похожи на игры земли с луной: одна тянет прибор, другая его натягивает к своему сердцу. Один идёт в одну сторону, другая – на противоположную сторону от квартиры, планеты.

В какой-то момент они просто сидели по разным углам: бабушка на кухне смотрела в крошечный телевизор, прибитый к подоконнику, дедушка ловил шумы в гостиной на экране побольше.

Я видела, как через их экраны разноцветные пятна шума – бельма на засветившимся глазу – к нам, когда мы спали, подглядывали, и вылезали из коробок оленье рога-ветки.

– В озеро всё упущенное сбудется непременно, – говорила мама, отщипывая лепестки с розово-алой розы. Они, кружась, падали и сгорали там заживо, покрываясь пеплом.

– Никогда не ведись на дураков, всегда думай своей головой, ладно? – она подтянула меня к себе.

– Ладно, – проямлила я, пока маленькая рыбка с хоботом пришла за своей добычей.

– Вот видишь, как бабушка твоя... страдает... видишь... – она поджала губы и отвернулась, с её подбородка капли падали прямо в затопленные кувшинки и продавливали их дальше вглубь.

– Никогда не ведись... – говорило эхом озеро, пожирая все мамыны слёзы, как топливо.

Я засунула вглубь палец и достала его в чёрном мазуте, в электрических проводах и искрящихся шариках ртути.

Время-песок. Так говорил мой брат, снаряжаясь в поход за новой партией подопытных головастик. Время – время-песок, – говорил он, залезая в древний кафтан с обвалившимися пуговицами, который он нашёл в кладовке в деревне.

Время-время, – произносил он и вышагивал на слепнущую спросонья улицу, залитую жёлтым светом, в котором гордые петухи да курицы умывались и начищали клювы. Песок, – говорил Даня с пригоршней добычи, и петухи, раскланиваясь, расходились в стороны, держа в своем сердце тоже по десять камней – дань его мудрости.

Брат перешагивал через каждую лужу, глазом расчётливого убийцы смерея, сколько новых головастиков там назрело и сколько ещё нужно песка.

Когда замёрзшее озеро припорошило, к нему, как к языку, стали липнуть букашки, оставленные с осени зимовать листья и дети, катающиеся на санях.

Рыбы, ветви бились из дна озера, чтобы добрать хоть немного декабрьского света, но к ним была привита *привязанность* озера, моё скомканное с ним *при-косновение* – тёмная цепь, вся во мху и водорослях. Вокруг неё летали светящиеся в темноте искринки, пылинки, и если прийти в час ночи, встать ровно посередине озера, проделать среди снега окошко и внимательно всмотреться в озёрную тьму, можно было увидеть, как электрически трепещет озёрное бычье-и-цепье сердце.

Я слышала эти истории от ребят постарше, которые глядели в самую тьму.

Дедушка опять куда-то пропал. Уже было два дня, как от него ни слуху ни духу.

Бабушка сидела у телефона и вздрагивала от каждого звонка или небольшого удара. В пузырьках валерьянки и валокордина отсвечивали скачущие огоньки, как в стёклах-глазах дедушки.

– Я приехала как только могла, извини, мама, – бабушка вздрогнула от холодного поцелуя в щёку, и только сейчас до неё донесли слова дочери.

– Света, привет, Светочка, – она схватила её за красную с мороза руку.

– Мы его найдём, ты не переживай так только, обязательно его найдём.

Тётя достала замёрзший в глуши подполья балкона самовар, отряхнула и начала драить наши искажённые с братом отражения. Брат потянул меня в угол за рукав:

– Деда медведь съел.

– Что?

– Дедушка охотился на него, ну, ты знаешь. И он, ха-ап, – Даня раздвинул руки и быстро скомкал движение обратно, – он его съел.

– Я тебе не верю.

Животное с толстыми лапами – тряпичная полуголая бабка на верхушке самовара – тряслось от тяжёлой работы тёти и всё больше походило на медведя.

– Видишь, – показал Даня на игрушку. – Такой медведь его и сожрал.

Сыновья тёти притаранили большущие коробки с игрушками со складов.

– Будем наряжать, чтобы когда вернулся, всё было красивым, да? – тётя подмигнула нам, бабушка махнула рукой и ушла обратно к себе на кухню.

– На ужин надо будет столько всего приготовить, голова кругом идёт. Свет, ты тут надолго?

Мама сидела в углу комнаты, опустив лицо в руки, и слёзы, как снег за окном, врезались в её ладони.

– Светка, ты меня слышишь?

Дедушки не было уже третий день, и по ночам с озера доносились громкий выдох ветра, и стоны, и стоны, и стоны.

Лес длился десять зажатых пальцев, две перепёлки и пять раз запотевшее и изрисованное окно. Затем деревья редели, выступали жирные мхи и запах зацветшей воды, перемешанные со ржавым металлом.

Проволоки-проводники вылезали из свежих ран деревьев, начиналось болото. В дни замёрзшего озера на другой стороне, если в час дня подойти к самому эпицентру болота, можно было увидеть, как какая-то девочка приближается с варежками вокруг лица и шепчет:

– Дедушка, деда, ты где? Пожалуйста, вернись, деда, мы по тебе все так скучаем.

Недалеко от избушки, стоящей на опушке леса, лежал непробудный пень, издалека похожий на мужчину лет шестидесяти. Иногда его нога подрагивала или на его кепку цвета хаки садились синицы с расцарапанным красным пузом.

Он вставал, чтобы пройтись до краяхи леса, обходил всё кругом, но возвращался обратно и засыпал сном мертвецким. Издалека слышно было, как плачут по нём медведи, а болотистые русалки с Су Анасы вшивают в свои волосы молнии – крики затерявшихся любимых, которые их никак не найдут. Они статическим электричеством к их спинами притягивались, и все листья, усыпавшие подолы леса, на несколько секунд поднимались в воздух, а потом аккуратно обратно падали.

Мы ездили пару лет до того с бабушкой в какой-то промышленный соседний город, где не было ничего кроме заводов и сломленных труб. У нас тоже почти ничего не было кроме таких же труб, но хотя бы была Большая Свинья, лес и иногда – мерцающая в лучах гора. А у них вот был зоопарк прямо посреди города.

– Да, знаю, знаю я, откуда он, – говорил дедушка и подходил, задумчиво пощипывая бороду, к одинокой обезьянке, которая дико и испуганно смотрела на нас из угла своей клетки. – На них эксперименты ставили, Пуня.

– Что ты говоришь такое? – бабушка попыталась рефлекторно закрыть мне уши, но было поздно.

– Чего, ты думаешь, они такие зашуганные?

Макака, сидевшая по соседству, забралась к самому потолку и начала подставлять ладони, чтобы закрыть чувствительные глаза от яркого света.

– Да, и нормально их так помучили, – дед кивнул бабушке в сторону обезьяны, которая обсывала грязную, чем-то сочащуюся палку.

– Что это, господи, Костя...

– Параш, не подходи.

Из рук обезьянки выпала свежая лапа кролика, которая будто ещё чуть-чуть и была готова побежать обратно в норку.

– Господи... ты боже...

Солнце действительно светило ужасно, заряжаясь болью, обволакиваясь отравленным дымом, и всё пепелилось в зените.

Дедушку нашли через три дня, припорошённого снегом.

– Судя по количеству снега, он не так давно лежал. Не убивайтесь так. Пару часов назад завалялся разве, – говорил троюродный брат, отряхивая чёрную шапку от белых тающих звёзд. – Вот, вот так, садитесь, Константин Никифорович, вы как, меня слышите?

– Оттуда! Оттуда идёт! – дед показал на угол, которого я всегда боялась.

– Кто?

– Медведд-дь! Кошей! Леший!

Родственники испуганно переглянулись. Дед улыбнулся и начал истошно смеяться, из его дёсен шла кровь на стыках с мутными зубами:

– Су! Су! Сууу-у! Су Анасы-ы!

– Так, хорошо, дедушка идёт в ванну, а вы все давайте на кухню, я сейчас что-нибудь состряпаю.

Братья поволокли деда из комнаты, а он брыкался в ответ и смотрел на угол, указывая своим жалким, по-дедовски немощным пальцем сначала на сломанные часы в углу, потом на неработающий телевизор с вышитыми ажурными салфетками, пока не остановился на мне:

– Ты! Ты! Ты её видишь?

Метель продолжалась три дня, женщины на рынке не покладая рук отряхивали с продуктов вязкие слои снега, а скрип лопат вшивался в звуки разрезаемого машинами мокрого снега с дорог.

На рынке во вьюгу оставались только тётя Глаша с белыми ресницами, несколько подпивающих дедов, включая вечно весёлого Алёшу, который с детства знал моего деда и каждый раз грозился замучить меня своими усами при поцелуе.

Адриан и Марат за соседней лавкой торговали рыбой, и за слоями дремучего снега каждый хвост выглядел как русалочий:

– Это русалки там у тебя, деда? – спрашивала я, глядя из-под могущественных плеч и усов деда Алёши.

– Ха-а! Да, именно, – Марат потянул большую рыбину за хвост и начал крутить её над головой.

– Что ты делаешь, ты так убьёшь кого-то!

С рыбы сыпалась сверкающая чешуя и пропущенный как через тёрку лёд, который сливался с идущим с неба снегом.

– Я сейчас эту русалку как оживлю, – деда Алёша опустил меня к женщинам за прилавком, а сам подскочил к Марату и начал выхватывать у него из рук рыбу. – Оживлю, полюблю, домой увезу новую жену!

Рыба плюхнулась на прилавок как живая. Алёша склонился над ней, приобнял и поцеловал. Смех стоял в горле, как в закрытом сосуде, который вот-вот взорвётся рядом с горящим огнём, и не мог выбраться, задыхаясь от трёхдневной метели.

Дедушка обморозил несколько пальцев на ноге и, как говорила мама, был из-за этого не очень в себе.

Он не мог пить чай, если в нём отражались какие-либо источники света – приходилось над ним стоять с руками-зонтиками или и вовсе оставлять его в полной темноте. Если не сделать этого, он тут же ронял кружку, и за обморожением следовали бесконечная череда ожогов, приходящих к мизинцу на поминки.

Он совсем перестал спать, всю ночь просиживая на кухне, слушал тихо радио, чтобы не быть наедине со своими мыслями. Но раз в час-два он кричал:

– Медведь! Чёрт! Леший! Су-у!! Су Анасы... Убёг! Я от тебя убёг...

И бабушка подходила к нему из другой комнаты, смотря в его паучьи стеклянные глаза, держа за руки:

– Күчтэ, Күчтэ, ты слышишь? Успокойся, Күчтэ, всё хорошо, ты дома, в тепле, ты больше не в лесу. Күчтэ! Костя!

Дед лающе заходился смехом, и если это происходило в ночи, я просыпалась и начинала кашлять ему в такт, бабушка разрывалась между нашими кроватями, странно поглядывая в тот самый угол, пока мы, как одинокие и покинутые псы, завывали песню, предназначенную не для её ушей.

Цветы, которые насобирала мама для венков, давно засохли и лежали понуро в противоположном от красного угле.

Часы с волком икающе чавкали, и я вздрагивала каждый раз, когда они пробивали новый час, а дедушка начинал нервно ворочаться на кресле – опять не вышло заснуть.

Один раз посреди ночи его обмороженный мизинец на ноге начал странно звенеть-сиять.

Вообще он был уже не такой чёрный – не совсем уголёк-уголёк, а заливался более здоровым синим цветом, как нормальный человеческий синяк.

– Кровь идёт. Это хорошо, – говорила довольной старшая сестра, а потом скрывалась в непонятном направлении до следующего осмотра.

Часы пробили два часа. Из тьмы за окном начали образовываться сосудистые ветви, пока клубок из вязкой жижи не упал прямо посередине комнаты – в самый шрам ковра.

Клубок притворился вороной с горгульей пастью и быстро приблизился к ноге бабушки.

Я пыталась кричать, чтобы пробудиться деда, но лежала разбитая параличом.

– Вкусно, – ворона причмокивала, и эти звуки доносились как из-под миллионных слоёв плёнки. Щелк-щёлк-и-мавк.

– Вкусно. Вкусно.

Я пыталась подвигать хотя бы пальцем, но меня приковали к постели, оставив в живых для пытки только мои глаза.

Из пальца посыпалось что-то красное, как песок.

– Кровь идёт, – сказала причмокивающе ворона. – Это хорошо. А ты, – она повернулась прямо ко мне, – сиди тихо и помалкивай.

Наутро дедушка разлил несколько чашек чая себе на колени, а палец странно-странно шипел и просил: ещё, етш-щ-щё.

Его забрали с ужасным сепсисом, температура под 40, никак не сбить, заражение крови. Палец отрезали.

– Он выберется, обязательно. Он у нас такой сильный, мам, – говорили сёстры.

– И всё из-за этой шлюхи в лесу, – прошептала моя мама под нос, когда бабушка, заливаясь слезами, пошла обратно в палату.

В озере не было слышно ни шагов, ни воя врагов, ни топота уходящего в глубь леса человека. Только электрический шёпот, писк.

Зверь, запутавшийся лапами в слое пожухлых веток рябины, не мог подойти и напиться. Из его брюха доносился бег тысячи лисиц, волков, ланей, и на фоне стучал кто-то в копыта, как в ладоши – радостно, тихо, громко.

– Палец! Палец! У меня будет новый палец!

В глади пара, распадающегося в лесу упавшим зеркалом, видно девочку, которую пытается женщина оттащить от середины озера, но её язык прилип намертво прямо к бьющейся в темноте льдине.

– Пуп земли это, – говорили дети, наутро рассматривая красную пятиконечную звезду посередине озера.

– Надо присыпать, – девочка прибила ногой стопку снега – маленькую плотину, но через неё кровь всё ещё смотрела на них своим нежно-розовым взором.

– Лепесток, розы лепесток, лепесток сирени! – она задумчиво наклонила голову. – Надо присыпать. Да, – она продолжила орудовать ногой. – Надо присыпать.

Дед притаился в углу бабушкиного гаража-склада, он играет в прятки. Я знала, я чувствовала, что он где-то рядом, ходила через ряды со сверкающими упаковками и пыталась словить сигнал – тонкое журчание электричества-воды.

Я чувствовала, что он где-то был...

Брат ходил тоже понурый, и даже перестал ставить нескончаемые эксперименты над всем живым-неживым, что попадалось под руку, и когда среди лабиринтов стеллажей и полок мы с ним случайно встречались, расходились молча, как мёртвые.

А он был, всё ещё был где-то рядом.

– Он дохлый уже, – проговорил соседский мальчик, переворачивая блестящего зелёного жука без одной лапки. Она осталась лежать через весь двор на уличном столе. – Смотрите, – он ткнул в него палкой.

– Шевелится, он шевелится!

– Не шевелится он, Таня, дура!

– Шевелится, он живой, живой!

Из проткнутого брюха жука выходили перевёрнутые созвездия и радиосигналы, которые невозможно было разгадать.

На следующее утро мы его похоронили.

Дедушка лежал во гробу бледный и безоружный.

– Очки даже не разрешили надеть на него.

– Как будто они там очень нужны ему, Свет.

– А нам они тут на что? – размазывая слёзы по лицу, говорила мама. – Он в них всю жизнь проходил.

– Ну да, как для фотки. Ну, для документов. Обязательно нужно надеть очки, если ты в них обычно ходишь.

– То есть ты хочешь сказать, Илья, что его на том свете без них не узнают?

– Что вы говорите вообще такое, мальчики? Идите отсюда.

Братья прошли ближе к гробу: среди пышных складок обивки, в миллионных слоях, как в слоёном тесте, лежал он – маленький и бессмысленный, совсем отдалённо похожий на нашего дедушку.

– Да, так его там точно не узнают.

– Заткнись ты, Коля.

Гнев, направленный внутрь. Дедушка лежал посреди леса с неестественно вывернутыми щиколотками, коленями и поломанной шеей. Вокруг летали мухи.

Покрывало снега резко вытянули из-под него, и он оказался в поле: цветущее, медовое поле, прямо над его ухом жужжат осы, но дед никак не проснётся.

Гнев, направленный наружу. Мама собирает венки, сидя на фоне догорающих покрышек и газовых башен-близняшек, со спичек падает последний осколок пепла.

Брат несёт по квартире маленький огонёк.

– Он разгорелся, смотри! Он разгорелся!

Он замедляется, но бег становится ближе и ближе, его голос зажевывает магнитная плёнка:

– У него уголёк, смотри! У него уголёк смотри У не- -го -го... уго- -ри

Из угла из года в год на меня смотрели: Казанская богоматерь, Матрона, увезённая из Москвы, Святая Прасковья – в нескольких экземплярах: большая, большая, малая, малая, много, много раз. Цветастое рукоделие, всегда бело-красное, с небольшим количеством зелёного: расшитые ленты для подпоясывания, бахрома, монетки с нагрудных повязок и ожерелий, звон-звон, советские ажурные салфетки, отрывок чёрно-белого завалившегося жука – түгэрэк жаулык, крышенский головной убор. И повалившаяся глиняная лошадь с обожжённой шеей, маленькая деревянная фигурка барана и свиньи – их прабабушка с бабулей между собой называли киреметью, но на мой вопрос, что это, вечно косились и делали вид, что меня не услышали.

К брату-лётчику бабули, разбившемуся на самолёте, со временем добавился дедушка с ввалившимися глазами – они безучастно смотрели на всё, что происходит в комнате, и только когда раз в пару дней отражения свечей с красного угла попадали им на лицо по очереди, их взгляд оживал, а лицо оттаивало, и хотелось даже приблизиться и сказать им пару слов.

Из другого угла рычал волк-медведь-подбитое-лыко:

– Ты его не спасла, ар-р, ра-ар! И мне нечего больше есть.

Мама тогда оставила меня у бабушки на год.

Я смотрела на кукол на подоконнике, затем переводила, как стрелки часов, глаза на безжизненные чёрно-белые, музейные портреты, затем на злого волка, и снова на деда. Я не трогала кукол полгода, чтобы они запомнили ощущение воздуха, когда они ещё были рядом.

Сквозь сетку на подоконнике проклёвывались первые почки берёзы, гиацинты подбирали что-то витающее на улице и радостно шептались запахами, а слёзы заполняли экраны телевизора, занавешенные зеркала, окна, к которым больше никто не хотел прикасаться.

Бабушка осунулась и стала последней Прасковьей на земле – такой же крошечной, скрюченной, она подходила к красному углу и сбрызгивала всё вокруг святой водой, как своими слезами.

На днях умерла сестра бабушки, а за ней её престарелая мать, а бабушка только и причитала, что:

– Беда не приходит одна. Отец, сын, святой дух, всегда тройками, их забирают тройками.

– Никак не могу починить этот дурацкий кран, – Арсен выходил весь заляпанный в чём-то чёрном, каждый раз всё больше и больше.

– Ничего, не страшно. Забудь, отпусти. Не страшно, не страшно. Забудь, отпусти. Не страшно, не страшно уже ничего. Забудь.

Под тонкой коркой льда ближе к лесу я захватила электромагнитные волны и там нашла: фантики любимых конфет двоюродной бабушки со стёртыми лицами зверей и мордами сказочных принцесс, крышку от бутылки со святой водой, монетки с дырками и потёршимися силуэтами: чаще всего с двуглавыми орлами, но были и незнакомые мне силуэты, арабские вязи и распускающиеся турецкие цветы, а ещё – две пары сверкающих глаз, потонувшие в луже. Зовущих меня туда, зовущих меня.

Я разбила, я её разбила, лужу эту, и осколки навсегда, навсегда прекратили своё вещание.

Когда я захожу в душ после мороза, всё искрится. Всё пощипывает иголками кожу. Я трогаю холодные ноги, не совсем понимая, что они мои.

Вода попадает в приоткрытый рот, и горло сжимается в испуге. Как чайник, не наворчавшийся, выплёскивает закипающую воду: нет места ей. Я отхаркиваю хлорку, воду, слизь, содержащее лёгкого, в нём – дедушкины стёкла, вставшие поперёк гортани, согнутые монетки, расшитые когда-то красивые поясы-ткани. И пыль: подвенечная, бесконечная, пыль моя. Пыль ни о чём не знающего, ни о чём не помнящего города и исчезающей горы в белых лучах пронзённого насмерть света. Города, который так и лежит под вздёрнутым смогом где-то в районе сердца, а заволакивающий мои глаза дым сталкивается с небом на фоне рушащихся труб-близнецов и взрывается. Это не глаза – это два озера, две сестры размножившиеся держатся друг с другом за ручей между ними как за пуповину, за руку. Это тьма красного угла, расштанная в час ночи, откуда на меня смотрит, медленно поворачиваясь... Это пыль, пыль моя, подвенечная, вечная, то, что с собой ношу, и воеет вдали невыносимо медведь-волк, всеми покинутый. Я кидаю ему монетку в темноту, но не слышу, как она о дно ударяется.

Мама собирала меня в садик, молча вычёсывая волосы целый час, что-то приговаривая на них, чтобы потом за пять минут зацепить какую-то резинку поверх другой резинки: ой, да чёрт с ней.

Она рассказывала про диких женщин, живущих в лесу:

– Они ходят голые, всегда вместе, группами.

– Им не холодно?

– Нет, у них покров волосистой хороший, всё тело в волосах. Когда они бегут за тобой, они закидывают свои груди себе за плечо, чтобы не мешались, – мама приблизилась ко мне, чтобы укусить. – Х-а-а! Они опасные, они могут напасть, если их не задобрить.

– Как их задобрить?

– Ну, знаешь, накормить, например, – мама наклонила голову, примеряясь к резинке: настал ли её черёд. Видимо, нет. – А если их покормить, оставить им еду где-нибудь, они вообще отличные женщины. И по хозяйству там помогут, и даже за детьми приглядывают. Говорят, лучше себе жены не найти. Идеальные, небесные жёны.

Мама открыла красную шкатулку в бисере и убрала туда гребень из слоновой кости. Шкатулка сказала: ца-ап.

– Даня, Даня, ты где?

Я нащупала скользкую руку брата в полной темноте ванной:

– Фу, что это?

– Сегодня целую семью слизняков нашёл, ты только посмотри на них!

– Бе, нет, спасибо. Я тебе кое-что хочу сказать по секрету. Обещаешь никому не говорить?

Я почувствовала, как брат кивнул.

– Я знаю, где дед.

Несколько слизняков громко, как с горки, покатались с его руки на самый низ ванной.

– Таня, он умер.

– Нет, он ушёл к своей небесной и дикой жене. Он ушёл в лес.

Луна из преисподней. По небу за ней бежит отрубленная голова – так говорят – и когда она проглатывает луну, она опять выходит из раскрытого горла. Лунные затмения – праздник кро-мешной тьмы.

А сегодня – сегодня луна просто дьявольская, красная, набухший чирей, повисший у горизонта. Надо смотреть, надо вбирать в себя, пока она здесь есть, не успеешь обернуться, как она уже превратится в маленькое смешное блюдо, завывающее прямо у потолка.

Дедушка любил луну, особенно он любил на неё смотреть под конец жизни – он либо про-падал в лесу днями, неделями, либо был прикован к стеклу как к экрану. И тикали часы жизни отмеренной – волк-медведь завывал, посасывая свою оторванную лапу, а дедушка чесал палец, будто вот-вот он его лишится, будто он знал.

Чуть рядом что-то падает – он озирается. Брат говорил, что слышал, как дед воеет, я говорила, что глупости. Пока какой-то тёмной ночью не наткнулась на него, сидящего в темноте, и из-под полы его четырёх пледов не выпал сверкающий белый осколок.

– Давай так его оставим.

Мы старательно натягивали на палец Оли резинки, которые искали всем двором по углам в квартирах. Кто-то притащил нейлоновую нить, мы укутывали палец, оставляя усы-«проводники». Они вели к старым поломанным очкам дедушки, больше никому не нужным, к загнутым монеткам и к тому самому сверкающему осколку.

- Ай! Больно!
- Извини.
- Подождите! – брат прибежал, запыхавшись.
- Что это?
- Пульт, пульт! Дед же любит телевизор смотреть!
- Не нужен нам пульт!

Дане было всё равно, он молча обматывал пульт от телевизора со всех сторон, особенно стараясь захватить самые потёртые клавиши: 3, 5 и 8:

- Эти каналы он чаще всего смотрит, наверное, он очень по ним скучает.

Нам оставалось найти только волчьи клыки, но ни у кого из соседских детей, кроме меня, не было даже собачьих.

Мы выносили рыбу из озера, из ванной в квартире бабушки, из ванной на огороде тёти – строем, друг за другом: я, брат, ещё один брат, двоюродная сестра, троюродные братья, сёстры, мама, папа со стёртым лицом, тётя, тётя, бабушка, двоюродная бабушка, её муж.

Впереди всегда шли: Прасковья старшая, двоюродная бабушка, дедушка – со сверкающими, лоснящимися жиром лицами, все в чешуе, как будто они уже объелись рыбы.

Не помню, куда мы её складывали, но к самому сердцу комнаты из ковра – сплящим солнечным светом, как к гравитационному центру, нас притягивало.

Лицо Прасковьи осветилось и мигнуло: на мгновение она превратилась в радостную пятилетнюю девочку. Посыпались монетки – звон-звон – просачиваясь из отслаивающейся хлопьями пластмассы лепнины на потолке, а узоры на красных коврах огненными львами обжигали нам щёки.

Прасковью стало затягивать, и мы, как за репку, схватились за неё, но она говорила, она молила: нет-нет, пожалуйста, не надо, отпустите, вам надо меня отпустить.

- Дед достал из кармана лестницу, устроил её на руке и жестом предложил Прасковье спуститься.
- Спасибо, К чт, дорогой.

Снова пятилетняя девочка подселась в её глаза, и монетки посыпались, а она светилась-светилась, пока не стала совсем крошечной и не спустилась по лестнице с ладонь дедушки.

Под конец её пути палец дедушки засосало в светлую выгребную яму, и на комнату опустилась тьма. Задыхалась я, кашляла, свернувшись в клубочек, и билась у дотлевающих ковров в углу в судороге, и лежало рядом выкинутое из моря рыба-лёгкое, испещрённое монетками как иголками, продавленное в вечном недосмотренном сне.

– Какие-то дурацкие рыбки, – брат зевающе подвинулся дальше от озера, переключившись на поджигание муравьёв.

- Тры-парып! Тры-пруп, – говорила я им, и они понимающе выкатывали на меня глаза.
- Пруп-пыры-трып. Пруп-трып.
- Ты у нас теперь на рыбьем разговариваешь?

Я молча посмотрела на него, и он, устыдившись, ушёл.

- Прр-рып! Пруп-тыры, – это значило: «Не обращайтесь на этого дурака».

Я погрузила ладонь плашмя в скользкую поверхность воды, и мои пальцы накрыло нисходящими волнами бьющегося-бьющегося сердца озера.

Укутавшись и сравнявшись с рыбками, пальцы отдавали всё своё тепло им, излучая мощные лучи радиации. Рыбки вплотную подошли к ним.

Рыбки были пальцами, голые пальцы плавали в озере, начинённом батарейками, как взрывчаткой. В откормленной радиацией, большой, жирной, обмасленной Свинье не было ничего кроме крошечных белых пальчиковых, мизинчиковых, дрыгающихся и меняющихся местами плюсов и минусов, дрожащих ветвей инаковорастущего дерева, на котором повисли сдутые и проколотые лица моих утонувших бабушек-дедушек.

Я закрываю глаза и вижу взрывающиеся вулканы.

Из вспышек выходит златокудрый конь, его голова – это миллион солнц, а грива – млечный путь, на который падают осколки света фонарей с улиц.

Со смерти дедушки прошло десять лет. Я приезжаю на несколько дней погостить к бабушке, и она ставит трясущимися пальцами на неровный стол чайник, выбегающая вода обжигает её пальцы. Я тянусь к нему.

– Подожди, подожди, дай ему поворчать, он ещё не наворчался. Ты чего пригорюнилась?

Я рефлекторно убираю руку из-под лица и долго смотрю на её сморщившиеся пальцы – все в укусах от каких-то неведомых жуков и зверей на огороде, некоторые в пластмассовых напальчниках, которые только сейчас мне начинают напоминать презервативы.

– Баб, а что с дедушкой-то стало?

Она снова облила себя кипятком – на этот раз из кружки:

– Тань, вот надо оно тебе, а? Ну зачем лезть?

Весь оставшиеся день мы провели на разных кроватях, смотря в резной пластмассовый потолок. Я – на верхней койке двухуровневой кровати, так высоко, что лепнину можно было пощупать, она – на раскладном диване, где они спали с дедушкой.

Из завинчивающихся узоров к нам хотели прорезаться монетки-адское-пламя, но им некуда было пасть.

Спустя время рана зажила, и о дедушке все как будто забыли. Так, иногда за столом кто-то молча поднимал бокал: за тех, кто не с нами, и все выпивали, не чокаясь.

Я отрывками пыталась восстановить ход времени, порядок действий, но всё перемешалось, как только лёд с озера начал сходить и своими зубьями злыми сомкнул палые челюсти. Больше не было прохода, горло сомкнулось намертво. Только спускались с горы на город белые лучи под откосом, которые совсем не грели.

Где-то недалеко в лесу он всё ещё лежал и дышал громко, потому что бежал, бежал запыхавшись от своего монстра, от дико любившей его женщины с накинутыми за спину грудями. Она не отпустила его. Женщина, дедушка, монстры, их ноги, кинжалы шерсти, шерсти множилось, как отражения, и уже сотня силуэтов – грязных, в болотных лужах и рябящих волосах – припорошили его снегом: больше ты никогда не заснёшь, никогда-никогда не вернёшься. Теперь ты мой.

Он бежал он споткнулся он лежал и тяжело громко неостановимо дышал и в моей груди выли одинокие всеми покинутые псы оставленные на растерзание голодному медведю – на каждый глубокий вздох на каждое поднятие груди мерцали высоко заливающиеся холмы.

Пальцы его покрывались чёрными росписями и вращались в землю – в вечную мерзлоту. Он мерцал для меня напоследок на той горе из скомканного астматического света. Он мерцал он бежал он устал.

Екатерина ЖИЛИНА

Место 404, маршрут или комната, мало ли что ещё. Нет неподвижности, тут начинается формироваться отдельная уединённая история – книги, записи и вещи более не принадлежат миру за порогом. Всегда уязвимое, такое уязвимое, – защищаясь учишься объяснять своё присутствие – всегда.

...и прочь
[ни словом, ни взглядом]
Ждёшь ли кого? – Да!
Обнял бы сзади,
Невидимый,
покуда не оборотит
глазами к глазам

Усталь ростепели
веки тяжелы, источено,
прорежено, насквозь
дыряво то,
что из укладки
развернёшь увидеть,
при той поре,
когда вплотную –
об нём заране знаешь –
зайдёт то, от чего
отворотиться лъзя,
и всё же –
никак не можется,
когда
спасённому
не быть

Подумайте о том, сколь много тревоги и беспокойства и доуки в тех вынужденных паузах, в которыеправляешь беспорядок в одежде, когда пальцы не отыскивают раструба перчатки и треск петелек сводит с ума, в которые ищешь ключи там, где них нету, – не уйти с места вмиг, и через то увидеть и услышать положительно лишнее, ах, как уйти? – уже в дверях, а всё никак не выйдешь.

Екатерина Жилина родилась в 1974 году в Первоуральске. По образованию культуролог. Стихи публиковались на сайте «Полутона», в журнале «Дегуста», переводились на итальянский язык. Автор двух книг стихов – «Платочек» и «Стим-панк». Живет в Екатеринбурге.

Сороки тихонько скрежещут внутри прохуdivшегося гнезда в яблонево́й аллее возле старой Станции скорой помощи. Всяк занят своим. Трещания, гудения, чирик и шелест шагов в сухих листьях, которые усердно переворачиваются каждым пернатým пешеходом.

Далекий голос – молчание от утери адреса, но вот же – дозволясь, и всё – о пустяках, они и гре-ли сердце и делали его желанным для меня, но вкрадется и станет неотступно – ведь говорят – к иным – войдут и сядут, перчатки рва в рассеяньи и слов найти нельзя обоим – и веришь глазам, но верить и тому приходится, [что заглублён в земле] того – не надобно, едва ли [...]

Покажут
затемнение в душе
лица и рук
правдивые оконца, –
гадай
по очертаниям пятна, –
кому
ход под развилкой
выйдет боком.

Конечно
всё позабудешь,
едва,
отмычек не прихватив,
войдётся

Покуда,
не уловлён
ни в ад,
ни в вертоград

С улыбкой дольней:
«Чего тебе?
Моей погибели?» –
склонюсь
зубам и когтям.

Вертоград и ад
сомкнутся
отсюда и навсегда

Снег – всё, как пепел,
 как пепел поутру,
 когда из гавани ушла трирема(?)
 и возвратилась – неверно
 написано письмо
 с рекомендацию, рвут
 конверт, с листка
 сдувают пепел,
 велят чинить перо –
 переписать, метёт –
 сильней, сильнее

Отосланные прочь, вернутся неузнанными, – раздетой руку подают, щекою к щеке, сличая отпечатки, глядятся глаза в глаза – перверсия любви? – запястье хрустнет веткою в дыре, – разящий щёлк зубов? – лепет, любовный лепет, заволоком оборочён, – возлюбленные губы разойдутся порезом в незабвенной целине, целуя кою, дуешь на волоски безцветные, – ласкаешь прикасаяся к тому, чего дотрагивалось милое тебе.

А не то уродуют, слепив листы, замарывая, надрезая, отрезывая, вклеивая вместо, либо поверх, – всё, чтобы выправить или заделать, тайну замуровать, как будто бы бумажного листа в огонь не бросить, не изорвать в клочки, которых не собрать, не привести в порядок, не закрепить на холке скакунка, который, как ни окликнешь, – вмиг подставит ногу, – по рыцарски подсадив в седло, – бумажной массе голос, подмешав, которого, что шёпот, то и вопль, достигнут – чего-то... кого-то... от кого и прячут все слова, слова любые, обращаемые в звук.

404. отыскивать места, где можно отъединиться от всего остального – сидеть, раскрывшись всему дому... ну... этому месту, улице за окном, конечно, вернее они открываются мне – так правильнее. Пустые номера, палаты и лестничные клетки – обхаживаешь, обнаружив, оберегаешь – для себя. И там с тобою отдариваться вневременьем – временным вневременным отдыхом, – если допустить, что можно где-то остановиться, сесть у окна в кресло, предварительно отодвинув его от окна, чтобы не было видно снаружи – то есть самой оставаться невидимой, и пока сидишь в кресле – всё-всё-всё откладывается на срок, который исполнится, когда выйдешь из комнаты, но пока ты там, внутри – ты почти свободен, бремя остаётся за порогом, оно не войдёт, и от него не спастись, но можно задержать процесс. Мы с папой проходили поздними вечерами многими лестницами, коридорами и переходами – чтобы набрать чайник воды из титана в кухне и отнести его с собою обратно. Мне не кажется, чтобы он умышленно учил меня... умению, какому-то неформулируемому умению – искать и находить безопасное безлюдье, замкнутое безлюдье, где ничего не произойдёт со мною из того, что приутоковано мне – оно настигнет меня – но не там. Почему я выхожу? – слишком хорошо там. Непосильно хорошо.

АТЛАНТЫ И КАРИАТИДЫ

Рассказ

Дверь открылась и, вместе с клубами пара, из парилки вывалились Санька и Катька. Катька оказалась спортивной, коротко стриженной девушкой за метр восемьдесят ростом, с крепкими острыми грудками и широченными, как у пловчих, плечами. Она хохотала и коленкой подталкивала вперёд упирающегося малыша Саньку. Санька, как сам он представлялся, был «симпатичный карманный мужчина в полном расцвете лет». Санька прибедрялся, конечно, его бы даже в армию взяли с удовольствием, всего семь сантиметров не хватило. Просто он был из тех, кто до шестого класса растёт нормально, но потом, по неизвестной никому причине, останавливается, а к десятому уже смотрит на одноклассников задрвав вверх голову.

Санька ещё вздрагивал и краснел, когда тётки в троллейбусах орали: – Ваш билет, мальчик! – но это больше от неожиданности. Кроме того, что он был симпатичный, он был ещё и умный, весёлый, ну и смешной, конечно.

Сейчас он стоял с тазиком в руках посреди бани, и был так трогателен на своих тонких ножках с остатками банных листьев на белой коже, что Катьке захотелось взять его на руки вместе с тазиком. – Да нет, Катька, – продолжал он разговор, начатый в парилке. Вообще-то говорил он один, а Катька только слушала – Всё это комплексы.

Он поднял тазик и, смешно, по-детски ойкнув, окатил себя водой, которая с хлопьями прокатилась по доскам пола. Катька легла спиной на длинную деревянную лавку и закинула руки за голову. Улыбаясь, она смотрела на Саньку.

– В школе меня, конечно, доставали, – сказал Санька и уселся на Катькин живот верхом, как всадник. Он поёрзал попой, устраиваясь, и Катькины колени непроизвольно сжались в приятной судороге. Ей было так хорошо под его маленьким тёплым телом, что она зажмурила глаза от удовольствия. – То даст щелбан какой-нибудь дурак, – продолжал трещать Санька, – или качок поднимет вверх ногами перед классом.

Санька изобразил «качка» и Катькин живот запрыгал от смеха вместе с Санькой.

– Драться я пытался. И кусался, и царапался. А потом понял, что только хуже делаю. Ну, и стал сам над собой смеяться, даже кличку себе придумал – «молекула».

Катька фыркнула, легко подтолкнула Саньку тяжёлыми, сильными бёдрами к себе и чмокнула в лоб, обняв Санькину голову руками. Санька затих, прижавшись к мокрой Катькиной груди, но ненадолго.

– Дома, конечно, я ревел, – сказал он с закрытыми глазами, – в школу ходить вообще не хотел, особенно на физкультуру.

Сергей Вараксин, родился в 1957 году в поселке Чупа (Карелия). Окончил Ленинградскую лесотехническую академию. Фотограф, член Союза фотохудожников России. Рассказы опубликованы в журналах «Нева», «Урал», «Южная звезда», «Дружба народов» и др. Живет и работает в Петрозаводске.

Санька поднял голову:

– Пойдём, покурим?

Он слез с Катькиного живота и распахнул дверь в предбанник. Оттуда потянуло прохладным осенним воздухом.

Они уселись на скамейку вдоль стены, и Санька завернулся воробьём в розовое махровое полотенце. Он подвинул к себе пепельницу, зажёл спичку, прикурил, затянулся.

– Нас, пока не разделили, на физкультуре всех по росту ставили, сначала мальчиков, потом девочек. Я всегда последним стоял, а первой девочкой стояла Алка, мама говорила, что они нас вместе с её матерью рожали, в смысле – в один день, ирония судьбы.

Санька улынулся, предвкушая:

– Так у неё резинка от штанов как раз мне по плечо была.

Катка взвизгнула и повалилась спиной на скамейку, трясясь от смеха и болтая в воздухе ногами.

Санька, довольный, поплевал на сигарету и выбросил её щелчком в сад, в приоткрытую дверь предбанника.

– Ну, пошли, холодно.

Он повесил полотенце на гвоздь, прикрыл за собой дверь и взял с полки тазик.

Голая, ужасно красивая сегодня Катка упёрлась руками в низенький потолок, внимательно разглядывала Саньку. Её длинные, загорелые ноги были расставлены как циркуль, и капельки пота ползли по животу и падали на пол.

– Здорово! – сказал восхищённый Санька, скрывая за тазиком то, на что так нагло и весело пялилась Катка.

Он развернулся к ней попой, сунул тазик под кран и крутанул вентиль.

– Ну вот. – Вода застучала о цинковое дно, и Санька заговорил громче: – Так было до самого выпускного, когда эта Алка затащила меня в спортзал и прижала к холодной стенке. Я чуть не описался от страха.

Санька засмеялся.

– Мы в тот день оба невинность потеряли. Вместе с комплексами... – осторожно добавил он и оглянулся опять на Катку. Катка продолжала стоять кариатидой. Она смотрела на Саньку сверху вниз, не отрываясь, покачивая бёдрами из стороны в сторону. Под влажной, тонкой, почти коричневой кожей плавно перекачивались заработанные долгими, упорными тренировками мышцы.

– У-ух! – помотал головой Санька. – А потом я уехал поступать в институт и больше её никогда не видел, – быстро закончил он и закрутил вентиль.

– А пото-ом? – томным голосом спросила Катка.

– А потом – суп с котом, – сказал Санька.

Он попробовал пальцем воду, обернулся и попытался отскочить в сторону, но не успел. Катка подхватила мужа на руки и с визгом потащила к дверям парилки. Санька колотил ногами в воздухе и тоже что-то там кричал, счастливый.

Григорий БЕНЕВИЧ

СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ

Памяти моих родителей¹

Я обращаюсь к прошлому своей семьи и своих предков не из праздного любопытства и не как историк, но чтобы хотя бы что-то понять и в своей собственной истории, и в преломленной в жизни нашей семьи истории России.

Записи носят случайный характер. Могут быть повторения и даже разночтения. Некоторые отрывки слегка беллетризованы. Первая часть записей сделана еще при папиной жизни.

Часть 1

Рифмы судьбы

Первые 25 лет моей жизни прошли в Питере, на Фонтанке (дом 129), и почти каждый день я проходил мимо соседнего дома, по Фонтанке, 131, украшенного (на выходившей на Б. Подъяечскую парадной) юношами в римском стиле, один из них был почему-то с магендовидом, «обжигавшим» некогда мое сознание тайным знаком, имевшим непонятный тогда для меня смысл, но как-то относившимся ко мне. Спросить было особо некого – в советское время еврейская тема в нашей семье была почти табу, а иудейская и вовсе отсутствовала. А может, мне просто больше нравилось, чтобы эта тайна оставалась тайной. Но вот на днях узнал случайно, что это место было связано с историей нашей семьи еще до того, как мы стали жить на Фонтанке, – папа рассказывал. Папин дедушка по материнской линии, оказавшись в 20-е гг. в Ленинграде, точнее, в Гатчине, нередко приезжал в Ленинград в одну артель, где ему давали задание – он делал дома на особой машинке наконечники для шнурков, чем и жил. До революции-то он был состоятельным человеком, служил чем-то вроде эконома в поместье одного немца на Юге России, а после революции пришлось, вот, наконечники для шнурков прилаживать. Артель его размещалась не так далеко от этого места, т.е. Фонтанки, 131, а сюда он ходил, будучи человеком верующим, в домашнюю еврейскую синагогу (на самом деле это был молельный дом – Г.Б.). Сам-то дом принадлежал когда-то купцам второй гильдии, Марголиным, как я теперь выяснил. Когда именно здесь появилась молельня, не знаю, но юноша с магендовидом, вероятно, как-то с нею связан. Вторая рифма

¹ Беневича Исаака Бенционовича (17 сентября 1925 г. – 19 января 2024 г.) и Богорад Инны Натановны (23 апреля 1931 г. – 9 декабря 2024 г.).

Григорий Беневич родился (1956) и живет в Санкт-Петербурге. Преподавал в Высшей религиозно-философской школе и Русской христианской гуманитарной академии, занимался патрологией и изданием византийских христианских авторов. В советское время был членом Клуба-81, публиковался в неофициальных журналах – «Часы», «Обводный канал», «Предлог». Статьи и стихи печатались в журналах «НЛО», «Новый мир», «Звезда», «Волга», «Нева», Prosodia и др. Автор двух монографий: «Мать Мария (1891–1945). Духовная биография и творчество» (2003) и «Краткая история "промысла" от Платона до Максима Исповедника» (2011) и более ста статей в области литературоведения, культурологии, философии, патрологии, а также сборника стихов «Дважды двенадцать» (2025)

судьбы состоит в том, что дом этот был в своем нынешнем виде построен архитектором Лишневским, воспетым мною в «Поэме о гастарбайтерах» (опубликована в НЛО) в связи с совсем другим домом – на Петроградской стороне, мимо которого я нынче почти каждый день прохожу.

13 мая 2016

Рифмы судьбы – 2

Я знаю, что ассоциации и совпадения – наиболее примитивная форма мысли. Но, оговорив это, перехожу к делу. Ожидая моего рождения, папа с мамой жили Фонтанке, недалеко от угла с проспектом Майорова (бывш. Вознесенским, и ныне снова Вознесенским). Ну, так вот, уже будучи сильно беременной, мамочка прогуливалась с папочкой около Филипповской булочной на углу Вознесенского и Садовой. И ровнехонько в этом месте маму напугал какой-то пролетарий, выскочивший откуда ни возьмись и гаркнувший на нее. От этого мамино испуга наутро я и родился. А в чем рифма судьбы-то? А в том, что про этот самый угол некогда в «Шуме времени» написал Мандельштам: «На углу Вознесенского мелькнул сам ротмистр Кржижановский с нафабранными усами». Это к нему подбежал Парнок, бежавший по Садовой.

И что? А ничего. Просто сегодня мы справляли мой день рождения у родителей, переехавших после Фонтанки на ул. Кржижановского, в Веселом поселке. Да, Кржижановский не тот. Но какое совпадение!

27 авг. 2016 г.

«Наши» в Персии (о папином отце)

Когда стали в Сети доступны сведения об участниках Первой мировой войны, я поглядел, что там написано про моего деда, Бенциона. К своему удивлению, нашел, что он лежал в госпитале в Тифлисе. Причем тут Первая мировая война? Расспросил батю, и он раскололся на интереснейший рассказ: вспомнил, с чего это во время Первой мировой лечился дед в Тифлисе в больнице. Оказывается, он вместе с 3-м сводным Кубанским (Ейским) казачьим полком, где был военврачом, участвовал в военных действиях в Персидской кампании. В 1915 году германо-турецкое командование вело наступление в Северной Персии с целью выхода на территорию Иранского Азербайджана и Афганистан. После того как турко-немцы захватили Тебриз, российское командование решило отбить его, послав 4-й Кавказский корпус. Он состоял в основном из казачьей конницы. Вот, вместе с этими самими казаками, вероятно, Бенцион Исаакович и оказался в Персии. Там он, как вспомнил батя, среди прочих подвигов спас и какого-то местного большого вельможу, чуть ли не наместника шаха в Тебризе, от мучившего его фурункула с помощью такого простого средства, как медовый компресс. Видать, медицина по Авиценне этого средства не знала или знала, но забыла. По крайней мере, местные врачи вылечить его не смогли, а дед справился. Но вскоре заболел сам и был отправлен в Тифлис на лечение, там его и выходили. Хорошо, что дед поучаствовал в спасении русскими войсками армян от геноцида – одна из задач, решавшихся русской армией вместе с армянами-добровольцами. Еще сообразил, что кубанские казаки, которых лечил дед, – те самые, из которых был Данила Ермолаевич Скобцов, муж Е.Ю. Скобцовой, м. Марии, о ком я написал книжку, да и сама она была тесно связана с ними. Вот какие пасьянсы.

Но как это дед, со своим еврейским происхождением, оказался в казачьих частях? Выяснилось, что был такой приказ, ну или распоряжение, чтобы евреев-врачей приписывать к частям, в которых они, потенциальные леваки и революционеры в глазах властей, не могли бы вести революционной пропаганды. Надо сказать, что, когда началась Гражданская война, и Кубанский казачий полк всем составом должен был принять в ней участие, т.е. отправиться на фронт уже новой войны, офицеры, сослуживцы деда из казаков, предупредили его об этом в том духе, что,

мол, тебе Бенцион, наверное, будет неудобно против «своих» воевать, так что езжай-ка ты домой, что дед и сделал. Предупредил его нач. штаба, бывший его другом. Он выписал деду командировку, чтобы тот мог ехать и не участвовать в этой братоубийственной войне. Дед приехал на вокзал, а там большевики уже офицеров расстреливали... Дед в укромном углу сорвал свои погоны и, спрятавшись в товарном вагоне, поехал домой. По дороге заболел тифом в товаряке. Сам с трудом выжил, но привез тиф домой, в свою станицу Березовка, под Николаевым и Одессой. От этого тифа заболела его мама, и умерла, бедная. А он выжил. Фотографию, где он в офицерской форме и с саблей в казачьей части, его сестра, тетя Маня, потом сожгла, в 30-е годы, чтоб его не репрессировали как бывшего царского офицера. Когда его выносили, как раз те места заняла армия Котовского, и его, едва пришедшего в себя, привлекли организовать госпиталь. Так вот произошел у него переход от участия в Первой мировой к участию в Гражданской. Коммунистом он никогда при этом не был, а был человеком, далеким от политики, как я понимаю. Иудейской веры он придерживался до конца дней. Но без фанатизма. Праздники отмечал, но сало ел. Тору читал на иврите, а доклады по медицине, пока было кому слушать, делал на латыни, чему научился в Лейпцигском университете.

2-3 августа 2017

Неожиданные пересечения (еще о дед)

Тот момент, когда осознаешь, что герой известного немецкого романа, «забросивший Св. Писание» (т.е. богословский факультет в Галле), «чтобы броситься в объятия музыки», начал учиться в Лейпцигском университете и описал в письме другу великолепный 700-тысячный Лейпциг, примерно в то время (ну, чуток раньше), когда в тот же университет приехал учиться из южной губернии Российской империи, оставив «родимый омут», юный Бенцион Беневич. Их жизнь была совсем разной, как и их прошлое. Деду приходилось, чтобы выжить и платить за свое образование, работать помощником кузнеца, Адриан Леверкюн таких забот не знал. Но Лейпциг, с его университетом и знаменитой ярмаркой, город, в котором казалось, «что мировой пульс бьется в твоём теле», стал местом встречи тех, кто готов был броситься в объятия европейской культуры (ее науки и искусства), предпочтя ее всему остальному. Первая мировая война, русский коммунизм и немецкий нацизм маячили в исторической перспективе так славно начинавшегося XX в. Являлся ли деду черт в кузне, семейное предание не знает. Ульянова дед пару раз в Германии слушал, но медицины ради революции не оставил.

22 декабря 2017

Лишневские и мы (или снова рифмы судьбы)

Я уже поминал имя архитектора А.Л. Лишневского; построенные им дома оказались прямо или косвенно влечены в историю нашей семьи. Судите сами. Свою все вместе. Мама родилась и прожила первые 6-7 лет на Петроградской стороне на углу Малого и Ленина, прямо напротив доходного дома И.Ф. Алюшинского, построенного Лишневским в 1907–1908 гг. (воспет в стихах Зоей Эзрохи!). Потом, в 1936–1937 гг. они переехали на Фонтанку, д. 129, рядом с которым, по адресу Фонтанка, 131 стоит дом купцов Марголиных, построенный (точнее, перестроенный) Лишневским (в 1914). В этом доме, как я писал, размещался еврейская молельня, посещаемая в оны годы моим прадедом, дедушкой моего папы, который запомнил, как мальчишкой сопровождал его (папа с мамой тогда, конечно, еще знакомы не были, но после свадьбы они жили на Фонтанке, и здесь же жил до 25 лет и я). Да, после переезда на Фонтанку мама начала ходить в школу, которая размещалась в самом знаменитом из домов, построенных Лишневским – Дом городских учреждений (постройка 1904–1906 гг.), на углу Вознесенского и Садовой. Если иметь в виду, что Лишневский до революции построил в СПб примерно 20 домов, то совокупность этих

совпадений выглядит, на мой взгляд, аномально замечательной! И в общем, я рад, что, не зная всего этого (по некогда совершенному равнодушию к краеведению, в т.ч. семейному), помянул добрым словом Лишневого в «Поэме о гастарбайтерах» (2014 г.) в связи с доходным домом Б.Я. Купермана, построенным Лишневым в 1911–1913 гг. по адресу ул. Плуталова, д. 2.

Жизнь и творчество Лишневого – яркий пример судьбы эмансипировавшихся в русской культуре евреев. Ну, и наша семья в этом процессе посильно приняла участие. Так что такое случайно-неслучайное соседство нас с ним вполне можно считать символом общей в культурном отношении судьбы.

18 апр. 2018 г.

Мама маленькая, ее бабушка и «капарот»

Мама вспомнила, как ее бабушка (пока была жива, а значит, почти до самого моего рождения в 1956 г.) крутила (на Йом-Кипур, но это она как раз прочно забыла) над ее головой курицу и даже – с подсказкой одного лирико-этнографического фильма – вспомнила слово «капарот» (в написании специалиста по иудаике Валерия Дымшица – капорес). Ну вот, а мне до сих пор казалось, что никакого соприкосновения с религией предков мама (1931 г.р.) уже не имела. Интересно, кому в советском Ленинграде доставалась сама курица? Соприкосновение же с религией у нее, как выяснилось, было, и не только через этот обряд, – по субботам и по праздникам до самой смерти своей бабушки Сони (по паспорту Ревекки!), она сопровождала ее в синагогу, ждала ее там, пока она была на службе, и потом отводила домой. Жили они (как потом и я) на углу Фонтанки и Б. Подъяческой, так что до синагоги на Лермонтовском, 2 было и не так уж далеко, но и не так уж близко, чтобы отпускать старушку одну. Когда приходилось по немощи ехать пару остановок на трамвае, в мамину обязанность входило еще платить за билет, чтобы ее бабушка не нарушала субботы. Та, в свою очередь, принимала деятельное участие в воспитании внучки (мама-то ее работала). Она учила мою маму кулинарии и давала ей уроки нравственности. В частности, внушила ей не целоваться с мальчиками, так как от этого можно забеременеть.

Что еще? У прабабушки Сони было (выживших) четверо сыновей и одна дочка – моя бабушка. Замуж ее выдали в 13 лет, когда проезжавший на подводе мимо их дома в местечке недалеко от Витебска молодой человек увидел ее стоящей у изгороди, и на следующий день заслал сватов. Все братья переехали в Петроград в 17–20-е гг. (вслед за первыми, поступившими в Университет), были дружны и часто встречались в доме своей мамы, жившей с единственной дочкой.

Еще через десять дней в маминной памяти всплыла подробность – крутить курицу над головой в Йом-Кипур можно было, если в этот день не было месячных, о чем бабушка специально у внучки узнавала, а той врзалась эта подробность в память.

Что за обряд такой, этот капорес, пытливые сами смогут узнать. Нечто вроде замены жертвоприношения (далеко не все иудеи его признавали и признают, но ортодоксальной среде он, говорят, сохранился).

Январь 2018

О живших до нас

Одна подробность семейной истории (мама рассказала). В комнатах, в которых мы жили на Фонтанке, 129, до нас жила семья, кого-то из членов которой (не знаю, кого именно) в 37 г. репрессировали, а оставшиеся на свободе, разбросанные по всему городу, срочно съезжались. В процессе этих переездов наша семья (мама с сестрой и родителями) как раз в 37-м вселились в эти самые комнаты, в одной из которых я прожил первые 25 лет своей жизни. Среди расстрелянных людей с такой фамилией (Дубинкер) я никого что-то найти не смог... А про других репрессированных вроде и не узнать... Бог весть, кто были эти Дубинкеры, и что с ними случилось... От

той семьи нам осталась, оказывается, большая напольная ваза и картина. Вот, теперь живи с этим. У кого-то недавно читал, что разделение между детьми репрессированных и их палачей и стукачей проходит до сих пор... Палачей и стукачей у нас в семье вроде бы не было, да и назвали меня (в том числе) в честь папиного дяди, который был начальником шахты на Донбассе и был расстрелян в 37. Однако ж, жили мы на месте тех, кто сам был репрессирован, воспользовавшись, можно сказать, тяжелым моментом в их жизни... Не так все просто, и никакой тут четкой границы не провести. Я уж не говорю о том, что и эти Дубинкеры, и мои предки оказались в Ленинграде, скорее всего, после вынужденного бегства сами знаете кого... Ротации, так сказать, элит...

16 ноября 2018 г.

Дополнение 2024 г. к предыдущей записи

Только сейчас к своему позору узнал, что проект «Последний адрес» в Питере начал осуществляться в 2015 г. с дома по Фонтанке, 129 (видеорассказ об этом можно найти в Сети). Это тот самый дом, в котором я прожил первые 25-26 лет своей жизни! Можете представить, как я потрясен этим открытием. Жаль, папе уже не расскажешь. Но есть еще кто-то родной, кому успею рассказать. Там пока установлены пять табличек, но Дубинкеров среди них нет. Не нашел я этой фамилии и на сайте Мемориала (признанного иноагентом). Но вот такая память в семье сохранилась. Так что снова по случаю об этом пишу. Пока я жил и рос в этой квартире, ничего об этом не знал; молчали мои родные (можно понять: не принято было о таких вещах рассказывать среди на всю жизнь напуганных советских людей). Но хорошо хоть сейчас это все вспомнилось, не кануло в Лету.

22 февраля 2024

Дорогие детали (из семейных воспоминаний о войне и блокаде)

В истории дома в Гатчине, где жила папина семья (с середины 20-х гг.), отразилась в сжатом виде история страны. Дом этот был на ул. Карла Маркса, до революции она называлась Багговутовской в честь Карла Багговута – коменданта Гатчины, первого почетного гражданина города (переименована в честь другого Карла в 1922-м). Дом, в котором потом жила папина семья, был прежде домом морского духовенства. А во время войны в этом доме, как папа потом узнал, размещалось гестапо. Улица шла до самого Варшавского вокзала. Когда началась эвакуация, и вокзал уже стали бомбить, папа (ему было 16, и он только что кончил 8-й класс) со своей мамой и сестрами ждал отправления эшелона на вокзале. Тут его маме пришла в голову мысль послать сына проверить, заперла ли она дом! И он побежал – благо по прямой! Дом оказался заперт (потом, разумеется, из него все пропало, и они туда уже никогда не вернулись). По дороге обратно на вокзал папа видел, как какой-то военный пытался из пистолета стрелять по немецкому бомбардировщику! На эшелон он успел, и через Ярославль (до него на поезде) они попали на барже в Башкирию, откуда уже его призвали в армию. Дедушка, его отец Бенцион Исаакович, сам приехал в Гатчину на машине за тестем и тещей, они считали, что немцы – культурный народ, и уезжать не нужно. Он сумел их увести в город и поддерживал из своего пайка, но потом сам свалился от перенапряжения – он был хирургом на Пулковских высотах, и от непрерывных операций сам не выдержал, слег. За это время они умерли от истощения. Сам дедушка выжил, похоронил тещу, но был так слаб, что не запомнил где, потом так и не нашли этого места.

В то, что немцы культурный народ и нечего беспокоиться, верил еще мой дед (по маме), и только по настоянию его неграмотной тещи Сони семья была эвакуирована. Она-то и спасла семью (о чем-то я уже писал). Сам дедушка (мамин папа) всю блокаду был в Ленинграде, умер бы от истощения, если бы не друг, который спас его, отправив умирающего в госпиталь, где тот потом был оставлен инженером. В его комнату при госпитале в начале 1944 г. и вернулась мама с

сестрой и бабушкой из эвакуации. Вернуться в 44 г. было очень сложно, т.к. в город тогда никого еще не пускали, но бабушка завербовалась рабочей на кирпичный завод, и так смогла приехать сама с детьми к мужу. Было страшно, т.к. все время происходили облавы на тех, кто вернулся в город незаконно, и маме приходилось от этих облав все время прятаться. Когда же режим стал менее жестким, мама пошла в школу. Училась она с великовозрастными выжившими, из которых немало было «блатных», вроде работниц булочных и прочих хлебных мест. В памяти осталось, как она по неосторожности повесила свое пальто на место, где должна была висеть шуба одной из таких дам. Едва удалось избежать побоев – отделалась бранью с ее стороны. Заступились неблатные блокадницы.

27 янв. 2019 г.

Еще папа вспомнил такой эпизод. На Пулковских высотах, когда его отец был с начала войны главным врачом и хирургом в полевом госпитале, раненых привозил с передовой на повозке возница. Наконец, он выбился из сил и отказался делать очередную езду, тогда дед загнал патрон в ствол винтовки и навел ее на него... только так удалось заставить совсем обессиленного человека снова отправиться за ранеными... Дед (ему было уже хорошо за 50) сам в конце концов обессилен от постоянных операций, и его увезли в госпиталь в тыл совершенно изможденного. Потом его выходили, и он встал в строй... Когда кончилась война, и ему предложили остаться в армии с перспективой полковничьего, а потом и генеральского звания, он отказался. Хватило – Первая мировая, Гражданская, Отечественная, наконец, – военные действия на Дальнем Востоке, против Японии. Более того, из хирургии он тоже ушел, остаток жизни помогал рождению новых людей (как заведующий гинекологическим отделением Гатчинской больницы).

27 января 2020

Ордена

Еще один семейный мемуар о войнах и наградах. Папа раскололся, прочтя наградное представление на деда. Орден Красной звезды, которым был награжден дед, как папа говорит, пропал то ли по небрежности, то ли по небрежению папиной сестры, моей тети, которая говорила, что, мол, это что по сравнению с тем, как деда наградили при царе в Первую мировую – Владимиром с бантами за героизм на фронте и спасение раненых. «Владимира», правда, дедова сестра, папина тетя в 30-е сдала в Торгсин, боясь такую вещь оставлять дома, да и деньги лишними не были. Не успел из-за революции дед получить и почетное гражданство (евреям его давали вместе с орденом Владимира вместо дворянства). Так обе награды – Владимир и Звезда – и пропали. Не знаю уж, что тут правда, что нет, но таково семейное предание. Подтверждения ему в личном деле деда я не нашел, но папин рассказ привожу.

11 мая 2015 г.

Часть 2

В эту часть вошли тексты, написанные уже после папиной смерти 19 января 2024-го. При этом я частично использовал свою не публиковавшуюся мемуарную прозу 2007 г.

Семейная тайна

После папиной кончины можно рассказать и историю, в результате которой он появился на свет. Которой, следовательно, обязан и я своим существованием. Его мама, Анна Резникова (1895–1954) познакомилась то ли в Елисаветграде (ныне Кропивницкий, Украина), то ли в Бере-

з'овке (город, ныне в Одесской обл.) (последнее – более вероятно) с его папой Бенцином Беневичем (1888–1959) в 1924 г., будучи уже в интересном положении. Более того, она пришла к нему на прием (он тогда работал врачом гинекологом), но сидела в приемной врача и плакала. Бенцион расспросил ее о причинах слез, и узнал, что муж бросил ее, оставив в таком положении. Ну и... Бенцион, видно, сильно полюбил-пожалел ее (ведь только по любви можно, тем более человеку с некоторыми религиозными предрассудками – дед был верующим иудеем, взять девушку в таком положении). Вскоре (в 1924 г.) родилась папина старшая сестра, Елена (она, кстати, единственная в семье, вслед за родителями, тоже стала врачом), но и папино рождение (17 сентября 1925 г.) не заставило себя ждать. От тети Лены очень долго скрывали тайну ее рождения (папа, кажется, в эту тайну был посвящен, но хранил ее). И лишь в весьма зрелом возрасте, уже сильно после смерти папиных родителей, она ее узнала (случайно, разбирая старые письма и документы) и даже разыскала своего настоящего отца, крупного инженера (прожившего свою непростую жизнь, включая сталинские лагеря), попыталась сблизиться с ним, но ничего путного из этого не вышло (родная дочь, известная писательница и правозащитница, особенно по еврейской части, Алла Гербер, по слухам заподозрила, что тетя Лена все это делает ради наследства, чего не было в помине, и отшила ее). Я тоже всю эту историю узнал не так давно (и конечно, уже после смерти тети Лены, в 2002 г.). Как бы то ни было, папа очень любил и свою старшую сестру, и свою младшую, Таню, которая умерла в 19 лет от чахотки (скучал по ней всю жизнь, ее портрет всегда висел в его комнате). Первый сборник настоящей поэзии XX в. (Цветаеву), а не той советской, что мне попадалась до того, мне подарила на 16-летие тетя Лена. (Помню, как я в выпускном классе оттуда читал «Вот опять окно...», следя за произведенным впечатлением нравившейся мне девочки на 5-минутках поэзии, с которых открывались у нас уроки литературы). А папа, получается, был первенцем большой любви.

Я, кстати, не исключаю, что одним из мотивов переезда молодой четы из Березовки в Троцк (Гатчину) было желание распрощаться с той средой, где про первый несчастный брак Анны Резниковой все знали.

29 февр. 2024; 05.06.2024

В Троцке-Гатчине и про «ротацию элит»

Для меня обращение к семейной истории сейчас не только способ почтить своих предков, достоинств которых во мне нет, но и возможность еще раз прикоснуться к истории страны в XX в., истории, в которой не только факты легко забываются, но которой и правильные оценки дать так трудно.

Вот, в Сети обретается фото, где папины родители среди других врачей, работавших в только что созданном в Гатчине (на тот момент Троцке, куда в 1925 или 1926 г. переселилась с Украины (из Елисаветграда или Березовки) чета Беневича-Резниковой), врачей, работавших в Доме санитарного просвещения.

Фотография эта – часть статьи, написанной хоть и в наше время, но, прямо скажем, с «советских позиций»¹, замазывающей ту трагедию, которая имела место в Гатчине-Троцке при смене элит. Когда врачи старого закала и выучки (многие придворные) были вынуждены бежать из города и России с частями Белой армии или еще как-то, а на их смену (т.е. опустошенное историей место) пришли другие, в том числе и папины родители.

¹https://kraeved-gatchina.de/ocherki/istoriya-mediciny-v-gatchine/dom-sanitarnogo-prosveshcheniya/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAR31h0FA5L9ZSIq6VE1NQdRWTZX2i9e3ltHZjzKFHiHbidVsnC7SAbSuhwg_aem_AbbestqVYqDbXH9-pqQuqUvEFS9Hy5ZfhqaFdUmNsWV78gVv1zleaH6sDY8RzsJtHuw6px3ATFldMrQSZWJOoqP

Папа и его мама в ВОВ

Да, вот еще рассказ об А.П. Резниковой из более позднего времени. Мама вспомнила, что, когда папа вместе со своей мамой и сестрами оказались во время войны в эвакуации в Башкирии, то Анна Павловна была там председателем мобилизационной комиссии. И что? Когда подошел папин возраст призыва, он был отправлен собственной матерью в пехоту. Тогда-то ему и пришлось хлебнуть лиха в учебке в степях Башкирии – самый экстремальный опыт в его жизни, судя по рассказам. Почти все войны (тому, как я понимаю, несколько причин. Первая – голодно, на войне все же было хорошее снабжение. Вторая – вот таких полуголодных, их заставляли совершать марши в десятки километров с полной выкладкой в жару по пустынной местности. Наконец, грубые нравы и антисемитизм, которого в действующей армии, особенно под конец войны, было на порядок меньше).

Потом, правда, их полк переквалифицировали в десантный, и он даже совершил штук пять прыжков с парашюта, что тоже было экстримом, хотя и другого рода. Но прыгать с парашюта на немцев ему все же, к счастью, не довелось – потери в этих частях были такие большие (расстреливали в воздухе), что к 1945 г. от использования десантников в больших масштабах отказались. Так что воевать папе пришлось в той же пехоте.

29 февр. 2024; 05.06.2024

В продолжение предыдущего

Я, конечно, ломлюсь в открытую дверь, говоря о том, что ВОВ была для оказавшихся на ней, особенно в 18-19 лет, как мой папа, страшнейшим стрессом. Это хорошо известно (достаточно вспомнить «Балладу о расстрелянном сердце» Николая Панченко). Но одно дело, когда знаешь это в общих чертах или на чужих судьбах, и совсем другое, когда проживаешь это вместе с родным ушедшим человеком. Вот, я гляжу на папину фотографию, сделанную в победном 1945-м, и вижу юношу, прошедшего через самое страшное в своей жизни. И никакого катарсиса от победы не испытывающего. Вся тяжесть войны еще в этих глазах. При том, что на фронте папа оказался только в конце 1944, начале 1945, по причине его возраста, он 1925 г.р.), т.е. эта была уже победная, далеко не самая тяжелая фаза войны.

Папа – советский человек, и мое грехопадение

После поступления в Политех всех зачисленных на первый курс отправили на месяц в совхоз на сельхозработы. Здесь произошло мое грехопадение, т.е. выпадение из монолитной (как казалось) общности советского народа. Но сначала не о себе, а о папе. После его смерти, разбирая старые фотографии, мы обнаружили случайно одну, где он запечатлен на овощебазе, в ватнике, среди больших ящиков с капустой.

Так вот. Папа на этой фотографии (ему на вид лет 35-40) выглядит совершенно счастливым – улыбается такой светлой улыбкой, что в голову не придет, что вообще-то любой нормальный человек на его месте – квалифицированный инженер, занимающийся нужной для государства работой, оказавшись на фактически каторжной, низкоквалифицированной работе, – должен, казалось бы, не весело улыбаться, а насупившись размышлять, как из этой ситуации выйти, или хотя бы на лице выказать возмущение, гнев или горький сарказм по поводу своего положения. Но нет, на его лице кроткая и светлая улыбка. И ведь подобная практика – отправка студентов первых курсов и инженеров в колхозы и овощебазы – была в СССР не каким-то единичным событием, а происходила регулярно, из года в год... Почему же у меня в аналогичной ситуации возникла совсем другая реакция, приведшая в конечном счете в стан «отколовшихся» (назовем его пока так), а папа, вот, стоит среди ящиков с капустой и улыбается, и никаким «отколовшимся» тогда не был – ни по своим мыслям и словам, ни по своим действиям? Что же, он себя меньше уважал, чем

я, был таким наивным и кротким советским человеком с фактически рабским сознанием – куда пошлют, то и хорошо, лишь бы кормили, поили и не наказывали?

Думаю, чтоб понять его, хоть немного, нужно вспомнить его жизнь. У нас, вот, сейчас военные действия где-то там, достаточно далеко, и то они уже постоянно тем или иным способом дают о себе знать, фактически вгоняют нас в стресс. А папа видел войну вблизи, был на ней: в эвакуации был полуголодной в башкирских степях в учебке, которая, как он рассказывал, была страшнее и потяжелее войны, и потом на войне, и ранен был, в госпитале лежал среди кровищи и калек, получил обморожение конечностей, уже вернувшись в СССР зимой 45-46 гг.... При том, что он ведь застал и довольно счастливое предвоенное детство – в Гатчине. Будучи сыном уважаемых в городе врачей, он наверняка жил достаточно благополучно, с двумя сестрами, мамой, папой, дедушкой, бабушкой... А потом война. Тяжелые послевоенные годы. Это же было страшнейшим стрессом. По сравнению с этим 60-70 гг., когда сделана эта фотография, были годами счастливой жизни, и такая мелочь, как пару дней, пусть даже неделю, на овощебазе (это студентов посылали чуть не на месяц, а инженеров все же поменьше, как я помню), не вызывала, думаю, у него ни малейшего протеста, воспринималась в порядке вещей – нужно помогать стране и тут, есть-то все хотят... Более того, скорее всего для папы это было сменой рода деятельности – поводом размяться, пообщаться со своими сослуживцами в неформальной обстановке. Одним словом, это вряд ли воспринималось им хоть в малейшей степени как тяжелый, унижительный и подневольный труд. Вот такие, очень разные могли быть реакции на одну и ту же примерно ситуацию.

Но вернемся ко мне. До совхоза я был не просто лояльным Софье Власьевне, но и активным комсомольцем. В семье у нас никаких ура-патриотических и прокоммунистических разговоров не вели, но и «голосов» не слушали, и никакой антисоветчиной не пахло. Папа и дедушка были ветеранами войны, а то, что СССР спас евреев от нацизма, вероятно при всяких раскладах делало моих родителей лояльными гражданами. Впрочем, в семье этого никто никогда не обсуждал. Мы просто были частью «советского народа» без всяких оговорок. Поэтому, когда мне, бывшему до этого старостой класса, предложили стать зам. секретаря комитета комсомола школы по идеологии, я, польщенный, согласился.

Вся идеологическая работа у нас сводилась к политинформациям раз в неделю; я следил за процессом, а порой и сам выступал в роли докладчика. Не помню, чтобы это носило характер «пятиминутки ненависти». Мне нравилось разбираться в международной политике, это было формой познания (все эти названия стран и политических деятелей), стимулированное тщеславием, что ты как сведущий рассказываешь обо всем этом остальным. Никакой ненависти к империализму мы не испытывали, а наш патриотизм был, скорее, спортивный – так «болеют за своих». Неловкость я испытывал лишь в освящении арабо-израильского конфликта, стараясь избегать этой темы. Не потому что был на стороне Израиля, но потому, что так ли сяк ли это относилось к моей «тайне».

Итак, по окончании школы у меня ни в одном глазу не было ничего антисоветского.

Зато в совхозе в сердце мне заполз червяк (нужно вспомнить еще и то, что я впервые надолго был оторван от дома, от родителей, а в пионерские лагеря меня не отправляли после одного неудачного опыта в далеком детстве). Червь заполз мне в сердце через глаза, уши и желудок. Глаза видели бараки, уши слышали (не понимая еще, о чем, собственно, идет речь) песни Галича, которые тайком, но достаточно громко пели в соседнем закутке нашего колхозного барака выпускники мат. школ Питера. В этот «элитарный круг» державшихся особняком посвященных мне вход был заказан. Я попал в кружок попроще – выпускников одной мат. школы из Кишинева, почти все они оказались «маланцами» (так одесские и молдавские евреи называют евреев, так сказать, по крови). Здесь никакой особой антисоветчины не было. Но само его существование было чем-то если не запретным, то «неприличным». «Элитарный круг» манил неведомым знанием, «кишиневцы» воспитывали меня по-своему, колхозная баланда, плюс запрет выходить за пределы лагеря, подневольная работа в грязи – все это постепенно создавало во мне концентрированный

раствор чего-то нового. Но нужен был еще центр кристаллизации. Им стал митинг протеста против переворота Пиночета и убийства Альенде (11 сентября 1973 г.), на который нас согнали после трудового дня. Мы уже было начали сушиться, мыться и приходиться в себя, когда нас подняли как по тревоге и вывели под дождь, выстроив вдоль барачков. Импровизированный митинг начался с формальных и дежурных речей. Но потом из студенческих рядов начали выбегать энтузиасты. Я впервые попал на «пятиминутку ненависти», которая затянулась на целый час. Это уже не имело ничего общего с невинными политинформациями моего школьного детства. Народ разгорячался, некоторые из энтузиастов были то ли в подпитии (на этот раз почему-то не осуждавшемся начальством), то ли во хмелю от ненависти к врагу. Так что при том, что умом, да и сердцем я вроде бы оставался на стороне Альенде, но отвращение от самого этого «часа ненависти» на фоне всего, что накапливалось во мне в предыдущие дни в лагере, сделало свое дело – я начал «отламываться» от «советского народа». Мое падение завершилось, когда уже по возвращении в город комсомольское начальство стало допытываться, кто что пел и о чем говорил в колхозе. Т.е. нашлись стукачи на певших Галича. Меня, напомнив мне мое замсекретарство, видимо тоже надеялись залучить в эти славные ряды. Но я уже был в других рядах. Точнее, я уже в колхозе «засветился» своими контактами с неблагонадежными. Так что на это раз мне никакой комсомольской должности не предложили, и дальше я уже только продолжал скатываться по наклонной плоскости.

28 февраля 2024

К 5 марта

Никакими антисоветчиками или даже кухонными критиками советского режима ни мои родители, ни мамы родители, бабушка Рая с дедом Натаном, не были. Дед Натан во время войны, в блокаду, будучи военным инженером, вступил в партию, и был вполне лояльным членом (хотя вряд ли фанатиком). Никаких поползновений услышать какую-то альтернативу советской идеологии в нашей семье не было. В то время как во многих «продвинутых» в политическом отношении семьях (неважно, какой ориентации) имелись приемники с короткими волнами, по которым можно было слушать (пусть и через глушилку) «вражеские голоса», у нас дома такого приемника не было. Только уже в институтское время, т.е. когда мне было 19 или даже 20 лет, такой приемник все же, наверное, но без моего настояния, завели, а до этого мы находились практически полностью в состоянии «облученности» советской пропагандой. Никаких разговоров, критических в отношении властей и коммунистической идеологии я дома в годы отрочества и юности не припомню. Это не значит, что родители были какими-то особыми приверженцами коммунистической идеологии – этого тоже в помине не было, но они были вполне лояльными советскими гражданами, что для папы, например, вполне гармонично сочеталось с его работой на советский ВПК (дедушка Натан и вовсе служил в штабе Ленинградского военного округа, что был на Дворцовой площади). Т.е. они, прошедшие войну, жившие в этой стране вполне счастливой по тогдашним меркам жизнью, не имевшие и не искавшие альтернативной информации, вполне органично работали там, где работали, не кривя душой. Более того, как мне рассказала совсем недавно моя мама, сама сославшись на папину сестру тетю Лену (ее рассказ) – когда умер Сталин, папа, как и многие тогда, был настолько потрясен этой смертью, что купил билет и ринулся в Москву, чтобы участвовать в похоронах Сталина. К счастью, он не попал на само это действо (на нем в давке погибло немало людей), но сам факт такой поездки произвел на меня впечатление. Конечно, никаким сталинистом в 60-70-е годы папа уже не был (после XX съезда партии это было уже очень маргинально), но, повторяю, семья наша была вполне лояльной, приёмников с альтернативной информацией не заводила (отчасти и из-за страха доноса, мы же жили в коммуналке). При этом политических разговоров в семье я тоже особо не припомню. Я бы сказал, что это была обычная в целом аполитичная, но вполне советская семья.

На этом фоне, когда в 10-м классе мне, бывшему до этого старостой нашего класса, предложили войти в комитет комсомола школы и стать заместителем секретаря по идеологической

работе, для меня согласиться было тоже вполне органично. Не то чтоб я был таким уж идейным комсомольцем и любителем комсомольской работы, но предложение льстило моему самолюбию и не противоречило убеждениям. К тому же главной моей обязанностью было проведение политинформаций и наблюдение за этим процессом в школе. А мне нравилось разбираться в международной политике. У нас была очень хорошая учительница истории, и она всячески поощряла мои увлечения не только историей прошлого, но и текущей... Сама она была вполне идейной теткой (ее звали Капитолина Васильевна), но очень квалифицированной и знающей. Вот под ее руководством я всем этим занимался. Родители, когда узнали, что мне сделали это предложение, помнится, несколько опешили. Одно дело староста класса, а другое идеологический работник... Помню, что мама как-то туманно выразилась в том смысле, что лучше б я в это не совался. Папа же, кажется, промолчал, но он явно предпочел бы, чтобы я пошел в радиокружок, куда он безуспешно пытался меня запихнуть – для профориентации. Факт тот, что в комсомольскую работу я со всей энергией включился.

Продолжение темы

Итак, следует отдавать себе отчет, что в результате Революции и Гражданской войны были не только миллионы пострадавших – убитых и замученных, лишенных имущества и вынужденных бежать за границу. Были и выгодоприобретатели всего происшедшего, и правда состоит в том, что до определенного времени евреи в массе своей были среди них. Т.е. в то самое время, когда была в немалой степени опустошена русская деревня, когда целые классы – дворянство, буржуазия, зажиточное крестьянство и духовенство – были замучены или изгнаны, евреи, жившие прежде по большей части за чертой оседлости, т.е. не имевшие право селиться (кроме самых богатых) в таких городах, как Петербург, получили равные права со всеми остальными. И наша семья (мои бабушки и дедушки со всеми их семьями в том числе) оказались в Ленинграде в результате этих процессов. Более того, именно сталинский СССР, как ни крути, защитил евреев, живших здесь, от истребления немецкими нацистами. И хотя после затеянного тем же Сталиным «дела врачей» и истребления еврейского антифашистского комитета как «сионистского образования» положение евреев в СССР стало несколько хуже, но, во-первых, Сталин вскоре умер, а во-вторых, все же уже совершившаяся ассимиляция евреев, занятие ими пустующих (после исхода и истребления дворян, буржуазии и духовенства) мест в русской культуре и жизни оказалось необратимым.

Чего говорить, если лучший учебник русского языка, по которому все учились в СССР, был написан Розенталем, главным диктором на радио был Юрий Левитан, а ведущие физики были почти все поголовно (кроме разве Капицы и Сахарова) евреями по происхождению и т.д. Такова правда. А узнать, какой ценой это было все достигнуто, сколько крови пролито, я, не имея альтернативных источников информации, до поры до времени просто не мог. Поэтому ничего удивительного, что и папа не был антисоветчиком, и я – до того, как узнал страшную правду, прочтя «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, и много чего еще. У нас в школе среди моих одноклассников в помине не было никакой антисоветчины, даже у ребят из вполне интеллигентных семей. В некоторых других школах, как я потом узнал, было по-другому. В частности, выпускники лучших математических школ, с которыми я встретился потом в институте, были куда более просвещены в плане политическом. Но это за счет того, что там были более свободомыслящие учителя, да и родители таких детей зачастую были не простыми инженерами, как мои, а научными работниками, кандидатами наук. Это была иная страта советского общества, и в смысле доступа к информации, и в смысле степени осознанности, в том числе исторической. Соответственно и дети таких родителей были куда более начитанными и информированными (а некоторые, не боясь, слушали «голоса»). У нас же в школе, хотя учителя были и очень хорошие в смысле любви к предмету и детям, но они были убежденными в правоте советского строя. Все это были люди, прошедшие во-

йну, даже более того, героически ее прошедшие, люди самоотверженные и честные... Но при этом слепые на некоторые вещи в нашей истории и нашем настоящем... и передавшие эту слепоту нам. Вот такими же были и мои родители. Такая слепота позволяла им быть по-своему честными, как бы не врать... Но, конечно, эта слепота держалась не в последнюю очередь и на страхе.

Дедушка Натан одно время в поздние сталинские годы был даже на несколько лет сослан (из-за самострела одного солдата в его части). Сослан военным инженером куда-то в глушь в Карелии. Это не было лагерем, но все же он был оторван от семьи, и это тяжело пережили в семье. С тех пор страх и осторожность, возможно излишняя, невидимо присутствовали в жизни большой семьи. Нас с папой и мамой это касалось в меньшей степени, но вот то, что приёмник с «голосами» у нас очень долгое время не появлялся, отчасти было связано с этими страхами. Позднее мои дедушка с бабушкой получили отдельную квартиру, а дедушка ушел на пенсию, и ситуация стала постепенно меняться. Но инерция страха была, наверное, и у моих родителей. Так что тут сразу многое сплелось – советская власть в общем-то многое дала людям нашего происхождения, а с другой стороны – этот самый страх (у меня его не было, а у родителей был). Вот вам и причина моей лояльности в это время, которую как корова языком слизнула, когда я оказался в институте, совершенно в другой среде.

4 марта 2024

Папа в коммуналке

Мы жили долгое время большой семьей в одной коммунальной квартире – мамы родители, дед Натан, баба Рая, мы с родителями и тетя Белла (мамина сестра) с мужем и их сыном Мариком. У нас на всех было две большие комнаты – 40 кв. м и 35 кв. м. Жили по адресу Фонтанка, 129 (кв. 17)... оттуда видно – напротив Троицкий собор (тогда склад или овощехранилище), наискосок – усадьба Державина, тогда никакого музея не было, была какая-то контора...

Командовала в семье по большей части бабушка Рая. Папа был на третьих ролях. Он и сам не особенно совался в то, что он называл (потом в разговоре со мной повзрослевшим) «женские дела». Т.е. меня маленького опекали все три женщины нашего семейства, пока Марик не родился (т.е. лет 5), а папа, бедный, был частенько предметом критики бабушки Раи, которая, когда чем-то была недовольна, что было часто, переходила на идиш, и отчитывала папу на идише, чтоб я не понимал суть дела. Папа идиш понимал, но сам говорить на нем не особо мог. Так что бабушка Рая пользовалась еще и языковым господством над ним. А он смиренно помалкивал. Не помню, чтоб он особо когда с ней ругался в ответ.

Коммуналка наша была далеко не самая многосемейная из ленинградских – в разное время в ней жило, помимо нас, еще 5-6 семейств. Они могли состоять и вовсе из одного человека, могли из двух, а могли и из трех. Самое большое было наше, у нас было, включая маленького Марика (но они вскоре получили другое жилье), – 8 человек, а потом – 5. Часть большой коммунальной кухни была отгорожена. И там за довольно тонкой перегородкой уютилась семья из трех человек, такая пролетарская семья. Ее глава, дядя Коля, как я его звал, регулярно поддавал, а поддав, начинал страшно ревновать свою жену, не помню, как ее звали (кажется, Валя), к папе. Он запросто мог ворваться в нашу комнату в поисках своей «Вали». Надо сказать, что ни папа, ни эта Валя не давали ни малейшего повода для ревности, просто Коля был жутко закомплексованным, бил свою жену, а главное был алкашом. При этом он был здоровенным детиной, выше папы на голову и шире в плечах раза в полтора. Так вот, папа никогда не терял самообладание во всех этих скандалах. Вел себя с достоинством и давал всегда достойный отпор, хотя этот Коля грозил и его убить, и жену свою... Кончилось все тем, что жена от него ушла, и они с дочкой уехали куда-то жить отдельно. Любопытная деталь – мама с папой ходили к ней на новоселье, она приглашала. А с ее дочкой, Любой, мы зачастую, будучи маленькими совсем, гуляли вместе. Мы были примерно одного возраста. И когда дядя Абраша, родной брат бабушки Раи, который жил в соседнем

доме и был уже на пенсии, брал меня гулять, то и эту Любу мы часто брали с собой, а ее мама брала вместе с Любой гулять меня. Такие вот были нравы тогда – люди разного происхождения, жившие в коммунальных квартирах, помогали друг другу, и – если не иметь в виду эксцессов, как этим Колей, то даже и были в вполне приветливых и дружелюбных отношениях.

Короче, хотя Коля этот порой искал свою жену под кроватью у папы с мамой, уверяя, что они ее там спрятали, папа достойно всегда выходил из этой ситуации. Но в милицию, сколько я помню, не обращался, хотя, может, и грозил ею. Он был неробкого десятка, и перед физической силой никогда не пасовал. До мордобоя не доходило. Но несколько раз чуть было не дошло. Когда Валя уехала с дочкой, вскоре куда-то делся и этот Коля, и перегородку на кухне снесли, их комнату «прирезали» к кухне, в квартире стало спокойней, а кухня просторней. Все вздохнули. Коля поддатый конечно и «ж...в» поминал, но после того как он съехал, эта тема у нас в коммуналке больше не всплывала. Помню, что папа столкнулся с кем-то на этот предмет недалеко от нашего дома – задира, что ли, его кто, не помню уже деталей, но и тут он не спасовал. Сам никогда не лез, был очень спокойной всю жизнь, но при этом и достоинства никогда не терял.

По этой причине, кстати, он на старости лет не любил попадать в полагавшийся ему как инвалиду войны госпиталь ветеранов войны – лежавшие там, по его словам, об «ж...х» почесать язык были горазды. Ну вот, не любил попадать и... не попадал. Т.е. вообще как-то обходился без больниц. Когда он умер, и врач, составлявший протокол, попросил выписку из последнего пребывания в больнице, таковой не оказалось.

9 марта 2024

«Война» и борода

Единственным храмом, в котором мне пришлось регулярно бывать в молодости, была церковь Политехнического института, куда я поступил сразу после школы. Сейчас Покровская церковь сносит массивной позолоченной луковицей, а тогда здесь размещался зенитно-ракетный комплекс, а луковица храма была срезана Советами на суп.

Здание бывшей церкви примыкало к корпусу, где находилась (а может, и сейчас находится) военная кафедра. Сюда мы ходили на «войну».

Явственно помню, что обучение всем этим ракетно-зенитным премудростям происходило как бы во сне. Т.е. меня постоянно клонило в какой-то неодолимый сон, особенно когда занятия проходили в здании бывшей церкви. При этом ни разу мне не приходило в голову, что наш комплекс стоит в храме – прямо в алтаре, и что это кошунство. Все такие понятия были вне моего, и моих товарищей по Политеху, сознания.

Не знал я тогда и о том, что самим своим появлением на свет я некоторым образом обязан чему-то в этом роде. Дело в том, что папа с мамой познакомились некогда в Туле, куда они оба попали по распределению после институты (папа – ЛИАПа, а мама – ЛЭТИ) на одно и то же военное предприятие («ящик»). При этом папа был в Туле начальником радиолокационной станции. И потом он всю жизнь проработал на ВПК, занимаясь всякой аппаратурой для РЛС и подводных лодок. Подробностей я, кстати, не знал (папа соблюдал секретность!).

Как бы то ни было, мое ощущение от «войны» было как от чего-то предельно чуждого и враждебного, и это подливало масла в огонь моего юношеского «бунта».

С «войной» связаны и воспоминания о первом сильном сопротивлении «режиму». Спротивлялись мы (таких набралось несколько человек) – ношением бороды. Борода не полагалась по уставу. Мы же запаслись справками от врачей, что нам из-за раздражения на коже нельзя бриться, и бедные наши майоры краснели от гнева, видя наши бородатые рожи, но с этим непристойным зрелищем ничего сделать не могли.

Следующее, связанной с «войной», воспоминание касается военных сборов. На них нас отравили после четвертого курса. Именно там со всей остротой встал для меня еврейский вопрос,

на этот раз как социальный. Возможность для этого создала структура подчинения, когда командирами (сержантами) над нами назначались ребята из наших же групп, из тех, кто уже служили в армии. Как правило, это были русские. Евреи, специально готовившиеся для поступления в институт, выпускники спецшкол, в армию до института обычно не попадали. Дело, однако, состояло в том, что «старики», послужившие в армии, как правило, плохо учились в институте и были, несмотря на свой возраст, позади «салаг», и в первую очередь обычно хорошо учившихся евреев. На сборах вся ситуация переменялась – старики были снова на коне. Можно было вполне законно отыграться за ощущение своей неполноценности, испытанное во время учебы. Слава Богу, все ограничилось «малой кровью» (парой драк с «дедами»), но противостояние было достаточно откровенным и острым. Причем обычное противостояние «стариков» и «салаг» превратилось в разделение по национальному признаку (этому, вероятно, способствовало и довольно большое число в наших группах, на престижных специальностях, евреев, хотя, разумеется, их было меньшинство).

Помню, как тогда впервые мои еврейские приятели заговорили достаточно решительно об отъезде; впоследствии они все и уехали, кроме меня.

Однако, был среди тех, кто неизменно продолжал с нами поддерживать дружеские отношения и в случае чего вступаться за слабых (он был крепкий парень) один не-еврей. Помню, я тогда случайно услышал разговор наших «врагов», относительно Коли: «Какие разные у евреев бывают фамилии...». Этим русским ребятами в голову не приходило, что с евреями, да еще в такой ситуации, может дружить свой, русский. Для нас же Колино поведение было подкупающим примером абсолютного благородства.

Анализируя случай на сборах, можно сказать, что большинство из ленинградских евреев вовсе не настаивало на своем еврействе, привыкло его если и не скрывать, то и не выпячивать. Все мы вполне удовлетворились бы космополитизмом. Евреями нас делало «враждебное окружение». Но если копнуть еще глубже, то именно наше родство – атмосфера в семье, установка на интеллектуальную доблесть, уверенное поступление в институт, а сначала в лучшие спец. школы (чтобы не попасть в армию, где «еврею – конец») выделяло нас по воспитанию по сравнению с нашими русскими товарищами. Именно эта, развитая у нас в семье установка, а не врожденные способности, выделяла нас по сравнению с ними.

Коля рос в семье, где установка на интеллектуальную доблесть, хотя и по другой причине, тоже имела место (он был из семьи ученых). С этой точки зрения он был «наш человек». В его лице я впервые встретил настоящего русского интеллигента, и мы стали друзьями, так что без его влияния я оказался вне еврейского коллективного сознания (или бессознательного?), замешанного на страхах перед «чужими», то есть русофобии, которой заразилось тогда на сборах большинство моих еврейских товарищей.

Закончу я этот этюд о «войне» еще одним воспоминанием. Когда-то, еще будучи студентом, я подрабатывал сторожем. Мой пост находился около здания «Водоканала». И вот, как-то утром, после работы, около 7 утра, пересекая пустую еще Потемкинскую улицу, я столкнулся с ротой голых по пояс, мокрых от пота, бегущих мне навстречу солдат (на самом деле это были, наверное, курсанты, но я в этом не разбирался). Я увернулся, перейдя перед самой «головой» роты на другую сторону. И оказалось так, что я пошел по тротуару им навстречу. Рота бежала мимо меня довольно долго, а в моем, полусонном еще после ночного дежурства сознании начало, а потом дома закончилось складываться:

У бегущих солдат
Даже тело
Бегущих солдат –
Носом в мокрую спину
То и дело

Уткнешься,
 Но в гуще солдат –
 Не отстанешь,
 Не выпадешь
 Наполовину.
 Топот тыщи –
 Не ропот
 Отдельных шагов –
 Джаз советских проспектов.
 Мало слышим
 Из музыки обертонов
 В узкой области спектра.
 Не солжешь,
 Как на них не смотри –
 Птицей вывернешь око –
 Все равно, что
 Бежишь изнутри,
 Если движешься сбоку.

Так что моя непригодность к «строевой» – это глубокий, можно сказать врожденный «комплекс». Да и бороду я с тех самых пор ношу. Папа, впрочем, к этому относился вполне снисходительно, а под конец жизни и сам отпустил бороду. Да и к войне, в том числе и той, на которой он воевал, стал относиться немного иначе. Последней книгой, которую он сам прочел примерно за год до смерти от начала до конца (потом он мог читать только отдельные рассказы, потом страницы, потом абзацы...), была книга Николая Никулина «Воспоминания о войне». Прочел и подтвердил. Да, это правда.

10 марта 2024

О генеалогии

В 2011 г. друг моей юности Володя Чикунский, ставший со временем профессиональным спецом по генеалогии, послал моим родителям в знак признательности за теплое отношение к нему с их стороны в 70-80 гг. в дар добытые из РГИА (Рос. гос. истор. архив = Архив правительствующего синода) архивные выписки и копии документов на папиного папу (моего деда), настоящее имя которого я даже не знал – звали его не просто Бенцион (как я полагал), а Ихель-Бенцион Ицко(вич) Беневиц. Тогда я отнесся к этому, честно сказать, с полным равнодушием и даже какой-то недоуменной отчужденностью. Зачем все это?

Во мне прочно сидели установки как культурного, так и религиозного, точнее христианского толка. В культуре в меня заложил эту установку эмансипировавшийся от «родимого омота» 100 лет назад Мандельштам с его:

Я получил блаженное наследство –
 Чужих певцов блуждающие сны;
 Свое родство и скучное соседство
 Мы презирать заведомо вольны.

Из христианской традиции были установки на то, что «кто не оставит отца и мать», а уж тем более всякие там родословия... Сами знаете, Царствия Небесного не наследует. Как раз в это вре-

меня занимался Максимом Исповедником. Он же писал – как об образцовом святом о Мелхиседеке, который «без отца, без матери, без родословия», потому что родился свыше.

Одним словом, без всякого сочувствия и признательности воспринял я дар Володи – эту папку из РГИА. Дело № 39 на Беневица Ихеля-Бенциона. И обидел, конечно, Володю, о чем искренне сожалею.

После же смерти отца и собственных попыток что-то раскопать в прошлом семьи папка эта воспринимается совсем иначе.

Уже сам факт, что в памяти семьи не сохранилось даже настоящего имени деда, что мне никто об этом имени не рассказал, говорит о том, насколько эта память о прошлом семьи, думаю, не только нашей, была вытеснена и, так сказать, «репрессирована».

Есть, выходит, другая крайность по сравнению с погрязанием в родословиях и приверженностью плоти и крови – беспамятный манкуртизм, каковым в той или иной степени были поражены все советские люди.

Преодоление же этого беспамятства и является одним из способов для происходящих «оттуда» оставить «отца и мать», «плоть и кровь», не еврейскую, не русскую, а, так сказать, советскую.

Дед и царская армия (дополнение к сказанному)

Когда на одном из генеалогических сайтов мне раздобыли запись о дедке Ихель-Бенционе в полковой книге учета (он в Первую мировую служил в 3-м сводном Кубанском (Ейском) казачьем полку, где был врачом), то я, признаться, был несколько обескуражен. Ну как же – во-первых, оказалось, что он был младшим врачом (это т.н. зауряд-врач, было такое звание, учрежденное в 1894 г.). Во-вторых, если сравнить запись о нем и запись о его сослуживце (и видимо начальнике) – полковом враче, лекаре Валентине Владимировиче Чернявском, то можно заметить колоссальную разницу. Тот, сын надворного советника, т.е. дворянин, православный, того же самого года рождения, что и дед, но про него все написано, и его вероисповедание, и его происхождение, и что он – выпускник медицинского факультета Харьковского университета. Ну, и далее, про жену и детей и про награды – аж два ордена св. Анны, а у деда – ни про его учебу в Лейпцигском университете, ни про его исповедание, ни тем паче про ордена... Вот, подумал, невольно я, – типичный пример государственного зажима евреев в Рос. империи.

Но потом я пригляделся более внимательно к документам, которые содержались в той папке дела Ихеля-Бенциона Беневица, что добыл Володя Чикунский из архива правительствующего синода, и обнаружил следующее. Там в самом деле есть многостраничная выписка из Лейпцигского университета (запрошенная, кстати, военным министерством!) – какие предметы слушал, сколько часов, какие профессора преподавали. Есть отдельное свидетельство о сдаче экзаменов по базовым не собственно медицинским предметам: физики, химии, анатомии, ботаники, зоология, физиологии...

А вот документа об окончании университета, чего-то вроде диплома, я там не обнаружил. Это, кажется, и вполне согласуется с тем фактом, что учился Ихель-Бенцион в университете всего четыре года. И последняя запись о прослушанных курсах значится летом 1914 г., т.е. накануне начала Великой войны. Не знаю, сколько лет нужно было учиться для получения полного медицинского образования и диплома в Германии, но, полагаю, что 4-х лет было мало. Так что дед оказался зауряд-врачом (в них как раз и попадали по положению об этом чине лица с неполным медицинским образованием), думаю, не случайно и даже не из-за его иудейского исповедания, о котором в формуляре (дипломатично?) замолчано.

Что до непоминания его учебы в Лейпциге, то и тут могли быть иные причины, нежели зажим иудеев. Помимо неполноты этого образования, все же война шла с Германией, и учеба во вражеской стране могла на Ихель-Бенциона бросать тень... Наконец, по поводу орденов. Как я уже выше писал (запись 2015 г.) в семье сохранилось предание (папа рассказал со слов папиной

тетки), что под самый конец войны дед был все же представлен к ордену (аж Владимир с бантами!). За героизм на фронте и спасение раненых. «Владимира», правда, дедова сестра, папина тетя в 30-е сдала в Торгсин, боясь такую вещь оставлять дома, да и деньги лишними не были. Таково семейное предание. Почему об этом не упомянуто в полковой книге учета, Бог весть. Может, не успели записать, может, папина тетя Фира эту историю сочинила, но уж больно она много подробностей содержит, которые нарочно не придумашь... Трудно сказать...

Но вот еще что достойно упоминания на тему: дед Ихель-Бенцион и царская армия. Как явствует из документов, добытых Володей Чикунским, дед успел еще до Первой мировой послужить в царской армии с 2.09.1909 до какого-то числа 1910 г. (перед самым поступлением в Лейпцигский университет). Он был призван в армию (вопрос об отмене призыва для лиц иудейского исповедания как негодных солдат все время обсуждался, и Николай II был ярым сторонником этой отмены, но так и не решились на это, а потом началась Великая война, и было не до того). Так вот, видно из документа «Свидетельство о явке к исполнению воинской повинности (21.09.1909)», дед-таки побыл некоторое время «ратником» (так это тогда называлось) «ополчения второго разряда». В этот второй разряд попадали лица не особо годные к строевой, но способные держать оружие в руках... (Зачисление в ополчение было, как я понимаю, чем-то вроде военных сборов в наше время, т.е. не полноценной службой в армии, но на случай войны, ополченец был обязан встать в строй.) К тому времени дед уже, как явствует из другого документа, сдал в качестве «постороннего лица» (т.е. учился экстерном) экзамены в Вознесенской гимназии Одесского учебного округа (это произошло летом 1908 г., ему было 20 лет), так что, исполнив воинскую повинность и имея гимназическое образование, аттестат о нем, он смог поехать учиться в Лейпциг, а поучившись, снова оказался в армии, на этот раз зауряд-врачом. Такая вырисовывается картина.

Что до неполного медицинского образования, то оно, очевидно, было восполнено жизнью – четырехлетней практикой на полях Первой мировой...

Березовка, или копая вглубь истории

Папин папа, т.е. мой дед Ихель-Бенцион (далее – Бенцион, как он сам себя позднее сократил для советского паспорта) родился и вырос, как я уже писал, в городке Березовка (ныне Украина) (75 км от Одессы и в 100 км от Николаева). Раскапывая историю семьи, я заинтересовался, что это было за место и что здесь происходило в последние годы перед Первой мировой и далее во время революций и Гражданской войны. Ведь именно отсюда дед юношей был снаряжен учиться в Лейпциг, сюда (или куда-то поблизости в Херсонской губернии) вернулся после учебы, отсюда был призван на Первую мировую, сюда же вернулся, заболев по дороге тифом, в начале Гражданской войны. И здесь или поблизости (в Одессе, Елисаветграде?) оставался, судя по всему, в начале 20-х гг., пока, где-то в 1926-27 гг. они (уже после папиного рождения) не переехали в Троцк (Гатчину). Что за место такое, эта Березовка, и кем были родители моего деда? Подробностей обо всем этом папа, к сожалению, не рассказывал, или я не успел правильно расспросить. Но кое-что запомнить или узнать удалось.

Папа говорил, мол, его дед, то есть отец отца, служил управляющим в имении какого-то немца, по соседству с Березовкой. Так вот, именно там, как оказалось, было имение крупных и родовитых землевладельцев Раухов. Сомневаюсь, что так уж прямо этот мой прадед был управляющим в этом имении (слишком уж высокое положение), но что служил у этого «немца», похоже на то.

Последним владельцем этого имения (к тому времени это было 9000 десятин, ок. 9832 гектаров!) стал Георгий Оттонович Раух, генерал, отличившийся при командовании дивизией и при работе в штабе Северо-Западного фронта в боях Первой мировой войны в Восточной Пруссии, а затем представитель председателя совета министров Украины при гетмане Скоропадском, и возглавлял гетманскую администрацию в Одессе. Имение, вероятно, в том или ином виде про-

должало свое существование вплоть до 1920 г. – отъезда его хозяина (видного участника Белого движения) в эмиграцию, в Стамбул в 1920 г.

Итак, если Раух-младший во времена Скоропадского возглавлял гетманскую администрацию в Одессе, а мой прадед Исаак (сам себя он называл Ицек, так в метриках у деда, но мы будем называть его Исааком), отец Бенциона, служил у него (якобы управляющим имения, но в этом я сомневаюсь), то кем бы он ни служил, такое высокое положение Рауха обеспечивало определенную защиту и покровительство тем, кто у него работал. Скоропадский (при нем, кстати, бывшие до этого погромы прекратились) был гетманом всея Украины с 29 апреля по 14 декабря 1918 года. Вероятно, именно в это время военный врач Бенцион Беневиц, демобилизовавшись из 3-го Кубанского казачьего полка, где он служил в Первую мировую, вернулся к себе на родину, к папе и маме в родную Березовку. Было ему в это время уже 30 лет.

Известно, что по дороге он заболел тифом и привез его домой. От этого тифа умерла его мамочка (Туба, так она именуется в метриках, сокращение от Тайбл, на идиш вариант ивритского Товалэ: хорошая моя), а сам Бенцион, очень долго и тяжело проболев, в конечном счете выжил. Пережил эти времена и его отец, Исаак, про которого известно, что он, вероятно вместе с сыном-врачом, в середине 20-х годов перебрался в Гатчину (Троцк), но работал в Ленинграде в какой-то артели, по крайней мере брал там работу. Как я уже писал, у него была машинка для изготовления наконечников для шнурков, и этим он зарабатывал себе на пропитание в период НЭПа (артель базировалась на углу Большой Подъяческой, 39 и Никольского переулка, 8, там и в моем детстве была обувная фабрика). Он был человеком верующим, иудеем, и посещал молельню, которая была напротив артели, на углу Большой Подъяческой, 36 и Фонтанки, 131 (точнее, в доме по Фонтанке, 131, доме купцов Марголиных), это все было задолго до того, как в соседнем доме, по адресу Фонтанка, 129 поселилась семья, в которой, в конечном счете, родился и вырос я.

Вот, из-за того, что мой прадед был на старости лет изготовителем наконечников для шнурков, я и сомневаюсь, что он был до революции и при Скоропадском прямо так управляющим имения Раухов. Ведь такая должность предполагала и знания и умения, которые потом позволили бы заниматься чем-то более квалифицированным, чем изготовление наконечники для шнурков (если, конечно, он просто не маскировался). Как бы то ни было, у Раухов он скорее всего в самом деле служил. И возможно, это было одной из причин, почему его сын, Бенцион, сумел получить среднее образование, достаточное для поступления в один из лучших в Германии Лейпцигский университет. Где-то же он должен был выучить для этого немецкий, латынь и много чего другого... (В Березовке, которая в 1906 г. уже стала городом, кстати, было два городских училища, но вряд ли в них давали достаточное образование для поступления в университет в Германии...). А судя по тому, что в 1908 г. Бенцион сдавал в качестве «постороннего лица» экзамены в Вознесенской гимназии Одесского учебного округа, т.е. сдавал за гимназический курс экстерном (вполне прилично, кстати, сдал – сохранилось свидетельство об оценках), то учился он не в какой-либо гимназии, а экстерном. Были, вероятно, учителя по отдельным предметам, хотя многое, возможно, освоил и сам.

Но вернемся к истории Березовки. Что это было за место, и какие события там происходили во время жизни моего деда Бенциона, который родился в 1888 г.² Известно, что евреи появились в Березовке либо в конце XVIII, либо в начале XIX в., и их сосуществование с местным православным населением было более или менее мирным до погрома 1881 г. (еще до рождения бабушки), который получил в еврейской историографии на иврите название «суфот ба-негев» (סופות בגבע) – «бури на юге». При этом на Березовку пришелся один из самых известных в той местности погромов. 26–27 апреля 1881 г. практически все еврейские дома (кроме синагоги и аптеки), всего 161 дом (это около 20 процентов от всех домов в городке), в Березовке были разгромлены. Был нанесен огромный материальный ущерб, но человеческих жертв все же, похоже, не было, и евреи, отстроившись, как жили, так и остались жить в Березовке. Наверняка память об этих событиях сохранилась, и в детстве Бенцион слышал эту историю.

А вот следующий погром, в 1905 г., он наверняка уже застал и хоть как-то, да запомнил, ему было уже 7 лет. Вот что об этом известно. «Население Березовки было крайне встревожено слухами о тотальном уничтожении евреев. Одна из потасовок между торговками на рынке переросла в драку. Толпа тут же кинулась к еврейским ларькам, уничтожая все на своем пути. Раздавались призывы “убить евреев, убивших нашего царя”. Многие здания были подожжены. Лишь когда прибыла казачья сотня (думаю, это обобщенное именование казаков, а не указание на их число. – Г.Б.), им удалось взять ситуацию под контроль. В результате погрома было разрушено 159 домов, 17 ларьков и 11 подвалов. Ущерб составил 450 тысяч рублей» (все сведения из еврейских источников, так что могут быть неточности в сторону завышения). Про человеческие жертвы опять сведений нет.

Примечательна в этой истории роль казаков, особенно имея в виду, что позднее Бенциону придется служить в Кубанском казачьем полку военным врачом (напомню, что это была такая политика властей: определять врачей из евреев в казачьи полки, где эти потенциально революционные элементы не могли бы вести агитации). Как бы то ни было, вот с таким «погромным» опытом в прошлом Бенцион дождался времени русской смуты. Тем не менее к революционному движению он не примкнул, Лениным, хотя и слышал его в Германии, не очаровался, к большевикам не подался, но, конечно, и в Гражданской войне воевать на стороне белых, куда отправился во главе со своими командирами его 3-й Кубанский казачий полк, ему тоже было не с руки, что и почувствовал его друг, начштаба полка, демобилизовав его, после чего он и отправился в Березовку.

А что же было в Березовке в течение Гражданской войны? Через Березовку проходили петлюровские войска, а также анархистка Маруся Никифорова и ее люди. В течение трех месяцев через Березовку проходили французские, греческие и сербские отряды. В районе Березовки была организована банда Милеля и рыскали войска Шаки, в которые входили также немцы из колоний, отличавшиеся своей жестокостью. На расстоянии 15 верст от города действовал Козаков со своей бандой и устраивал известные погромы Бабалаев. Партизаны-крестьяне дважды захватывали город, и в нем останавливались также денкинские войска.

Так что Бенцион, который, судя по всему, все это время оставался в Березовке, приходя в себя после перенесенного тифа, если не навидался, то уж точно наслышался всяких ужасов про происходящее, но как-то все это пережил. Как и его отец, Исаак. После всего сказанного не удивительно, что когда в начале 1920 г. через Березовку к Одессе проходила конница Котовского (красные) (до недавнего времени показывали дом, где размещался его штаб), Бенцион, будучи привлечен Котовским, узнавшим, что в городе есть хороший врач, не стал отказываться участвовать в создании нового госпиталя. Говорят, даже был награжден Котовским именной шашкой за спасение его раненых кавалеристов (но это, возможно, семейная легенда). Между тем хозяин имения Раухов, участник Белого движения Георгий Оттонович Раух, вероятный благодетель семьи Беневичей, в том же 1920 г. эвакуировался из Одессы на пароходе «Габсбург» в Стамбул и уже не вернулся на родину.

Миграция литваков и русофобия

Рассказав о папиных предках, было бы несправедливо не рассказать и о маминых. Тут все проще и менее романтично. Более или менее обычные литваки, т.е. выходцы из еврейской черты оседлости, из той местности, которая сейчас входит отчасти в Беларусь, отчасти в Псковскую область, называвшейся на идиш «Райсн» (т.е. Белоруссия). Рассказ о них упрощается двумя обстоятельствами. Во-первых, живыми свидетельствами, во-вторых, интереснейшими лекциями об этой «стране» и выходах оттуда этнографа и специалиста по иудаике Валерия Дымшица, доступными в Сети. Мои предки, их история, как и история их переселения в Петроград-Ленинград, прекрасно подтверждает эти лекции со своими, впрочем, нюансами.

Как и прежде, я обращаюсь к прошлому не из праздного любопытства, и не как историк, но чтобы хотя бы что-то понять и в своей собственной истории, и в преломленной в жизни нашей семьи истории России.

Мамины родители – бабушка Рая и дедушка Натан, особенно бабушка, имели на меня (довольно поздно начал это понимать) немалое и достаточно противоречивое влияние. Ведь долгое время мы и жили вместе на Фонтанке, и даже после того как они около 1964 г. переселились на 2-й Мушинский (Шверника) проспект, я очень часто бывал у них, поскольку атмосфера отдельной квартиры (пусть и однокомнатной, с махонькой кухней) мне нравилась куда больше, чем в нашей коммуналке, а и учился я потом недалеко, в Политехе. Я уж не говорю о бабушкиной стряпне, которая всегда была вкуснее маминой (у нее, особенно на пенсии, и времени было куда больше, и традиции еврейской кухни, впрочем, я редко вспоминал, что она была еврейской, просто особенной, нетривиальной, хранила именно она).

Итак, бабушка и дед были литваками. Дедушка, Богорад Натан Наумович (1904 г.р.) приехал в Питер учиться во второй половине 20-х годов из Витебска, где жил, говорят, на одной улице и чуть ли не в соседних домах с Марком Шагалом, которого, по воспоминаниям, приличные люди тогда называли: «шлимазл». Дедушкин отец, Богорад Нохим (Наум) Залманович, 1869 г.р. занимался одним распространенным у практичных евреев той местности (так об этом говорит в лекциях В. Дымшиц) делом, которое в удостоверении, выданном ему в союзе рабочих деревообделочников, значится как «лесное дело». Надо сказать, что и отец бабушки Раи, Мендель (в просторечье Михаил), родом из Невеля, тоже был связан с лесом (так и подмывает, памятую, что по-гречески, материя «гюле» (ξύλη), означает «строительный лес», добавить «интеллигентское» – оба были людьми «материи»). Только если Нохим занимался деревообделкой, то Мендель, кажется, заготовкой и поставкой леса. Оба были не бедными, хотя и не то чтоб особо богатыми людьми, но свои дома (а значит и право голоса в общине) у них были. У дедушки была замечательная старшая сестра, Элла (Элька?), которая первая в семье кончила в Витебске гимназию и переехала в Питер, поступив в 1922 г. в Педагогический институт им. Герцена, стала учительницей (очень хорошей, как я помню) русского и литературы. На каком-то курсе была чистка, и ее хотели отчислить из-за того, что она училась в гимназии. Но ее спас профессор Десницкий. Он сказал: «Еврейской девочке так тяжело было поступить в гимназию, а вы хотите ее за это отчислить».

Ее брат, Натан (получив в Витебске среднее техническое образование поработав техником на местной льнянопредельной фабрике «Двина»), вскоре вслед за ней переселился в Питер и поступил в Политех, где позднее, с дедушкиной подачи, учился и я. Обычная история литваков (по В. Дымшицу, составивших до 70 процентов питерских евреев), массово перебивавшихся из бывшей черты оседлости в открытые после революции для жизни евреев города бывшей Российской империи. Особенностью этой семьи, однако, было то, что первый из них – двоюродный брат отца дедушки Натана (и его потомки) – поселился в Петербурге еще до революции. Он был ювелиром и достаточно обеспеченным человеком. У них на тот момент была большая квартира на Херсонской ул. (нынче Херсонская, 1, Бакунина, 7) в большом красивом доме в стиле модерн на четвертом этаже (под ними жила художница, одна из жен А. Толстого, Софья Исааковна Дымшиц-Толстая). Когда после революции начались уплотнения, хозяин квартиры Богорадов отделил парадные комнаты, сделал перепланировку, и получилась отдельная квартира для своих. Он пригласил дедушкину сестру Эллу, которая кончала Педагогический институт, поселиться на Херсонской, сюда же перебрался и поступивший в Политех мой дедушка Натан. Здесь он (с перерывом на службу в армии) и жил до своей женитьбы на бабушке Рае. Вполне благополучная и достаточно безболезненная (если не считать родственного уплотнения) история бенефициаров большевистской революции.

Надо сказать, что эти, жившие на Херсонской, Богорады дали стране немало замечательных людей. Самый выдающийся из них троюродный брат моей мамы Григорий Ильич Богорад был

человеком героическим, он сражался на Невском пятачке и чудом уцелел. На ютубе есть его подробный рассказ о блокаде и войне (он дожил до 95 лет и сохранил не только ясный ум, но и мощный, почти левитановский голос, с которым пробовался – прослушивал сам Левитан – даже на диктора). После же войны он стал замечательным отоларингологом. Моя мама призналась, что в юности была несколько увлечена им, да и она ему была симпатична, но им сказали – ведь и остальные члены этой семьи были почти все врачами – что близкородственные браки нежелательны, так что мамина судьба пошла в сторону моего папы...

Теперь о родне моей бабушки Раи (Рахиль-Марии Менделевны Шустерович из Усвят, 1908 г.р.) и об их переселении в Питер. До сих пор я думал, что там была тоже вполне благополучная и безболезненная история, что постепенно один брат бабушки Раи за другим (всего их было четверо, но один был младше нее), поступали в те или иные вузы Петрограда-Ленинграда и пускали корни на новом месте, а в конце концов и сама Рая вместе с родителями, Михаилом (Менделем) Шустеровичем и Софьей (Ревеккой), и младшим братом переехала в Питер, и в конце концов все воссоединились. Но вот тут моя мама вдруг вспомнила – бабушка Соня ей говорила, что они бежали в Питер от погромов. Я вначале не поверил, какие такие погромы в начале 20-х годов в местах, не столь далеких от центра и нынче входящих в Псковскую область (а тогда – в Витебскую губернию)? Но, поискав в Сети, без особого труда нашел сообщение об этих событиях, аж в 1922 г. Строго говоря, речь здесь не о погромах, но о «бандитизме», который выглядит не иначе как еще один эпизод в не окончившейся Гражданской войне. Приведу здесь, к примеру, отрывок из «Ходатайства уполномоченного от еврейского населения м. Усвяты Витебской губ. С.Г. Оршанского в губернский отдел по делам национальностей об охране эвакуирующихся от бандитизма евреев. 20 июня 1922 г.»:

«1. Самый бандитизм не есть пришлый и чуждый местному крестьянскому населению элемент. Среди бандитов, возможно, имеется группа в 5–10 чел. организаторов, хотя тоже сомнительно, чтобы они не вышли из местных крестьян, но главным образом, бандиты – это крестьянские партии, всегда готовые к услугам руководителей. Это, между прочим, не соображения, а факты, так как уличенная и арестованная уже часть бандитов – исключительно крестьяне.

Обычно после своих убийств они расходятся и скрываются в своих домах, семьях и т.д. Наиболее в этом отношении прославились деревни Шершни, Иванцы, Прогды и Шмуры Усвятской вол.; например, убийство военного комиссара Шепилло совершилось так: он проезжал, а из крестьянского дома выбежал бандит и застрелил его.

В этой же д. Иванцах бывали и такие случаи: деревенские бабы заывают проезжих и прохожих евреев, умышленно заводят с ними беседу, а затем, отъехав несколько шагов за деревню, совершается нападение бандитов на этих же евреев.

Таких примеров масса, нельзя всего изложить в заявлении, опытный и честный специальный по сему делу деятель, бесспорно, служил бы богатым материалом, исследовав на месте в деталях то, чего я касаюсь лишь частично и поверхностно.

Вот почему мы полагаем, что главное свое внимание в борьбе с бандитизмом нужно сосредоточить на деревнях.

2. Еврейское население из м. Усвяты бежит, т.е. выселяется в другие города, оставляя свое имущество на произвол судьбы, так как из-за тех же бандитов они открыто выехать не могут. Поэтому мы Вас покорнейше просим ходатайствовать перед Витебским губисполкомом о предоставлении выселяющимся военной охраны по дорогам: Велиж–Невель и Усвяты–Сураж.

3. Затем, мы просим распоряжения о снятии урожая в фольварке] “Пустошь”, где был коллектив убитых евреев землепашцев, в пользу семей. Меры просим принять срочные.

Уполномоченный С. Оршанский

С подлинным верно Х. Розенберг

Копия с копии верно: Секретарь Витзуботница (подпись)

ГАРФ. Ф. Р'6990. Оп. 1. Д. 6. Л. 27. Заверенная копия.»

Как вспоминает мама, ее бабушка Соня рассказывала ей, что ее мужу Михаилу реально угрожала физическая расправа, как и им всем, кто тогда из семьи оставался в Усвятах. Так что, видимо, они в потоке еврейских беженцев с тех мест (о которых красноречиво повествует приведенный выше документ) бежали, едва ли успев многое взять с собой из вещей, в Питер, где к тому времени уже зацепился кто-то из братьев бабушки Раи (самый талантливый из них в математике, Гриша (он потом погиб в блокаду), кажется, успел поступить к тому времени в университет).

Как бы то ни было, вот при таких драматических обстоятельствах вся семья Шустеровичей из Усвят и Невеля оказалась в Питере, где со временем поселилась на Петроградской стороне, на углу Широкой ул. (Ленина) и Малого пр. Эта история – важное, как мне кажется, дополнение к тому, о чем, говоря о причинах переселения евреев из Витебской губернии в Питер, рассказывал в своих лекциях Валерий Дымшиц. Он, впрочем, упоминает, что экономическое положение всего этого, не особо богатого и прежде (чай, не Черноземье) региона стало после революции хуже, чем было. Конечно, это сказалось не только на еврейском населении, но (может быть, и в большей степени) и на крестьянском, православном. К тому же последнее наверняка воспринимало большевистскую революцию во многом «жидовским делом». Так что то, что местным (уже защищаемым властями) еврейским населением воспринималось как «бандитизм», коренным православным населением почти наверняка воспринималось чем-то вроде сопротивления захватившим власть в стране евреям. Не говоря уже о возможности получить хоть какую-то материальную компенсацию за потерянное в ходе революции и Гражданской войны, да и просто прокормить семью.

Здесь не место анализировать все детали этого противостояния (наверное, об этом уже немало написано, а если нет, то это дело историков). Мое дело – изложить происшедшее максимально объективно. Как бы то ни было, история о бегстве из Усвят, среди прочего, позволила мне несколько иначе взглянуть на то, что для меня было, признаться, одним из мучительных воспоминаний из моей юности и на более зрелого возраста. Речь о бабушкиной (бабушки Раи) русофобии. Ничего «такого» в этой русофобии не было. Ну, отделяла они своих (которых называла «аидами», постоянно выясняя, айд ли тот или иной человек или нет) от чужих, которых именовала «гоями». Ну, относилась к «гоям» она, судя по всему, с опаской и подозрением, в том числе была против смешанных браков. На этом, сколько помню, дело и заканчивалось. Но в юности, да и позднее, все это казалось мне диким, тем более что ни от своих мамы и папы, да, кажется, и от дедушки Натана я ничего такого не слышал. Мама сейчас призналась, кстати, что в семье Богорадов, той, что жила на Херсонской, к браку дедушки Натана относились как к не слишком удачному. Теперь я догадываюсь, что и там бабушку Раю могли считать слишком местечковой по образу мысли и поведения. Те Богорады, уже давно жившие с Питере, были людьми несколько иной социальной страты (там были и выдающиеся музыканты, и филологи-востоковеды), более эмансипированного и европейского (потому туда органично влилась и кончившая в Витебске гимназию и учившаяся в «Герцена» Элла). У них у всех было высшее образование (а у кого-то потом «степень»), а бабушка Рая, хоть часто и работала на должностях, требующих высшего образования, но его так и не получила.

Все эти расклады понятны, как и моя реакция на бабушкину русофобию (тем более болезненная, что бабушку я конечно любил, как и она меня). Но теперь, в свете истории про погром в Усвятах (а мама, ссылаясь на свою бабушку Соню, утверждает, что та говорила и о каких-то других, бывших до этого погромах), по крайней мере понятно, на фоне каких травм детства и юности (а в 1922 г. бабушке Рае было 14 лет) в ней сформировалась эта русофобия. Надо сказать, что она тем более была дикой для меня, что это сегрегационное сознание не было, в отличие от того, что было у верующих иудеев, которые отделяли себя по вероисповедальному признаку, следуя букве Писания, ничем религиозно оправданным. Бабушка Рая, в отличие от своей мамы, Софьи-Реввеки, верующей иудейкой ни капли не была. Ее мама (она умерла за три дня до моего

рождения) ходила регулярно в синагогу, а бабушка Рая, жена члена партии (дед вступил в партию во время блокады), иудейкой, да и просто верующей уже не была. От всего еврейства в ней сохранилась еврейская кулинария, знание идиша, на который она время от времени переходила, отчитывая моего папу или (реже) деда Натана, чтобы «ребенок», т.е. я, не понял, да вот это сознание особенности евреев, ничем для меня тогдашнего не подкрепленного и не оправданного. Теперь-то я понимаю, что кроме религиозного оправдания чувство своей особенности может подпитываться страхами, почти животными страхами в отношении «чужих». Далеко не всегда беспочвенными.

Как бы то ни было, приходится признаться, что именно от этого местечкового (но уже лишённого духовной составляющей местечковой жизни) сегрегационного сознания я в немалой степени потом и отталкивался, причем зачастую перегибая палку в другую сторону – утверждая ценность и автономность личности в противоположность роду, воспринимая его как нечто враждебное личности, требующее преодоления. Но это уже отдельная тема, для особого разговора.

Завершая же историю про переселение моих предков из страны «Райнс» в Питер, я должен упомянуть о том, как летом 1941 г., еще до начала войны, мама моего дедушки Натана и его сестры Эллы, Богорад Рахиль Натановна отправилась одна в Витебск навестить свой дом и немного отдохнуть от Ленинграда у себя на родине. Там ее застала война. Дедушка Натан в 1944 году (к тому времени уже офицер) отпросился из части, чтобы поискать мать или хоть сведения о ней в Витебске, но ничего не нашел. Скорее всего, она погибла вместе с другими, не успевшими эвакуироваться евреями Витебска.

Так что и переселение литваков в Питер, происходившее в 20-30-е годы прошлого века, чем бы оно ни было мотивировано, оглядываясь назад, спасло им жизнь.

Про бабушку Раю, Л.Я. Гинзбург и прочее, прочее...

Так случилось, что именно «местечковой» бабушке Рае я обязан одним из значимых событий в своей молодости – встрече с Л.Я. Гинзбург. Дело было в 1981 г., когда я, сбившись с проторенного пути своих родителей, уже бросил инженерную работу, проработал год на Севере учителем, а теперь вернулся и очередной раз стоял на перепутье. Тут-то бабушка, гуляя во дворе своего дома, на 2-м Муринском (Шверника), д. 8, корп. 1, и поделилась с одной из своих товарок по «кварталу еврейской бедноты», как те места называли в народе, тем что у нее такой вот непутевый внучек, который, кончив Политех, вместо того чтоб быть инженером, на худой конец учителем физики, занялся бог знает чем – то ли поэзией, то ли пишет о поэзии... Это блажь, наверное, но что с этим делать, непонятно... Тут-то эта самая бабушкина товарка ей и рассказала, что через остановку от этого места по 2-ому Муринскому (д. 27) живет ее знакомая, Лидия Гинзбург – известный литературовед, и нужно меня к ней направить, чтоб она дала профессиональную оценку того, что я делаю, и либо одобрила и поддержала, либо убедила меня бросить все это... Я, конечно, знал уже к тому времени, кто такая Лидия Гинзбург, и когда бабушка Рая предложила мне устроить встречу с ней, я с радостью, хоть и с некоторой оторопью, согласился.

Встреч, собственно, было две. Сначала я пришел к Л.Я. и оставил ей кое-какую свою писанину (очень незрелые заметки о теории творчества, «поэтике поэзиса», как я теперь это называю, у Мандельштама и Хлебникова), а через несколько дней пришел к ней, и мы немного поговорили. Никакого практического результата, на который рассчитывала моя практичная бабушка, из этой встречи не вышло. Ни профессиональной поддержки, ни ушата уничтожающей критики я не получил. Вместо этого Л.Я. сказала, что, хотя лично ей это не близко, но что-то в этом может быть и есть, и что самое важное мне сейчас найти единомышленников (в этом совете сказался опыт ее собственного становления, как я теперь понимаю). Так и получилось. Вскоре вместе с моим другом Аркадием Шуфринным при поддержке Виктора Кривулина и Кирилла Бутырина мы написали «Введение в поэзию Мандельштама», с чем и поступили в Клуб-81. Так что встреча

с Л.Я. Гинзбург, организованная моей «местечковой» бабушкой, оказалась прелюдией ко всем этим событиям.

Но, если «отмотать» клубок воспоминаний на еще десяток с лишним лет, то можно вспомнить, что именно в этой однушке (тогда и слова-то такого не было) на 2-м Муринском, у бабушки и дедушки (а не где-то в другом месте, например, у нас дома в коммуналке), лет в 10-11 мне «приснилось» первое в моей жизни стихотворение (вполне гармоничное, в пушкинско-тютчевском духе). Бабушка с дедушкой, от которых я и строчки стихов за всю жизнь не слышал, тут совершенно ни при чем, если не считать той неги (тут уместно вспомнить это старинное слово), под покровом которой я оказывался в их доме.

Здесь же, в их доме (благочестивый читатель, пропусти это предложение!) мне, после чтения французского романа, в 17 лет мне «приснилась» и первая любовь... Нега – дело такое. Обоюдное.

Но я опять сместил фокус мемуаров на себя, а хотелось бы еще нечто важное вспомнить о бабушке. Как я понимаю, до смерти ее мамы Сони она сама во всем главном слушалась ее. Именно бабушка моей мамы, Соня, была хранительницей семьи (роль, которая после ее смерти перешла к бабушке Рае). Именно чутью моей прабабки Сони мы все обязаны своей жизнью. Ведь когда наступила война и встал вопрос об эвакуации, дед Натан убеждал, что ехать никуда не нужно, что немцы (даже если они займут Ленинград) культурная нация... И только «чуйка» бабушки Сони, которая, как я теперь понимаю, пережила ни один погром, сработала безотказно – надо собирать-ся и срочно уезжать.

Но это уже другая история... об эвакуации в Киров (Вятку), где бабушка Рая с тремя (две дочки и одна племянница) малым детьми и престарелой матерью еще умудрялась работать на тяжелой и ответственной работе – приеме составов приезжающих эвакуирующихся из Ленинграда голодных и изможденных людей... Завершить же этот краткий мемуар о бабушке Рае я позволю себе стишком-эпитафией, написанным после ее смерти.

Эпитафия

Дав привыкнуть к смерти
Своей,
Бабушка Рая
Умерла.
Бабушка
Рая...
Рахиль-Мария –
Такое имя
Дали ей
Её родители.
Впрочем,
Так её
Никто не звал,
Ни дома,
Ни на службе.
Имя это
Осталось скрытым
Как будто,
Неосуществленным...
Бабушки Раи
Больше нет

С нами...
 Боже,
 Упокой Рахиль-Марию
 С её родными –
 Отцом и матерью.
 И даруй ее мужу –
 Дедушке Натану
 Покойному –
 В раю их
 Звать её
 Рахиль-Марией,
 А его ей –
 Нафаном.

11 октября 1996

Обряд и ваза

По маминым воспоминаниям, одно из ее сильнейших потрясений после моего рождения было вызвано религиозным обрядом, совершенным надо мной по инициативе дедушки Бенциона у нас на дому, на Фонтанке. Мама была категорически против, папа скорей всего тоже, но не смел противоречить отцу. Остальные члены семьи (кроме, может, одного-двух, не самых близких) были совершенно не религиозны, но всем (речь, разумеется, о мужчинах) пришлось собраться по зову деда Бенциона, человека религиозного, твердо решившего соблюсти завет отцов.

Надо сказать, что и своим появлением на свет я в немалой степени был обязан деду Бенциону. Не только и не столько как отцу моего отца, но и потому, что когда мама забеременела, ее мама, моя – в будущем – бабушка Рая заявила, что маме рожать нельзя, т.к. у нее больное сердце (последнее было сущей правдой – после перенесенной в детстве скарлатины мама постоянно имела проблемы с сердцем). Как бы то ни было, дед Бенцион твердо заявил, что об аборте и речи быть не может, что мама как миленькая будет рожать, ничего страшного не случится. И заявил он это с полной ответственностью, т.к. был заведующим гинекологическим, оно же родильное, отделением Гатчинской больницы с тридцатилетним опытом работы. Так вот я и родился.

Но вернемся к обряду. На него с трудом набрали нужное число евреев-мужчин (миньян). Мама уверяет, что нужно было 11 человек, но мне кажется, что и десяти было бы достаточно. Одним словом, пришлось мобилизовать всех, включая, конечно, и моего совершенно неверующего партийного деда по маме, майора инженерных войск Натана и прочих таких же, уже давно ставших советскими людьми дядь и дядей. Итак, я, как сейчас помню, орал во время обряда причисления меня к детям Авраама по плоти, благим матом. Мама же – в соседней комнате (у нас были две смежные) рыдала навзрыд – жалко ей было махонького сыночка, которого совершенно непонятно для чего мучат эти то ли 10, то ли 11 мужчин. «Вот уж не думал, что ты такая дура», – подбодрил ее, в целом любивший и уважавший ее дед Бенцион, вручив ей меня и велел дать ребенку грудь и не отходить от него целый день.

Завершить же это бытописание из жизни советских евреев в 1956 г., чтобы не ограничиться одним бытописанием, можно, вспомнив, что и почти через двадцать лет после происшедшего я понятия не имел о смысле совершенного надо мною, иначе как объяснить, что в возрасте юношеского протеста против окружающего совка, совпавшего с возрастом юношеского отчаяния (был

у меня такой) у меня вырвались строчки: «серпом мне совершили обрезанье, / а молотом пере-
ломили круп»?

Не сказалось ли, кстати, на моих строчках про серп и молот, приведенных выше, то, что с са-
мого раннего детства я помню хранившуюся в нашей семье старинную (времен Николая II) вазу,
изготовленную на знаменитом Ломоносовском фарфоровом заводе, со сделанной поверх «бель-
ка» агитросписью — со звездой, серпом и молотом. Как мне сообщили специалисты, роспись по
эскизам Чехонина сделана примерно в 1927 г.

В прошлом году, наверняка сильно ниже рыночной цены, я отдал ее в руки тех, кто ценит
такие вещи больше меня. И не сожалею. Ваза досталась нашей семье даром — от (как я узнал не
так давно) живших до нас в наших комнатах на Фонтанке неких Дубинкеров в 1937 г., когда из-за
репрессий им пришлось спешно покинуть Питер. И хоть наша семья не была никак причастна к
случившемуся с ними, но надеюсь, что, распрощавшись с этой вазой, удалось перевернуть и эту
страницу истории.

19.06.2024

22.06.1941 и далее (мамины воспоминания)

Немного упреждая очередную годовщину, запишу, пока не забыл, мамин рассказ о том, что с
ними было при объявлении войны и сразу после. Ничего особенного. Таких рассказов уже и на-
писаны тысячи, и многие вещи повторяются. Но из уст своей мамы все значимо, хотя бы потому,
что, сложись что-то иначе в этом рассказе, не было б, быть может, и его самого. Маме за два ме-
сяца до начала войны исполнилось десять. Лето 41-го, как все знают, было отменное. Отличные
были, теплые погоды, и мамин папа (мой дед) Натан как-то пришел домой и объявил, что снял
дачу в Сиверской. Туда они все и отправились, ну, т.е. мама с маленькой сестрой Беллой, со своей
мамой Раей и со своей бабушкой Софьей. Сколько времени они провели на даче до начала войны,
мама уже не помнит. Дальше все как в кино — в летнюю дачную благодать, в воскресенье 22 июня
приезжает мамин папа и объявляет, что началась война, и нужно ехать в Ленинград. Бабушка Со-
фья сразу сказала, что это очень опасно, и много раз повторяла, что важно сохранить документы.
Так маме запомнилось.

В Ленинграде дед вскоре пришел домой и сказал, что детей нужно срочно отправить в дом
отдыха для детей с дедовской работы в Ленинградском военном округе в Малую Вишеру — туда
брали детсадовцев и школьников младших классов. Мама и ее сестра подходили. Еще деду уда-
лось туда пристроить трех своих племянников-племянниц (двух девочек и одного мальчика, все
помладше мамы). Итого их было пятеро, мама была за старшую. Три недели они провели в Малой
Вишере, опять же наслаждаясь прекрасным летним отдыхом. Садик был хороший, с ними много
возились, играли и чему-то учили их воспитатели и вожатые. Война их пока не тревожила. Но
у мамы — самой старшей и толковой — ушки были на макушке, и однажды она услышала спор
взрослых, следует или нет предупреждать детей, что завтра-послезавтра всех их должны эваку-
ировать куда-то далеко от Ленинграда... Мама, конечно, заволновалось, а тут еще кое к кому из
других детей начали приезжать родители и забирать их... А за нашими никто не приезжал. Мама
хорошо помнит, как они шли по полю около дома, где жили, и она сорвала ромашку и стала га-
дать: приедет — не приедет за ними мама, приедет — не приедет... Нагадала, что приедет... Наутро
забрали еще нескольких детей, а за ними все не приезжали... Но вот, наконец, сквозь сон рано
утром она услышала из-за двери голос своей мамы и мамы одних из ее двоюродных... Так их в са-
мый последний момент забрали и увезли в Ленинград. А в это время в противоположную сторону
отходил состав с детьми дома отдыха, которых родители не сумели забрать. Состав направлялся
в сторону Кирова (Вятки), но как они потом узнали, дошел до Котельнич, под Кировом, и там
эвакуируемые остались. В момент, когда оба поезда уходили, немцы станцию начали бомбить;
слава Богу, в состав с детьми и в мамин состав не попали, но взрывы бомб она впервые услышала.

Когда их привезли в Ленинград, на Фонтанку, 129, где жила наша семья, начались жаркие споры. Я их уже не раз упоминал, но не грех и повторить. Мамин папа, Натан (который из Витебска и с высшим образованием – Политех в Питере) утверждал, что если город немцы возьмут, ничего страшного не случится – немцы народ культурный, а бабушка Соня (мама Раи), простая, необразованная, но житейски мудрая, настаивала, что нужно уезжать. Слава Богу, победила она. Наконец, Натан добился разрешения для жены, тещи и двух детей на эвакуацию в Киров. По приезде туда Рая, работавшая в Питере бухгалтером в исполкоме, быстро устроилась там тоже в исполком, где выполняла работы не только бухгалтерские, но и всякие разные. В частности, она специально съездила в Котельнич – проверить, как живут ленинградские дети, вывезенные из того самого дома отдыха, где были и ее дети. Там она увидела печальную картину – голодные, завшивевшие дети...Наверное, сообщила об этом начальству, если тут можно было чем-то помочь. Но точно сказала своим детям – слава Богу, что мы успели вас забрать!

09.06.2024

Война и медицина

Недавно один гатчинский краевед опубликовал в ВК наградное представление на деда Бенциона – к ордену Красной Звезды. Там значится, что через его руки, начмеда эвакогоспиталя 260, – прошло более 2000 солдат и офицеров, которых он выходил. Его родная сестра, Маня (Мария Исааковна Биневич – она писала нашу фамилию через «и»), кстати, тоже была военным врачом, имела офицерское звание (капитана), была в блокаду в Ленинграде челюстным хирургом, и тоже многих спасла.

Второй дед, по матери, Натан, еще до войны был некоторое время главным механиком на заводе «Красногвардеец», специализацией которого было оборудование для военной медицины. Там много чего изобрел, если верить надписи на обратной стороне фотографии, подаренной ему сослуживцами в 1934 г. Потом он, правда, ушел в строительство военных аэродромов, но во время войны снова оказался связанным с медициной – был начальником всего хозяйства большого госпиталя в блокадном Ленинграде, а после войны – областного военного госпиталя 442, и тоже был представлен за свою службу к тому ж ордену, что и дед Бенцион (оба дослужились до майоров). Но самые тесные отношения с военной медициной случились у моего папы, раненого в Венгрии, под Балатоном. Медики долго не могли справиться с его ранением – осколками мины в ногу. Он мотался по госпиталям, и в конце концов оказался уже после войны в госпитале в Таллине. Там его тоже не могли вылечить, и он лежал и мучился, и маялся, т.к. отпускать домой его тоже не хотели, не знаю уж почему. Тогда, по рассказу моей мамы, туда отправилась его сестра, Лена. Ей было тогда где-то 21-22 года, а папе – 20. Ну вот, по дороге Лена охмурила морского офицера, и они вместе с этим офицером заявили в госпиталь, и с его помощью Лена вызволила папу из госпиталя и привезла она его в Гатчину, а там уж дед Бенцион сам долечил своего сына. Как-то так... Вся эта история омрачилась тем, что в это время уже смертельно заболела чахоткой младшая папина сестра Таня, за войну, будучи в Башкирии в эвакуации, видно, надорвалась. Так что победа, как и у всех почти в этой стране, оказалась не без тяжких потерь.

22.06.2024

Цыгане

В отдельную запись хотелось бы выделить сохранившееся в нашей семье преданье об особых отношениях деда Бенциона с цыганами. Дело в том, что Гатчинский район был излюбленным местом их проживания. Не знаю, к какому именно времени относится папин рассказ – довоенному или уже послевоенному, может, к тому и другому сразу, но по папиным словам, цыгане просили, чтобы роды у них принимал только доктор Бенцион Исаакович, и, не желая рожать в больнице,

присылали за ним специальную подводу, которая и доставляла его в цыганский табор (в данном случае, вероятно, место кучного поселения цыган), а потом отвозила обратно. Причем дед никогда не отказывал им, хотя уже был маститым (а после войны уже и достаточно пожилым) заведующим родильным отделением местной больницы и, наверно, мог бы послать к ним и акушерку, и другого врача, помоложе. Как бы то ни было, никакой идиосинкразии у деда к цыганам не было, а возможно, было и особое отношение, по крайней мере после войны, когда уже было хорошо известно, что цыгане подверглись такого же рода геноциду, что и евреи.

В Гатчинском районе до сих пор ходит легенда об уничтожении немцами цыганского табора аж в 700 человек где-то недалеко от Гатчины, когда мужчин табора сначала заставили копать яму, а женщин петь и танцевать, а потом всех вместе расстреляли, да еще, чтоб наверняка, прошлись поверх тел танком... Так что в тех местах, мол, до сих пор слышно пение душ умученных цыган. В этой легенде, наверно, немало преувеличений (в частности, завышено число цыган), но точно известно об уничтожении около Гатчины табора человек в 25. Наверняка дед слышал и от самих цыган, и от других местных жителей рассказы подобного рода и не мог остаться равнодушен к ним. Как бы то ни было, принимать роды у цыган он точно всегда, как она и просили, ездил. Табор (самый многочисленный) после войны находился совсем недалеко от Гатчины – в Мариенбурге, где и до сих пор проживает немалое число цыган (кто-то из них ведь родился с помощью деда), и где даже время от времени устраиваются этнографические выставки, посвященные цыганским обычаям и фольклору.

Я же пересекся с цыганами (точнее, с цыганкой) всего один раз, но запомнил на всю жизнь. Дело было весной 1980 г. (мне было уже 23). Я ходил по парку Лесотехнической академии, недалеко от главного здания Геофизической обсерватории им. Воейкова в ожидании решения моей судьбы. Мне за особые «заслуги» в сфере политической могли дать увольнение (т.е. вольную, что было не так просто – 3 года изволь отработать по распределению, а прошел лишь один), а могли и не дать, а сделать какую-нить гадость. И вот я в ожидании решения тамошнего начальства ходил туда-сюда, в несколько взвинченном состоянии по парку. Тут-то на меня и вышла цыганка, для которой я оказался легкой добычей, т.е., несмотря на свою прижимистость, «позолотил ей ручку» довольно прилично, находясь в каком-то сомнамбулическом состоянии. А из всего предсказанного ею о моей будущей судьбе запомнил только про «казенное письмо», имеющее существенно изменить мою жизнь в ближайшее время, что мне, как только она с моими рубликами отчалила, показалось полной ерундой...

Ну, какое еще там «казенное письмо»... Но нет же, через пару месяцев я и в самом деле получил такое письмо (по крайней мере так его можно трактовать, а все ведь дело в толкователе) – из Архангельского обл. роно с приглашением меня в качестве учителя на Север, в Мезенский район, в деревню, где я и провел ближайший учебный год. Цыганка так или иначе оказалась неузнанной тогда мною предвестницей этого перелома в моей жизни.

20.06.2024

Про потери

Однажды из-за меня задержался самолет. Мне было лет 12, и мы летели с мамой из Симферополя. Самолет делал по пути посадку в Киеве, там, в аэропорту, задержали наш вылет, и мама позволила мне отойти из зала ожидания в буфет. И вот я, отстояв очередь, спокойно жевал свой коржик в каком-то закутке, как вдруг услышал по громкоговорителю, что мама Гриши Беневича разыскивает своего сына и ждет его в самолете, и что самолет больше ждать не будет. Оказывается, давно объявили вылет, и мама, не найдя меня в аэропорту, приняла решение: она села в самолет с тем, чтобы задержать вылет, если понадобится, и в то же время надеясь объявить, что разыскивает меня. А если бы я не пришел, она бы, конечно, вышла и осталась искать меня в Киевском аэропорту. Тогда я даже не смог оценить ее сообразительность и решительность, ведь

если б она промедлила, ища меня в аэропорту, самолет бы улетел. Сам бы я и сейчас такого не придумал. Одним словом, я вбежал в самолет, пассажиры которого уже всю негодовали, что рейс задерживается из-за какого-то мальчишки, вбежал и не нашел ничего лучше, как... предложить маме остаток коржика. Мама же молча стерпела, пока пассажиры дружно ругали ее (до того, как я прибежал), что отпустила ребенка одного ходить по аэропорту, а затем защищала уже меня, когда, увидев, что я не такой уж и маленький, они напустились на меня.

Через много лет, при совершенно других обстоятельствах этот эпизод попал в мой верлибр. Вместе другими вехами нашей семейной истории:

Имена

У врачей для *этого* свой язык:
 «Так мы потеряем ее влѣгкую»
 Да, вот, можно потерять ключи, четки, очки,
 А можно – говорят – и маму.

Мама, ты помнишь, я потерялся у тебя
 в аэропорту,
 сколько мне тогда было,
 десять? двенадцать?
 Пошел поесть и прозевал посадку,
 ты же села в самолет,
 чтобы его задержать
 или в последний момент выскочить,
 а я в буфете услышал
 по громкоговорителю свое имя...
 и успел на задержанный тобою рейс.

И вот теперь я пытаюсь задержать твой уход,
 кричу, шепчу тебе: мама, мама,
 я не хочу терять тебя «влѣгкую»,
 я вообще не хочу терять тебя,
 ведь мы же не вещи, чтобы теряться
 друг у друга,
 мы же не вещи
 и не живая сила,
 как говорят военные:
 «потери в живой силе и технике»!

Если бы папа оказался не ранен,
 а среди этих «потерь»
 у венгерского Папы в 45-м,
 вы бы не поженились в 55-м,
 и меня бы не было на свете...

Ты слышишь, мама, я говорю о потерях:
 человек не должен быть как вещь,
 врачи и военные

внушают, если верить им на слово,
нам ложные представления.

Послушаем лучше других,
теперь не чуждых и тебе,
говорящих,
что если имена наши написаны на небесах,
в Книге Жизни,
смерти нас не одолеть,
не превратить в вещь,
которая может просто так
взять и потеряться.

3–5 января 2020 г.

Валентности судьбы

Чтение старых семейных писем лишний раз напоминает о том, что все могло пойти не так, как пошло в жизни моих предков, которые бы тогда и предками моими не стали. Например, сохранилось папино письмо от июня 1946 г. Он пишет родителям из армии (его еще не демобилизовали после войны), из Костромы (sic!), что замыслил, коль скоро его не отпускают из армии, пойти в военное училище, с тем чтоб в конечном счете стать военврачом. Т.е., очевидно, он подумывал о том, чтобы отчасти пойти по папиным стопам.

Ну вот, пошел бы он по этой стезе, никогда б с мамой не встретился, и меня б не было на свете. Забавно читать обо всем этом. Мы редко задумываемся, сколько должно было совпасть всяких обстоятельств для того, чтобы мы вообще появились на свет...

28.01.2025

Ради справедливости

У моей тети, Лены (папина родная сестра) был муж, которого я, честно говоря, не очень-то любил. Это был поздний брак, и в детстве я воспринимал тетю Лену как-то саму по себе, без всякого мужа. Других мужчин у нее не было. Это уже совсем недавно (от мамы пред ее смертью) я узнал, что в молодости у тети Лены была сильная любовь к одному морскому офицеру-фронтовику, но там что-то не срослось. А на моей памяти, до появления этого позднего мужа, никого не было, и тетя Лена посвящала себя целиком работе (она была прекрасным, любимым многими, невропатологом в Гатчине) и родным, в частности, мне, чем я и пользовался. И тут вдруг появился этот муж, Абрам Иосифович. Да какой-то еще совсем не молодой, хромающий и не слишком симпатичный... В общем, тетя Лена явно попыталась в последний момент (ей было где-то 38-39) вскочить в уходящий поезд семейной жизни. Даже ребеночка они родили, но поздний для них обоих ребенок оказался слабым и нежизнеспособным и прожил всего пару лет...

Мне было жалко тетю Лену, но помочь тут было ничем нельзя. А мужа ее, на котором теперь сосредоточились все ее заботы, я, соответственно, недолюбливал... Хотя виду особенно не подавал. Просто почти перестал на долгое время у нее бывать, да и звонил редко. А потом этот Абрам Иосифович (далее А.И.) умер.

И вот только сейчас, получив по наследству семейный архив, я удосужился поинтересоваться, что за жизнь прожил Абрам Иосифович Дибер, и несколько устыдился. Что-то я, конечно, слышал краем уха и прежде, но не отдавал себе отчета. А в жизни А.И. было много примечательного, и очень жаль, что я не познакомился с ним поближе и не расспросил его.

Вот, например, родился он в 1912 г. в Российской империи, но в паспорте конечно значится место рождения: Украинская ССР, Сталинская обл., Славянский р-н, г. Славянск. Неслабое такое место, как ни посмотри.

Как и когда он оказался в Питере, не знаю, но известно, что еще перед войной было у него высшее образование (инженер-механик) и работал он инженером-конструктором. А дальше – сплошные загадки. Страшную зиму-весну 1941-1942 г. А.И. провел в блокадном Ленинграде. Работал он на заводе 371, так был зашифрован «Металлический завод». Вероятно, это давало броню и спасало от голода. Но вот дальше, в мае 1942 г. он оказывается в действующей армии, причем в качестве простого красноармейца, хотя как человек с высшим техническим образованием, инженер-механик (и не ополченец, каких в это время уже не было, только в 1941-м), он бы должен, по идее, оказаться офицером. Может, не прошел краткие офицерские курсы или наказали его за что-то, кто знает?..

Как бы то ни было, еще минимум год А.И. воевал как простой красноармеец (ему выдали пулемет), и только в 1944 г. он уже числится младшим лейтенантом и командиром взвода. Закончил войну А.И. 20 ноября 1944 г. после тяжелого ранения в ногу во время наступления на о. Эзель (п-в Сырве). А до этого еще два раза был ранен, но оставался в строю. За все это и за храбрость в бою был представлен к ордену Отечественной войны II степени, но и тут чья-то бдительная рука перечеркнула в представлении о награде этот орден – сочли, наверное, что многовато – и дали Красной Звезды. Во время войны подал заявление в партию...

После ВОВ опять работал на том же Металлическом заводе, и был там с некоторых пор совсем не рядовым инженером, а начальником отдела в КБ при этом заводе. Танки, надо полагать, сочинял или нечто в этом роде.

В общем, было о чем расспросить А.И., а я не удосужился. Уж больно чуждо мне было все это, связанное с ВПК и армией. Да и близки мы совсем не были – казалось, что А.И. «заедает век» моей дорогой тети. Отчасти так оно, наверное, и было. Но сейчас, узнав о его жизни чуть подробнее, взглянул на все это несколько иначе.

Да и хромотой меня теперь не удивить (знаю по опыту).

P.S. Вещь хорошо известная, но как-то лишний раз прочувствовал, что практически вся моя и моих нынешних близких родня (по крайней мере мужчины) работала на ВПК или были армейскими. Мой дедушка по материнской линии был военным инженером, мой папа работал на ВПК, моя мама косвенно тоже работала на ВПК (часть их проектов была военными, или двойного назначения), мой дядя, А.И., делал танки, мой второй дядя, Леня, муж мамыной сестры, работал на Северном заводе (высший уровень секретности), отец моей жены (а до болезни и ее мать) -- работали на ВПК, отец моего лучшего друга -- известный конструктор танков.

Вся страна была военным лагерем, и лучшие мозги прямо или косвенно были втянуты в это, тратили на это всю свою жизнь (понятно, что в других местах и платили меньше, и работу найти было труднее). Сейчас двинулись в том же направлении, и не дай Бог, все это повторится снова...

Нет, я не против наличия ВПК как такового (без него не обойтись), но превращение страны в военный лагерь (ведь в СССР на ВПК прямо или косвенно работало около 50 процентов промышленности и лучшие мозги) это цивилизационный тупик.

08.05.2025

Юрий НЕВОДОВ

(1925–1995)

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Книга о Борисе Семеновиче Неводове
1991 год

Публикация **Натальи Неводовой****От публикатора:**

С трепетом и волнением представляю читателям эту драгоценную рукопись, которая больше тридцати лет бережно хранилась в семейном архиве Неводовых. «Память сердца» – удивительный документ, в котором соединились профессиональное мастерство литературоведа и сыновняя любовь.

Юрий Борисович Неводов прожил жизнь, достойную отдельной книги. Родившийся в год, когда страна только начинала оправляться от революционных потрясений, он принадлежал к поколению, чью юность опалила война. В 1943 году, окончив школу, восемнадцатилетний Юрий ушел на фронт. Служил в артиллерии 48-й армии, был командиром истребительно-противотанковой артиллерийской батареи, прошел тяжелейший боевой путь от Березины до Кенигсберга. Его боевые заслуги были отмечены орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».

После войны бывший фронтовик выбрал совершенно мирную стезю: изучение литературы. В 1952 году окончил филологический факультет Саратовского университета, затем аспирантуру под руководством выдающегося ученого Ю.Г. Оксмана¹. Входил в «герценовскую группу», занимавшуюся подготовкой академического собрания сочинений А.И. Герцена.

Вся его последующая жизнь была связана с Саратовским государственным университетом: ассистент, ученый секретарь, старший преподаватель, а с 1975 года – доцент кафедры советской литературы филологического факультета. Он читал лекции по истории советской литературы, белорусской литературы, вел спецкурсы по драматургии В. Вишневского, М. Булгакова и литературе 1920-х годов.

Но Юрий Борисович был не только ученым. Он посвящал себя и общественной работе, стал первым руководителем Саратовского общества защиты животных. Благодаря его усилиям в 1993 году в Саратове открылся один из первых в России приютов для бездомных животных – второй после московского.

И вот перед вами его сокровенный труд – воспоминания об отце, Борисе Семеновиче Неводове, саратовском писателе. Эти страницы написаны любящим человеком. Поэтому здесь автор предстает не только как строгий ученый, а как чуткий, ранимый человек, хранящий память о своем отце.

¹ Оксман Юлиан Григорьевич (1894/1895–1970) – литературовед, историк, пушкинист, доктор филологических наук, профессор, специалист по истории русской литературы и архивоведению.

*Секрет писательства заключается
в вечной и невольной музыке в душе.*

В. В. Розанов

Борис Семенович Неволов приобрел известность как журналист, многолетний сотрудник областной газеты «Коммунист» и автор исторического романа «Бриллиантовый князь» (1941). Менее он известен в качестве автора повестей «Пелагея Черноглаз» (1934) и «Дерзание» (1936). Первая из них была запрещена сразу же после выхода в свет, а вторая затерялась на страницах местного альманаха «Литературный Саратов». И уже совсем неизвестен Б.С. Неволов как автор нескольких произведений автобиографического характера, оставшихся в рукописи, и незавершенного романа «Дорога на Восток». После Отечественной войны Б.С. Неволов продолжал писать и печататься, издав несколько романов и повестей: «В грозу» (1945), «Подвиг» (1947), «Недра» (1950) и сборник рассказов «Всюду жизнь» (1955), – но заметного места в литературе занять уже не мог.

Б.С. Неволов как литератор рос и формировался сначала в Уральске, при газете «Красный Урал», затем в Саратове, сотрудничая в местной краевой и областной печати. От производственных очерков, составивших сборник «Человек, земля и завод» (1932), он, не порывая связи с газетой, шагнул в художественную литературу, и первой серьезной заявкой на этом пути была уже упоминавшаяся выше повесть «Пелагея Черноглаз».

Обращение Б.С. Неволова к писательству явилось для него трудным делом. Причин было несколько. Во-первых, это инерция очерковой работы, во-вторых, особенности его биографии и невозможность писать о том, о чем бы он хотел. Здесь хранятся истоки его писательской и личной трагедии.

Работа в газете причащает к дисциплине ума, к четкости позиции и экономии слова. Но она же вырабатывает привычку к шаблону, клише. В эпоху всеобщей политизации и тотального режима печать ориентировала не на поиск самостоятельной истины, а на использование готовых лозунгов и указаний, спущенных сверху. Сложившемуся в этих условиях сознанию невероятно трудно было преодолеть барьер, отделявший догму от своего собственного видения мира. Б.С. Неволоду это удавалось редко. И успех ему сопутствовал лишь в романе о «бриллиантовом князе» и отчасти в «Пелагее Черноглаз». Только погружаясь в историю, где законы и запреты официальной идеологии действовали не столь прямолинейно, или вторгаясь в быт, не поддающийся однозначному истолкованию, Б.С. Неволов как художник обретал самого себя. Впрочем, и в этом случае не всегда.

И второе. Его, уральца по отцу и дедам, властно притягивала судьба уральского казачества в далеком и близком прошлом. Но он лишен был возможности использовать этот материал. И потому, что уральское казачество в основной своей массе приняло участие в гражданской войне на стороне контрреволюции, и потому, что у писателя не было смелости и дара, равного таланту и смелости М.А. Шолохова. Главное же заключалось в том, что биография Б.С. Неволова оказалась иной, чем у автора «Тихого Дона». В пору гражданской войны, развернувшейся в Уральске и приуральских степях, он в силу роковых обстоятельств оказался не в Красной армии, а в войсках белоказачьего генерала Толстова¹. И хотя позднее отец искупил свою вину участием в походе против Врангеля, этот эпизод имел для него тяжелые последствия. Став уже журналистом и писателем, он попал в число париев, людей второго сорта, отставленных от литературного труда. Правда, преследования, которым он подвергался в 1930-е годы, не идут ни в какое сравнение с судьбой тех, кто прошел тюрьмы, ссылки и лагеря, но «все же, все же, все же».

¹ Толстов Владимир Сергеевич (1884–1956) – генерал-лейтенант, последний атаман Уральского казачьего войска, участник гражданской войны на стороне Белого движения, эмигрант.

В течение продолжительного времени Б.С. Неводов не мог писать и печататься. Пришедший в литературу по призванию, он был отрешен от нее и вынужден был, чтобы спасти себя и свою семью от голодной смерти (опасность весьма реальная в первой половине 1930-х годов¹), работать то в качестве бухгалтеря, то чернорабочего, то сотрудника районных газет, где, к счастью, не интересовались его биографией. Бились в поисках выхода мама и бабушка, мать Б.С. Неводова. Помогали добрые люди.

Необходимость подчиняться закону политизации была бичом не для одного лишь Б.С. Неводова-писателя. Вот что записывает М.М. Пришвин в своем дневнике за 1930 год: «Становится ясным невозможность дальше писать о своем: только производственный очерк, только наблюдение, а мне все это надоело. И еще не хватает сил, чтобы перестроиться на писание не печатаемого в настоящем».

«Производственный очерк» и «невозможность писать о своем» – так по-пришвински можно было бы определить состояние Б.С. Неводова. Попытки же «перестроиться на писание не печатаемого в настоящем» носили у писателя эпизодический характер, как правило, ограничиваясь черновыми набросками.

Настоящая книга – не монография и не критико-биографический очерк, но и не мемуары в их чистом виде. Работая над ней, я стремился совместить рассказ о формировании писателя с воспоминаниями о своем отце. В отдельных случаях я обращался к материалам автобиографии отца, к его рукописям, к его официальной переписке. Черпая материал из запасников своей памяти, я стремился нарисовать портрет своего родителя – писателя и человека. Я не могу отделить одно от другого, как не могу отделить себя от своего отца. И поэтому говорю немало и о себе, и о судьбе родного мне человека, ставшего жертвой своей эпохи.

Глава 1. Писатель

Размышляя о судьбе отца, я все чаще задаюсь вопросом о том, что определило выбор им своего жизненного поприща и как и когда он начал формироваться как писатель.

Насколько мне известно, в нашем роду не было профессиональных литераторов. О моем прадеде Б.С. Неводов писал:

«Дед, малограмотный казак, после сильного пожара совершенно разорившись, переехал из поселка Атаманского², ныне Советского, в Уральск³ и занялся бахчеводством. Сына же, моего отца, отдал учиться, и благодаря случаю отец стал офицером».

Этот случай – участие в Русско-японской войне. Отвоевав и оказавшись в Царстве Польском, мой дед поступил на службу и стал железнодорожником на одной из станций севернее Варшавы. Здесь женился на польке, происходившей из мелких почтовых служащих. Их единственным сыном и был мой отец. Б.С. Неводов очень скупо рассказывал о своих родителях. В одной из своих автобиографий он цитирует письмо моего деда с фронта, и, судя по этому письму, дед не был лишен литературного дара, хотя никакого отношения к литературе не имел. Бабушка же, мать отца, была, видимо, достаточно образованной и начитанной женщиной. В детстве я жадно слушал ее рассказы о принцах и принцессах, заколдованных замках, о нравах и обычаях Древнего Рима и мучениях ранних христиан. Позднее я понял, что источником ее рассказов были европейские ли-

¹ Вероятно, Ю.Б. намекает на голодные годы в СССР в начале 1930-х. Тогда массовый голод охватил ряд регионов СССР, в том числе Украину, Поволжье, Северный Кавказ и Казахстан. Он связан с насильственной коллективизацией, изъятием зерна на продажу за границу, индустриализацией.

² Советский – поселок в Первомайском районе Оренбургской области; до 1921 года – Атаманский, ранее – Гниловский (Гнилой умет), станция Соболевская.

³ Уральск – город в Западно-Казахстанской области Казахстана, административный центр области. Основан в 1613 году как укрепление Яицкого казачьего войска (позднее – Уральского). Важный торговый, культурный и административный центр региона. Расположен на реке Урал, вблизи границы с Россией.

тературные сказки и роман Г. Сенкевича «Камо грядеши». Очевидно, она сумела внушить своему сыну, будущему моему отцу, любовь к образному слову.

Знакомство с архивом и литературным наследием отца убеждает в том, что, отдавая дань современной тематике, Б.С. Неводов с самых первых своих творческих шагов тянулся к уральскому казачьему материалу. Его первый рассказ «Кусочек жизни», опубликованный в 1925 году еще в Уральске, был основан на биографии моего деда, впрочем, сильно измененной. В раннем рассказе «Кубатка молока», написанном в том же 1925 году, отец явно использовал свой собственный опыт службы в Уральске. И в 1930-е годы, уже живя в Саратове и создавая повесть «Пелагея Черноглаз» (1934), обращенную к современности, и злободневные очерки, составившие книгу «Человек, земля и завод» (1932), он продолжал разрабатывать свою уральскую автобиографическую тему. Итогами этой работы явились рассказ «Могила отца» (1934) и повесть «Где мой сын?» (1936), которые восходят к упоминаемому выше рассказу «Кусочек жизни».

Но уральский казачий материал как неактуальный «не шел», оставаясь в рукописи, а первый рассказ как исключение лишь подчеркивал правило. Но не найдя выхода в печать, «Могила отца» и «Где мой сын?» могли послужить той творческой лабораторией, в которой формировался автор будущего романа «Бриллиантовый князь». Иной случай представляет собой судьба незаконченного романа «Дорога на Восток», посвященного строительству железной дороги Уральск – Илецк¹, куда отец как журналист выезжал в составе выездной редакции². Наброски романа так и остались в черновиках.

Неудача, постигшая автора в этом случае, – поучительный пример творческого «пробуксовывания», когда социальный заказ, диктуемый официальной идеологией, приходит в неприимимое противоречие со своим внутренним, выношенным и любимым. По тем же причинам «несмыкания» внешнего и внутреннего не состоялся замысел и другого, более позднего романа «В степи широкой», относящегося ко второй половине 50-х годов. Тогда уже стало ясно, что на пути художественного освоения современного производственного материала автора ждут провалы или сомнительные удачи. Именно так произошло с повестями «Подвиг» (1947) и «Недра» (1950). И не эта ли неудача «Дороги на Восток» побудила писателя обратиться к историческому роману «Бриллиантовый князь», в границах которого писатель мог обрести относительную художественную свободу и самостоятельность?

Рассказ «Могила отца» и повесть «Где мой сын?», а равно рассказы «Кубатка молока» и «Моя жизнь (Автобиография)» представляют собой разные пути воплощения своей внутренней темы. «Кубатка молока» – единственный случай, когда писатель попробовал себя в жанре «сказа», распространенного в прозе 1920-х годов. История о том, как двое людей из-за излишнего служебного рвения начальника милиции были арестованы по ложному обвинению в убийстве, а затем отпущены, рассказана малограмотным человеком. Корявая речь, как бы выхваченная из гущи жизни низов, разумеется, ничего общего не имеет с речью самого автора. Но малограмотные обороты хорошо передают и испуг невинного человека, и его надежды, и нелепость ситуации. А в поступке самодура-начальника угадывается частный случай складывающейся командно-бюрократической системы. Почему писатель не пошел по этому пути сказа? Или почувствовал, что это не его стезя? Или уже знаком был с опытами в области сказа в творчестве М. Зощенко? Для меня этот вопрос остается открытым.

«Моя жизнь», задуманная как автобиография, по сути представляет собой рассказ, более живой и интересный, чем «Кусочек жизни». Переживания мальчика, попавшего на операционный стол и медленно выздоравливающего, эпизод революции в Петрограде, увиденный каким-то «сторонним» взглядом юноши, пока еще живущего своей отдельной жизнью, растерянность и

¹ Железная дорога Уральск – Илецк – линия длиной 263 км, соединяющая Уральск (Казахстан) с Илецком (Оренбургская область), введена в эксплуатацию 1 декабря 1936 года.

² Выездная редакция – форма организации работы редакционных коллективов в СССР, при которой сотрудники временно размещались на предприятиях, стройках или в колхозах для подготовки материалов на месте.

страх при боевом крещении в виде собственной крови, полубред и полуявь, когда его, больного и раненого, по тряской дороге отправляют в тыл, – всё это обнаруживает дар незаурядного рассказчика. Но если в «Кубатке молака» автор перевоплощается в другого, что свидетельствует о важном качестве художнического мышления, то в «Моей жизни» писатель говорит пока «от себя».

Набрасывая рассказ «Могила отца» и повесть «Где мой сын?», Б.С. Неводов использовал биографию моего деда¹, призванного в русскую армию и погибшего в боях с австрийцами летом 1915 года. Но в повести его история сильно изменена и романизирована: волей авторского воображения дед превращен в армейского офицера, оппозиционно настроенного по отношению к самодержавному режиму и быстро перешедшего на сторону большевиков. От подлинной биографии деда оставлено только одно: любовь к польской пани и женитьба. Зато их семейные отношения предстают совершенно по-иному, чем в реальной действительности. Сюжет строится в соответствии с расхожими в ту пору, да и позднее, представлениями о роковой неизбежности столкновения между людьми разных сословий. Правда, семейную трагедию писатель попытался раскрыть психологически, дав не одну, а две правды, что уже было известным творческим завоеванием. Но налет непредвзятости во многом испортил эту вещь. В отличие же от повести рассказ, рисуя эпизод из биографии деда, не привносил в нее семейного конфликта. В фокусе рассказа оказались картина прощания деда-офицера и его сына и письмо деда о чудовищных последствиях братоубийственной бойни на одном из участков фронта. Трудно судить о том, насколько диалог отца и сына в рассказе соответствует сцене их расставания в действительности. Возможно, автор, вспоминая из другого времени диалог со своим отцом, что-то изменил в нем. В рассказчике совмещаются мальчишка-полурбенок, не понимавший, почему родной человек против своей воли должен отправляться на ненужную ему войну, и взрослый человек, корректировавший свои тогдашние впечатления. В повести «Где мой сын?» семейная трагедия как бы сконструирована в соответствии с социальным заказом, в рассказе она пережита изнутри – и дважды: в сознании сначала ребенка, позднее – взрослого. Во втором случае глубокая тоска человека, постигшего бессмысленность войны, смыкается с тоской его сына, потерявшего самого близкого человека и лишенного возможности разыскать его могилу. Рассказ о своем отце автор заканчивает на высокой ноте:

«...Он умер на следующее утро и был похоронен в городке Ново-Място, маленьком полупольском, полувейском захолустье. Он умер, защищая этот никому не известный городок, не обозначенный даже на карте. Вечером того же дня тяжелая германская артиллерия сравняла с землей и городок, и выросшее за время войны большое кладбище. Ночью городок сдали, и с тех пор он ушел навсегда от России. Смерть отца стала бессмысленной и никому не нужной...

Я не знаю могилы отца. Я не знаю, где лежит его труп. Не знаю, куда можно было прийти и произнести, как древнюю, языческую клятву на могильных курганах...»

Замыкают рассказ несколько оптимистических фраз, которые, очевидно, должны были продемонстрировать веру автора в будущее. Но эти фразы нарушают тон повествования и воспринимаются как необязательный привесок.

Ко времени работы над «Пелагеей Черноглаз» и романом «Бриллиантовый князь» писатель обнаружил дар рассказчика и умение всматриваться и вслушиваться в жизнь. И самое главное, что, собственно, и формирует художника слова, – способность перевоплощаться в другого и говорить его языком.

В повести «Пелагея Черноглаз», построенной преимущественно на бытовом материале дей-

¹ Семен Парамонович Неводов (1872–1915) – есаул 3-го Уральского казачьего полка, погиб в годы Первой мировой войны.

ствительности 1930-х годов, жизнь заговорила множеством голосов: колючей, ершистой Пелагеи, умеющей постоять за себя, рабочего партийца Ляпина, суховатого функционера, требующего ото всех «настоящей установки», вчерашнего мужика Ивана Баннова, скрывающего за елейностью и тихостью взрывной и опасный характер, нервного, быстро теряющегося в сложной обстановке интеллигента Григория Черноглаз, трусоватого Оси.

«Пелагея Черноглаз» – важное творческое завоевание автора, мера его сильных и слабых сторон. Противоречия повести – противоречия между социальным заданием (так надо!) и придавленной правдой, способной, однако, неожиданно заявить о себе. И тогда акценты, расставленные в повести, смещались, и читатель (особенно с течением времени) мог вычитать свое, противоречащее художническому замыслу автора.

Художественное произведение – это вторая действительность, живущая по своим внутренним законам. Она сопротивляется произволу и насилию извне. И если писатель хочет, чтобы ему и его героям поверили, он обязан в какой-то степени полюбить их всех и вжиться в них. По замыслу отца, трагедия его главной героини Пелагеи должна вызвать боль и сожаление. Безвременная гибель молодой женщины, действительно, порождает сопереживание. Но и поступок ее убийцы Ивана Баннова наводит на размышления, не сводящиеся лишь к суду над героем. Свое право на сочувствие и у Григория Черноглаз, из-за своей доверчивости ставшего жертвой административной расправы.

У каждого персонажа – своя правда. По-своему права Пелагея, возмущенная материальным неравенством и жаждущая более обеспеченной жизни: «Что мне твоя пятилетка! Я сейчас хочу...». Но свои резоны и у ее врага Баннова: «Может, она права, но только и я хочу жить и есть», – пишет он в своем заявлении после ареста.

Сначала Пелагея, живущая лишь сплетнями и интересами желудка, завидует оборотистому Баннову. Но превратившись под влиянием Ляпина в активистку, она уже ради идеи начинает преследовать и травить своего соседа. И последний, обнищавший и загнанный в угол, мстит за свою «поруганную» жизнь.

В повести открывается лишь часть правды о Баннове и его столкновении с властью. Не исключено, что этот персонаж был одним из тех хозяев, которых разорили и выжили из деревни.

Пелагея видит в Иване только врага: «Смотрите, – кричит она в карточном бюро, – это <...> настоящий кулак, летучий вредитель. С братом Павлом колхоз разорили, по ветру пустили!..» А вот слово самого Ивана. «А насчет хлеба скажу тебе, – говорит он Осе, – имею полное право на него. Мой же брат Павел сеял, и я без хлеба должен остаться?» – «Его посадили?» – спрашивает Ося. «Упрятали. Кулак, говорят, вредил. Это мужик-то вредил!.. Кому вредил, скажи. Мне, тебе?»

За этим противостоянием – объективная картина коллективизации, какой она представляла в прошлом. Честность писателя, близко соприкасавшегося с этой кампанией, побудила его ввести в повесть эпизод: письмо Григория Черноглаз своей жене с хлебозаготовок, в котором он сравнивал коллективизирующуюся деревню с потемкинской. И хотя крамольный для того времени текст вложен в уста врага, некоего аспиранта, повесть немедленно была изъята и более никогда не переиздавалась. Настолько опасным показался тогдашним идеологам этот фрагмент.

Поступки героини, заложившей и мужа, и соседа на страницах повести и за ее пределами, в самой реальной действительности, представляли как подвиг. Однако эффектная оценка коллективизации взрывала изнутри официально-казенную риторику и во многом сводила на нет тот социальный заказ, который пытался выполнить автор. Противился этому заказу и лирический герой повести, лишь отчасти связанный с образом Пелагеи.

«Под окном цвела яблоня, – так начинается повесть. – Вся в белом, как девушка, собравшаяся на свидание, прихорашивалась, засматривалась на весеннее солнце; нежилась утренними зорями, и тогда ветви покрывались тяжелым серебром росы...» Образ яблони – увертюра повести и символ вечности, вбирающей в себя земные проходящие трагедии и социальные распри.

Пока повесть еще не была запрещена, поэт Виталий Волков¹, позднее репрессированный, успел надписать на авторском экземпляре шуточный стихотворный текст:

Юбку новую порвали
И подбили правый глаз...
Все за то, что покупали
«Пелагею Черноглаз».

В повести узнается наш Саратов, узнаются его история и довоенная современность, атмосфера общественной жизни тех лет, город писательского созревания отца, принесший ему столько горя и радости и потому, наверное, так любимый им.

Есть несколько конкретных примет времени и места, которые прямо указывают на то, что действующие повести происходят именно в нашем городе.

«Город лежал внизу, – писал Б.С. Невонов. – Он давно уже сполз с горы в равнину, улегся вдоль древней реки, вытянув далеко по берегу свое огромное каменное тело. Город образовался в дни татарского владычества <...> видел струги Степана Разина <...> пережил безнадежное уныние и тупость глухой российской провинции <...> Обзавелся университетом, десятками институтов, клиниками, железной дорогой, пароходами, несколькими заводами и фабриками. Одежда, как щеголь, в асфальт, вскинул электрические фонари и к революции подоспел чистым, нарядным, университетским волжским городом...»

Узнаются и некоторые бытовые и иные реалии, которые отец мог использовать в своей повести. Трагические события происходят в «Пелагее Черноглаз» в «доме с мезонином». Припоминаю, что напротив дома, в котором наша семья прожила много лет, располагался небольшой двухэтажный дом. Во дворе его имелась лестница, соединявшая первый и второй этажи и завершавшаяся небольшим куполом, напоминавшим мезонин. Однажды, где-то в начале 1930-х годов, наша улица и прилегавший к ней район были взбудоражены трагедией, разыгравшейся в этом доме: муж зарезал свою жену. У двора и дома долго толпился взволнованный народ, старавшийся проникнуть внутрь и увидеть вынесенный во двор матрас, на котором, как говорили, было много пятен крови. Не этот ли эпизод послужил толчком к работе творческого воображения писателя?

Узнаваемы, по крайней мере для меня, и некоторые особенности нашего уличного и дворового быта. За Иваном Банновым стоит вполне реальный прототип, хотя и сильно трансформированный. Это один из наших соседей, человек крайне ограниченный, но необычайно самодовольный, которого отец метко окрестил Иваном Блаженным (кличка Ивана Баннова в повести – тоже «Иван Блаженный»).

Помню, что наш сосед любил эпатировать людей, прежде всего молодых. Встретив кого-либо во дворе, он затевал совершенно нелепый разговор. «Ну как?» – обычно спрашивал он. Тот, к кому он обращался, недоуменно пожимал плечами или отделялся невразумительной фразой. «Ну и что?» – продолжал Блаженный. Снова – неопределенный ответ. «Ну и как учеба?» – не унимался Иван. Блаженный, видно, и не ожидал какого-либо определенного ответа, ибо интересовался он только одним – самим собой. С этой фигурой, врезавшейся мне в память, связан один

¹ См.: Голицын А. Поэт Волков и политические анекдоты. Волга. 2021. № 7–8 (<https://volga-magazine.ru/7-8-2021-desc/> и <https://magazines.gorky.media/volga/2021/7/poet-volkov-i-politicheskie-anekdoty.html>).

О Вадиме Земном и других саратовских персонажах см. публикации Алексея Голицына: Земной и Мухина. О быте и нравах саратовских писателей времен Большого террора. Волга. 2017. № 1–2 (<https://volga-magazine.ru/1-2-2017/> и <https://magazines.gorky.media/volga/2017/1/zemnoj-i-muhina.html>) ; «Оздоровить здоровой кровью». Последствия одной жалобы в Союз писателей СССР. Волга. 2017. № 3–4 (<https://volga-magazine.ru/3-4-2017/> и <https://magazines.gorky.media/volga/2017/3/ozdorovit-zdorovoj-krovju.html>). Кто убил Кассиля? Дело антисоветской группы саратовских писателей. Знамя. 2017. № 6 (<https://magazines.gorky.media/znania/2017/6/kto-ubil-kassilya.html>) и др. – *Прим. ред.*

забавный случай. Как-то однажды, когда было особенно жаркое и душное лето, я в ту пору еще мальчишка-подросток, решил переночевать во дворе. Дело было до войны, и тогда такая ночевка не представляла опасности. Улегся, уснул, но среди ночи был пробужден каким-то шумом. Приподнявшись, я увидел, как по двору мечется кто-то в белом. Спросонья я подумал, что это оборотень, рассказов о которых у нас во дворе было немало. Никогда не имея дела с нечистой силой, я сильно перепугался. А человек, как оказалось, в одном нижнем белье, продолжал нарезать круги по двору. Постепенно освоившись с темнотой, я узнал в странной фигуре Ивана Блаженного. За чем он ночью в negligje выскочил во двор, я так и не узнал.

И еще один момент, казалось бы, совершенно случайный в повести. Это упоминание Ляпина о своем сыне. «Люблю завод, то есть так, сказать не могу, – рассказывает он Пелагее. – Как своего сына Леньку. Нервов, труда тут нашего – уйма. Когда Ленька заболел дифтеритом, три ночи провел в больнице у его кровати. Сижу, думаю: какого большого вырастил, а он вдрут умрет...»

Под Ленькой имелся в виду, видимо, я, переболевший в детстве тяжелой формой дифтерита и одно время находившийся между жизнью и смертью.

«Пелагея Черноглаз» – рубеж в творчестве писателя. С одной стороны, Б.С. Неводов продолжал разрабатывать современную социально-производственную тему, что нашло претворение в повести «Дерзание», в романах «Дорога на Восток» и «В грозу», а также в позднейших его произведениях, с другой – ушел в исторический материал, создав роман «Бриллиантовый князь». «Производственный очерк» все более давал сбои, краски вымысла тускнели, что уже давало о себе знать в повести «Дерзание» и романе «В грозу», не говоря уже о незавершенной им вещи – «Дороге на Восток».

В «Пелагее Черноглаз» и «Дерзании» слабость производственного материала компенсировалась в первом случае сочным изображением быта и некоторых типов, а также острой, почти детективной интригой, а во втором – свежестью зарисовок детства героя и динамичностью повествования. В дальнейшем, если не считать романа «В грозу», явившегося полуудачей писателя, утрачивалось и это.

Работая над романом «Бриллиантовый князь», отец погружался в историю России XVIII столетия. Он изучил множество исторических документов, в том числе и таких интересных, как книга И. Долгорукого «Капище моего сердца» или воспоминания Ф. Вигеля. В известной мере освободившись от жестких и нормативных требований официальной современности, автор, вероятно, почувствовал ту творческую свободу, без которой немыслима никакая настоящая работа художника слова. Именно эта свобода и обеспечила творческий успех. Очень характерно, что к созданию романа (первоначальное его название «Куракинская старина») отец приступил в 1937 незабываемом году. Живые зарисовки крестьянского быта, нехитрых народных праздников: свадьбы и посиделок, точно схваченные типы, будь то веселый и смелый Парамон, его степенный брат музыкант Панфил или юный Филька, пригожая и своенравная Настенька или философски равнодушный к миру кабацкий сиделец Сысой, внешне благопристойный князь Куракин – во всем этом отец находил и утверждал себя как художник исторической темы. И снова, как в «Пелагее Черноглаз», перед нами не одна, а две правды. Своя правда у замордованных мужиков и у скучающего в пензенской глуши князя. Мы понимаем каждого и сопереживаем и драме семьи Грошевых, разбросанной волей князя по белому свету, и трагедии Фильки и Настеньки, и хандре Куракина, оторванного от своего друга цесаревича Павла, от Петербурга и от предающегося флирту и светским развлечениям королевского Версаля. Вживаясь в своих героев, писатель обнаруживает качества сердцеведа, умеющего заразить читателя определенным настроением. Переживания лакея Базиля, вынужденного отдать свою дочь князю для его ночных утех, смерть деда Савелия после экзекуции, дерзкий бунт Парамона, повторенный затем его сыном Филькой, игра музыканта в заплеванном кабаке, первый танец Настеньки на княжеском балу, ее самоубийство и горе Фильки

– все это следует отнести к лучшим страницам романа. В лихой пляске Парамона я узнаю самого автора – отца, танцора, бравшего некогда призы в дореволюционном Уральске. Именно здесь, на одном из гимназических вечеров мой юный отец встретился с юной Катей, моей будущей мамой, и их танец был признан лучшим.

Вспоминается село Куракино 1937 года, где одно лето жила наша семья, а отец работал над страницами «Бриллиантового князя». Тогдашнее Куракино¹ мало походило на нынешнее. Еще не были загажены остатки княжеского дворца, сожженного взбунтовавшимися мужиками в 1905 году. Рядом с развалинами дворца был еще лес. Сохранилась в ту пору высокая крутая лестница, соединявшая дворец с рекой Сердобой. И сама река была в то время совершенно чистой. Да и пили в старом Куракине значительно меньше, чем ныне. Куракино, насколько я его помню по 37-му году, жило бедно, запомнились бледные лица детей и женщин. В бывших княжеских службах располагалась партийная школа. И курсанты яростно сражались на волейбольной площадке. Я хорошо помню особенно ловкого спортсмена Андрея Ивановича Андреева, любимца собравшейся публики.

Помнится зал в одном из помещений партийной школы. Масса народа и много местных сельчан. Президиум. За столом вместе с руководством – отец. Он нервничает и, как всегда в минуты волнения, протирает платком свои очки. Он читает фрагменты своего романа «Бриллиантовый князь». Чувствовалось, что слушателям интересно: ведь действие романа происходит как раз в этих пензенских местах. Потом начинается обсуждение. Не помню подробностей, но в памяти сохранилась общая атмосфера праздничности. Кто-то хвалит, кто-то критикует. Запомнилось выступление одного крестьянина, который, в частности, заметил: «Вот Панфил рассказывает о Пугачеве и пугачевщине. Вот это хорошо. Но хотелось бы, чтобы товарищ писатель вставил слово одного из мужиков: “Был, мол, Пугачев, но только попугал бар, а вот придет Метелкин, уж он всех бар-помещиков выметет”». Отец внимательно слушал всех, благодарил, обещал что-то учесть в своей дальнейшей работе. Но вот совет относительно Пугачева и Метелкина не принял. Может быть, в этом предложении уже слишком выпирал социальный заказ? Не знаю, у меня никогда с отцом об этом разговора не было. Теперь сожалею о том, что не спросил его.

Я знаю, что «Бриллиантовый князь» раскупался, читался, обсуждался, хотя некоторые читатели путали роман отца по созвучию с «Князем серебряным» А.К. Толстого. Впрочем, такой параллелью отец, наверное, мог бы гордиться.

Я был свидетелем того, с каким живейшим интересом отец читал выходявший отдельными частями роман «Тихий Дон». Это была, как я теперь понимаю, хорошая творческая зависть. Но к этой зависти, должно быть, примешивалось мучительное чувство: писатель страдал от осознания невозможности обратиться к разработке своей любимой уральской казачьей темы. Я знаю, что в его замыслах была повесть о жизни уральской казачьей станицы периода коллективизации. Но он был вынужден отказаться от этого замысла как слишком рискованного и практически невозможного для него. Да и урок, связанный с запрещением повести «Пелагея Черноглаз», не прошел для писателя даром.

И все же казачья тема упорно жила в его творческом воображении, давая выход то в некоторых произведениях («Кусочек жизни», «Где мой сын?», «Могила отца», «Казак Вяхирев»), то в отдельных фрагментах его романов «Бриллиантовый князь» и «Дорога на Восток».

¹ Куракино – село в Сердобском районе Пензенской области, административный центр Куракинского сельсовета. Основано до 1710 года на землях князя Бориса Ивановича Куракина. В 1790-х здесь была построена усадьба с парком, спроектированная Джакомо Кваренги. После революции усадьба пришла в упадок, сейчас ведется ее реставрация.

В повесть «Где мой сын?» включена старая казачья песня, которую поют, отправляясь на империалистическую войну, уральцы. Эта песня дана в восприятии героя-повествователя, армейского офицера:

«Запевала медленно, растягивая слова, выводил немного грустную, тягучую и величавую мелодию:

– На-а кра-ю-ю-ю... Руси обши-и-рной
Вдо-оль Ура-а-ала берего-ов...

Он тянул последний слог долго, то повышая, то понижая голос. Хор дружно и разноголосно подхватил. Выделялся подголосок, он метался над всеми голосами, покрывал их, пронзительный, сильный и тоненький. Делалось страшно за певца, не верилось, что так по-детски высоко может петь мужчина.

– Прожива-а-ает ти-ихо, ми-ирно
Войско кро-овных казако-о-ов.
<...>

Запевала выводил следующий куплет:

– Знают все икру Урала
И уральских осетров...

Хор подхватывал и снова тоненько-тоненько звенел подголосок:

– Только знают очень мало
Про уральских казаков.

И долго я еще слышал в вечерней тишине эту песню, ее медленный, слегка грустный напев, широкий и плавный, как степь».

Кстати, именно эту песню мне пела старая казачка, с которой меня свели в Уральске, когда я разыскивал истоки песенного фольклора в творчестве своего отца.

В повести «Где мой сын?» есть еще один эпизод, в котором фигурируют казаки-уральцы и воспроизводится их колоритная речь. Она была известна автору, надо думать, не понаслышке. Отец мог знать о нравах и быте уральского казачества отчасти по собственным впечатлениям, но главным образом из рассказов своего отца и своего дяди¹, а также из сочинений историка Урала И. Железнова, автора книги «Уральцы»², которая у нас дома была своего рода священной реликвией.

В романе «Дорога на Восток» введен пейзаж Уральска 1930-х годов, данный через восприятие молодого рабочего, случайно оказавшегося в городе. И тут же излагается история этого города. Этот очерк слабо связан с основными событиями романа. Но чрезвычайно характерно, что автор не прошел мимо возможности еще раз войти в этот мир, столь близкий ему по впечатлениям юности и молодости. Кстати, в Уральске на улице Орджоникидзе, бывшей площади Железнова, до последнего времени стоял маленький одноэтажный дом, принадлежавший некогда моему деду и его сестре. Там после эвакуации из Варшавы жили мой отец и его мать. Там родился я. Ныне этого дома уже нет.

¹ Скорее всего, речь идет об Аммосе Парамоновиче Неводове (1887(9)–1932), брате Семена Парамоновича Неводова, ветеринарном враче.

² Иоасаф Игнатьевич Железнов (1824–1863), казачий писатель, этнограф и исследователь быта уральских казаков. Его наиболее известная работа – «Уральцы. Очерки быта уральских казаков» (первое издание – 1858, переиздавалась в 1888 и 1910 годах).

В «Бриллиантовом князе» беглый Парамон, пойманный людьми князя и силой возвращенный в Куракино, рассказывает Филъке о своей встрече с яицкими (уральскими) казаками. Он намекает сыну на то, что в случае его (Фильки) побега он сможет осесть на яицких (уральских) землях, ибо там «беглых привлекают».

Особенности биографии отца помешали ему обратиться к фундаментальной разработке любимой его темы. Это была трагедия писателя и человека. Кто знает, сложись его судьба по-иному, не обогатилась бы наша литература хорошим романом о «Яике-Горыныче»¹ и воинственном казачьем племени, внесшем заметный вклад в историю нашего Отечества.

И как порадовался бы ныне отец, узнав о восстановлении казачьего круга на Урале, на Дону и Забайкалье! С каким бы наслаждением слушал свои любимые песни в исполнении хора уральской станции Круглоозерной при участии представителей донского казачества и артистов Саратовской государственной филармонии!

Глава 2. Обвинения и защита

Мне уже пришлось говорить об одном периоде в жизни Бориса Семеновича, сыгравшем едва ли не роковую роль в его дальнейшей судьбе. Через двадцать лет после окончания гражданской войны, уже являясь известным журналистом, сотрудником партийной печати и автором нескольких книг и сборников, он был привлечен к уголовной ответственности и провел несколько месяцев в следственном изоляторе. Изолятор находился в подвальном помещении известного здания горсовета², и я, тогда еще мальчишка, хорошо помню, как мама носила туда отцу передачи, помню также и то, как отец вернулся домой. Он похудел, почернел, оброс и стал неожиданно похож на Чернышевского. Это сходство бросилось мне в глаза через много лет, когда, перебирая семейный архив, я среди прочих снимков нашел и эту фотографию, сделанную сразу же после освобождения Бориса Семеновича. Отец рассказывал о том, что в пору его преследований некоторые знакомые и бывшие сослуживцы, встречая его на улице, перебежали на другую сторону. Среди них был и довольно известный литератор, который в тяжелый период жизни отца сторонился его, обнаружив заячью трусость, а после смерти его упрекал мою маму, что мы плохо ухаживаем за его могилой...

Мне хочется предоставить слово документам, сохранившимся в отцовских бумагах. Это живые свидетельства, характеризующие не только самого отца, но и его время, крик души, наивная, но честная попытка реабилитировать себя.

В заявлениях, адресованных прокурору республики, прокурору Саратовского края, в Западно-Казахстанское Управление НКВД и депутату Верховного Совета СССР от Саратовского края, а равно в автобиографии подробно излагаются и объясняются факты жизни, учебы и службы отца в канун революции и в пору гражданской войны. Я привожу эти официальные письма-заявления вперемежку с купюрами, так как они, во-первых, довольно обширны и заняли бы слишком много места, а во-вторых, порой повторяют друг друга.

«С весны этого года (очевидно, 1938 года. – Ю.Н.), – писал отец в Управление НКВД Казахстана, – в Саратове (в крайком партии, в союзе писателей, редакции краевой газеты) распространилось мнение, что я бывший офицер и принимал активное участие в гражданской войне...»

«В дополнение к тому, что я писал прокурору республики, – обращался отец уже к прокурору Саратовского края, – считаю необходимым добавить следующее: после окончания кадетского кор-

¹ «Яик-Горыныч» – это народное, ласковое и одновременно уважительное прозвище, которым уральские (яицкие) казаки называли свою главную реку – Яик (ныне Урал).

² Скорее всего, имеется в виду здание в Саратове на ул. Первомайской, 78, где сейчас располагается администрация города.

пуса в 1917 году корпусное начальство, помимо моего желания, действительно намеревалось сделать меня офицером и направило в военное Николаевское кавалерийское училище в Петрограде...

В Петроград я прибыл 5 октября по старому стилю 1917 года. После Октябрьского переворота (в нем училище никакого участия не принимало), когда училища декретом правительства были расформированы, я снова вернулся в Уральск, пробив в Петрограде всего лишь три недели».

«По происхождению я уральский казак, – писал отец третьему корреспонденту, депутату Верховного Совета СССР. – Мой отец – сверхсрочник, на японской войне получил офицерский чин, после войны вышел в запас, служил в Польше на железной дороге <...> в 1914 году уехал на войну, а в апреле 1915 года умер от раны, полученной в бою с австрийцами. Я как сын офицера был определен в кадетский корпус... И вот то, что я стал сыном офицера и учился в кадетском корпусе, и составило мое первое “преступление”. Весной 1917 года мы с матерью, – продолжал Борис Семенович, – переехали из Москвы на родину отца, в Уральск, где я поступил на работу в кооперативную контору “Единение”. В ней проработал до начала 1919 года, когда по мобилизации моего года рождения (родился в 1900 году) был призван в казачью белую армию. В белой армии находился в обозе 4-го конного полка рядовым 3 месяца, в 36-м конном полку тоже рядовым, около 4-х месяцев, и в корпусном интендантстве писарем 3 месяца, а всего около 10 месяцев. И вот за эти-то 10 месяцев мне приходится расплачиваться сейчас через 20 лет. Это – второе мое “преступление”. И третье. В 1932 году, во время моего отсутствия (я был командирован в деревню на хлебозаготовки), мою квартиру проездом через Саратов посетил зять моей жены, бывший белый офицер. Впоследствии выяснилось, что он находился в концлагере и бежал оттуда. И когда я вернулся из командировки, меня задержали органы ГПУ, обвиняя в пособничестве белому офицеру. Недоразумение вскоре выяснилось, меня освободили, я продолжал работать в советской печати. Но на репутацию уже легла тень (“сидел”), и когда людям это понадобилось, они приставили к первым двум и это мое третье “преступление”...»

Далее отец касается все той же версии о том, что он якобы был белым офицером.

«Эти слухи были настолько упорны, что весьма серьезно отразились на моей судьбе. Так, например, в 1934 году редактор областной газеты Казымов без всякого объяснения причин предложил мне уйти с работы. И только год спустя в частной беседе заявил, что считает меня белым офицером. Я вынужден был обратиться в прокуратуру РСФСР, поехал в Уральск, разыскал оставшихся еще в живых участников и свидетелей событий 1917–1919 годов. Я снова восстановил свое алиби; слухи прекратились, но недаром иранская поговорка гласит: “Ложь словно рана, хотя залечивается, а шрам остается”. Шрам остался и очень часто причинял мне боль.

Разобравшись в моих “преступлениях”, ознакомившись с теми документами, которые я прилагаю к этому письму, сами убедитесь, что “преступления” мои ничтожны по сравнению с мерой наказания и что я в них очень мало виноват. В самом деле. Разве я виноват в том, что стал сыном офицера и кончил кадетский корпус? Что я родился в 1900 году, а не годом-двумя позже, и, живя в Уральске, попал в белую армию? Что зять моей жены, бывший белый офицер, зашел в мою квартиру в мое отсутствие?

Я советский гражданин, – продолжал отец, – вырос, воспитался в советских условиях, проведя две трети сознательной жизни на советской работе, преимущественно в партийной печати. Ведь в момент призыва в белую армию мне было без месяца 19 лет, а сейчас без месяца уже 39 лет. Был в Красной армии. В частях морской экспедиционной дивизии проделал поход против Врангеля. Работал в органах милиции. 15 лет сотрудничал в газетах Казахстана и Саратовской области, являлся собственным корреспондентом московских газет “Правда”, “Труд” и журнала “Прожектор”... в 1930–34 годах в Саратове отдельными изданиями вышло несколько моих книг: “Чапаевский зерносовхоз”, “Пелагея Черноглаз” и другие. В 1934 году был принят в члены Союза советских писателей».

Упомянув о работе над романами «Дорога на Восток» и «Бриллиантовый князь» (первоначально названный «Куракинская старина»), включенными в издательский план 1938 года, отец рассказал о тех мытарствах, которые ему пришлось пережить.

«В 1934 году, как я уже сообщал, меня приняли в Союз советских писателей, а в феврале 1935 года местное правление исключило из Союза “за службу в белой армии” и за то, что я “служил” (!) в кадетском корпусе. Подал апелляцию во Всесоюзное правление союза писателей. Но на мои запросы получал неизменно ответ: “Приемочная комиссия ваше заявление еще не разбирала” (это заявление не разобрано и до сих пор)». Далее следует рассказ о хождении по мукам, смахивающий на дурной анекдот и свидетельствующий о том, как несчастье человека использовалось в беспринципной игре политиканов, карьеристов и перестраховщиков.

«Летом 1936 года (после вмешательства прокурора РСФСР), – писал отец, – по предложению члена местного правления писателя Вадима Земного подал вторичное заявление в местное правление о восстановлении меня. Восстановили... Осталось дело за утверждением в Москве, но тут произошло, на первый взгляд, весьма незначительное обстоятельство, которое, однако, круто изменило ход моей истории. Из-за пустой сплетни у меня произошла размолвка с Вадимом Земным. Последствия этой размолвки не преминули сказаться. Земной начал с того, что водгонку к протоколу о моем восстановлении послал во Всесоюзное правление крохотную бумажонку-пасквиль такого содержания: “До меня дошли сведения, что на Неводова поступил дополнительный материал о его службе у белых. Правда, этот материал требует проверки, но я все-таки снимаю свою подпись с протокола и т.д.” Заявление подписано Земным и его ближайшим сподвижником Степаном Дальним.

Что за материал, куда поступил – неизвестно. Типичный прием “перестраховщиков”. Попробуйте придеритесь! И не правда, и не клевета.

Тем не менее, когда я проездом из Крыма через Москву зашел во Всесоюзное правление справиться о прохождении дела, мне показали этот пасквиль и резонно сказали: раз поступил отвод, мы обязаны временно отложить разбор. И снова вопрос о моем восстановлении был отложен».

Пока отец, получив отпуск, работал в селе Куракино над книгой, усилиями досужих людей ему готовился новый удар. Сам писатель в том же заявлении рассказывает об этом так:

«Из Москвы приехал инструктор Всесоюзного Правления, при его участии было ликвидировано местное правление, а взамен его уполномоченным был избран Вадим Земной. Перед отъездом в Москву инструктор “проинформировался” у Земного, и через неделю в “Литературной газете” появилась обширная статья о делах саратовской организации писателей, и в этой статье снова (в который раз!) припомнилось мне мое пребывание у белых. Есть народная русская пословица: “Не бей каждую собаку только за то, что она собака”. Со мной поступили наперекор этой пословице. Возвратившись из Куракина, я всюду встретил уже иной прием. До отъезда в деревню я работал в редакции областной комсомольской газеты. Вернувшись, пытался восстановить связи с газетой. Попросил дать тему для очерка. Как раз началась кампания выборов в Верховный Совет. Тогдашний секретарь редакции предложил написать очерк... Я охотно взялся и задание выполнил. Плохо ли, хорошо – не знаю, но в редакции приняли. Однако, каково было мое изумление, когда через несколько дней тот же Тимохин вернул мне рукопись <...> заявив, что очерк напечатан не будет.

– Почему? Плохо написан?

– Нет, написан хорошо... Но знаешь ли, после заметки в “Литературной газете”...

Все стало ясно.

Чуть ли не в тот же день я получил приглашение от редакции пионерской газеты на должность литконсультанта. А на следующий день, когда принес первые отрецензированные рукописи, редактор вежливо отказал в работе.

– Обком комсомола возражает против использования вас.

– Почему?

Редактор промолчал. Новый удар.

Вскоре в областном издательстве и.о. директора Лобанов заявил, что местный союз писателей “не рекомендует” издавать мои книги и при мне вычеркнул их из плана, при этом с укором добавил:

– Мы полагаем, что с вами можно работать, а оказывается...

– Но в чем же дело, объясните!

– Ступайте в Союз писателей, там вам все объяснят.

А в Союзе писателей вновь все тот же Вадим Земной. Он перечислил пресловутые три моих “преступления” и на прощанье сказал:

– Заниматься с тобой мы не будем.

Так я был лишен возможности литературным трудом, своими книгами отстоять право на творчество. Так я оказался за бортом литературной жизни. Но это еще не все. Через несколько дней я пытался устроиться на работу в центральную библиотеку, куда, как мне было хорошо известно, требовались библиографы. И тут произошел беспримерный акт издевательства над человеческой личностью. На моем заявлении <...> были наложены две резолюции. Одна “В приказ. Принять на должность библиографа с 27/ХІІ 37 года с месячным испытательным сроком”. Она была наложена 27 декабря в 10 часов утра. А в 4 часа того же 27 декабря эту резолюцию директор библиотеки зачеркнул и написал другую: “Ввиду того, что необходимость в приеме нового библиографа отпала, в просьбе отказать”. Это ли не издевательство! Я понял, что меня кто-то преследует, кто-то мешает мне жить и работать. 30 декабря я обратился с жалобой к районному прокурору, прося защитить мои права как гражданина СССР. Но прокурор вызвал меня для объяснения лишь через 5 месяцев, 7 мая. Я понял из разговора, что ему очень хотелось прекратить это дело, и я доставил ему удовольствие, заявив, что надобность в разборе заявления отпала. Но она не отпала, она не могла отпасть. Я обратился в бюро жалоб Облсисполкома, но завбюро заявил, что писательская организация – дело общественное, добровольное, в компетенцию облсисполкома не входит; что же касается случая с библиотекой, то, конечно, директор библиотеки поступил некрасиво, но он волен нанимать кого хочет. Короче говоря – и здесь отмахнулись.

Дважды в течение 37 года обращался в обком партии. Был принят зав. отделом агитации и пропаганды. Он обещал “разобрать дело”. Но вскоре его сместили, а спустя короткое время были разоблачены и сняты с работы как враги народа почти все партийные руководящие работники области, начиная с первого секретаря обкома партии. В течение 1937–38 годов, Вам, вероятно, это известно, партийное руководство области менялось 5 раз, причем 2 раза во главе этого руководства оказывались враги народа...»

На этом можно было бы поставить точку. Отец был восстановлен в правах. Преследования прекратились. Он был принят на работу, снова смог писать и печататься как член творческого Союза и даже принял участие в работе II Всесоюзного съезда советских писателей (1954). Но это был уже другой человек. Что-то надломилось в нем. Ушли годы, а вместе с ними и здоровье. Угасал огонек, еще горевший в его душе. У него хватило сил, чтобы завершить начатый в свое время роман «Бриллиантовый князь». Но ничего более значительного он уже создать не сумел, тем более что любимая его тема – Урал и казачество – продолжала оставаться под запретом.

На жизненном пути Бориса Семеновича попадались разные фигуры: добродушные, равнодушные или злые, грубовато-прямолинейные, которых он порой мог принимать за врагов, или хитровато-осторожные, весьма умело прикидывавшиеся друзьями. Но об одной фигуре, сыгравшей зловещую роль в его (и не только в его) судьбе, следует сказать особо. Я имею в виду местного околотитературного деятеля Ивана Глухоту, придумавшего себе благозвучный псевдоним Вадима Земного. В переписке отца, которая приведена мною выше, это имя фигурирует в достаточно определенном контексте. В нашей семье об этом человеке было немало разговоров. И, взрослея, я уже начинал постигать, что это за птица.

Судьба столкнула меня с ним в самое неожиданное время и в самом неожиданном месте. Шла Отечественная война. Глубокой осенью 1944 года я вместе со своим артиллерийским полком стоял в обороне в Польше, у границ Восточной Пруссии. Однажды меня вдруг вызвали к командиру полка. Недоумевая, что бы это могло значить, я явился по вызову. В блиндаже, помимо нашего командира, находился какой-то незнакомый (как мне сначала показалось) майор. Командир полка представил ему меня: «Вот это и есть лейтенант Неводов». А затем, указывая мне на майора,

сказал: «А это ваш земляк, поэт Вадим Земной». Я сразу вспомнил его, поскольку однажды в Саратове присутствовал при обсуждении его повести «Орден Ленина».

«Вот езжу по фронтам, ищу земляков, – заявил Земной. – Попал к вам в часть. Прошу сообщить мне, есть ли в полку саратовцы. Мне называют тебя. Ну, как живет-воюется, лейтенант?»

Будь это другой человек, я бы, наверное, что-нибудь рассказал о себе и своих товарищах. Но это был тот самый Земной, о котором я так был наслышан у нас дома. И я отделался общими фразами.

И последнее. Находясь как-то в Москве и просматривая газету «Московский литератор», я совершенно неожиданно наткнулся на некролог. И сразу заметил знакомую фамилию. В некрологе говорилось о скончавшемся в повышенных тонах как о талантливом и честном писателе, так много сделавшем для нашей родной литературы. Могу лишь пожалеть, что не скопировал этот в своем роде исторический документ.

Глава 3. Отец

Мне вспоминается мой отец в разные периоды нашей жизни: в пору моего раннего детства, в школьные годы, в канун Отечественной войны и в послевоенные годы. Сначала это – еще молодой глава семьи, наставник и воспитатель, позднее – стареющий и нездоровый человек, нуждавшийся уже в моей поддержке. Еще до школы он учил меня азам письма и арифметики. Он подбирал книги для чтения, давал мне уроки плавания и игры в шахматы. А желая развить интерес к технике, приобретал для меня машины-игрушки и наборы конструктора. Он пробуждал во мне любовь к природе и постепенно знакомил с особенностями человеческого общения и этики. Отец хотел видеть во мне образованного и всесторонне развитого человека. Не мне судить о том, в какой степени это ему удалось. Со временем он старел и слабел, все чаще жалуясь на перебои в сердце, на боли в почках и на ишиас, который отравил ему последние годы жизни. И все отчетливее понимая, что нужен ему, я шел своему отцу навстречу. Еще в мои мальчишеские годы, когда, вынужденно работая чернорабочим, он стал жертвой несчастья (тяжелым бревном ему отдало руку), я помогал ему умываться и ходил вместе с ним в баню.

Уже после войны он часто вводил меня в курс своих дел, советуясь то по поводу законченного фрагмента своего романа или рассказа, то текста публичного выступления, то в связи с хлопотами об улучшении наших бытовых условий.

В 1945 году, когда я еще находился на военной службе, он подарил мне свой только что вышедший роман «В грозу». На его обложке он написал: *«Моему любимому сыну Юрию – первому литературному моему “секретарю”, самому близкому моему читателю, дорогому критику – дарю эту книгу, плод упорного труда в годы Великой Отечественной войны».*

Я рос в мире книг и рукописей. С самого раннего детства меня окружали бумаги, исписанные быстрым, неровным и неразборчивым почерком. Если Борис Семенович на какое-то время откладывал свой текст, то уже без помощи мамы не мог его расшифровать. Отец не отличался собранностью и аккуратностью: его бумаги находились в беспорядке. Но странное дело, когда ему срочно требовалось разыскать какую-нибудь бумагу, он сравнительно быстро ее находил. Не находил лишь тогда, когда мама, наводя свой порядок, перекладывала его рукописи. С годами Борис Семенович пытался как-то упорядочить свой архив, группируя материал по определенным рубрикам. Так появились у него папки и толстые тетради, в том числе «кунсткамера» (пестрые мысли, изречения знаменитых людей, а также записи суеверий и предрассудков, случайно услышанных острых и метких слов), стенограммы обсуждений его рукописей, письма-отзывы читателей о его произведениях, отдельные номера саратовских и уральских газет, где опубликованы были его очерки.

В нашей семье поклонялись книге и музыке. Литература была царством отца, музыка – царством мамы.

Книг было немного, но это были очень хорошие книги: Лев Толстой и Чехов в дешевых изданиях, выпущенных как приложение к «Огоньку», юбилейный Пушкин в шести томах, роман Ч. Диккенса «Домби и сын», «Кола Брюньон» Р. Роллана, «Варфоломеевская ночь» П. Мериме, избранные рассказы о животных Ч. Робертса. Было и несколько произведений советских писателей: «Прохиндей» В. Шишкова с дарственной надписью, «Тихий Дон» М. Шолохова, роман А. Яковлева «Победитель», «Пусима» А. Новикова-Прибоя, «Первая девушка» Н. Богданова и «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева. Из произведений саратовских писателей помню две книги В. Бабушкина «Кузька, Шарышка и Петр Тимофеевич» и «Рассказы старого охотника». Уже когда я стал школьником, отец, заботясь о моем воспитании, стал формировать мою библиотеку. Так появились у меня книги, ставшие «воротами моего детства»: «Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Затерянный мир» А. Конан-Дойля, «Лесная газета» В. Бианки, «Школа» А. Гайдара, «Республика ШКИД» Л. Пантелеева и Г. Белых, «Борьба за огонь» Ж. Рони-старшего и «Девяносто третий год» В. Гюго.

В редкие минуты отдыха отец любил, раскрыв Толстого, Пушкина или Диккенса, читать вслух. Много раз он цитировал «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...», восхищаясь музыкой пушкинских строк. А однажды – я очень хорошо помню этот случай – он, сняв с полки книгу, особенно проникновенно зачитал отрывок, навсегда врезавшийся мне в память. Это был рассказ о маленьком мальчике, который, умирая, рассказывал своей сестре о том, что видится ему:

«Потом он сказал ей, что его убаюкивает скольжение лодки по реке. Какие зеленые теперь берега, какие яркие цветы на них и как высок камыш! Теперь лодка вышла в море, но плавно подвигается вперед. А вот перед ним берег. Кто это стоит на берегу?..

...И снова на стене золотая рябь, а в комнате тишина».

Это был фрагмент из романа Ч. Диккенса «Домби и сын».

Независимо от школьных уроков по литературе и задолго до университетских курсов отец открывал мне дорогу к прекрасному. Правда, он не хотел, чтобы я стал филологом, и советовал избрать какую-нибудь другую специальность, например, геологию. Но приобщая меня к миру образов, он, вероятно, не подозревая об этом, предопределял мой выбор.

Когда я учился в младших классах, отец иногда проверял мои тетради по русскому языку. Однажды произошел довольно курьезный случай. Выполняя домашнее задание, я решил раскрасить свой текст разноцветными карандашами. Но наша учительница по-своему оценила мою работу, вклатив мне жирную двойку. Родитель, просматривая мою тетрадь, наткнулся на оценку и удивился. «Почему двойка? – спросил он меня. – Ведь написано грамотно?» Я пожал плечами. Тогда отец, захватив тетрадь, вместе со мной отправился в школу. Горячий и вспыльчивый, он начал разговор на повышенных тонах. Учительница в долгу не осталась, и спор поначалу принял довольно острый характер. Но потом оба, как бы опомнившись, сбавили тон и заговорили более спокойно, придя к взаимному соглашению. Я же недоумевал: мне непонятно было, как такой пустяк мог взволновать двух взрослых людей. Но все же в дальнейшем, выполняя домашние задания, не раскрашивал их.

Вспоминается еще случай из тех школьных лет. После окончания начальной школы меня перевели в 40-ю среднюю¹. Директором ее был Григорий Васильевич Сивашов. Отец, желая познакомиться с ним, явился к нему вместе со мной. Хитро поблескивая очками, директор устроил мне небольшой экзамен по конституции и русскому языку. «Кто такой Калинин?» – неожиданно спросил он меня. Вопрос застал меня врасплох. Слыша, как у нас в классе называли Калинина, я выпалил: «Всесоюзный староста!» И отец, и Григорий Васильевич рассмеялись. «Но все же, – настаивал директор, – какой пост он занимает?» Этого я не знал. Потом меня спросили о склонении

¹ Ныне – средняя школа № 9 (Саратов, ул. Соляная, 17).

ях существительных, но тут, несмотря на некоторую неуверенность, я все же отвечал правильно. Отец, просматривая газеты, обычно давал их мне для прочтения. После визита в школу он стал делать это чаще.

В старших классах нам задали на дом сочинение на свободную тему. Зная о моих увлечениях, отец порекомендовал мне написать о Фениморе Купере. Я только прочел его роман «Зверобой» и стал писать о людях и природе этого романа. Сочинение получилось хорошее, но теперь-то я понимаю, что оно носило книжный характер. Я и сам как-то стал «сочинять» и написал что-то по-детски наивное о наших уличных играх. Отец очень внимательно прочел мой опус. Не высмеивая меня, он тем не менее раскритиковал рассказ и посоветовал описать какой-либо исключительный и серьезный случай, например, как тонет мальчишка, и его спасает его старший товарищ. Но такого случая не было на моей памяти, а сочинять того, чего не знал, я не стал.

В 1936 году после выхода в свет повести В. Земного «Орден Ленина» при Дворце пионеров было организовано обсуждение ее при участии школьников. Отец привел туда меня. В повести, которую читал сам автор, рассказывалось о том, как пионер Витя, проживавший неподалеку от погранзаставы, неожиданно столкнулся в лесу с диверсантами и, обманув бдительность врагов, вывел их из строя с помощью найденной им гранаты. Но при этом сам был тяжело ранен одним из них. А по выздоровлении был награжден высокой правительственной наградой. При обсуждении школьники, не щадя самолюбия автора, указывали на «липу»: всякого рода несообразности и натяжки в повести. Отец очень хотел, чтобы и я сказал свое слово. Но у меня не было навыка публичных выступлений, и я стеснялся незнакомой и большой аудитории. У себя дома я все же был смелее, и когда отец, зачитав какой-либо отрывок из своей вещи, находящейся в работе, просил меня оценить ее, я в меру своих возможностей пытался это делать. Мне трудно судить о том, насколько мои замечания могли помочь ему. Но все же он называл меня своим первым литературным критиком. Со временем я понял, что писатель остро нуждается в немедленном отклике на только что законченное произведение или фрагмент его, так как самому ему трудно судить о том, что у него получилось.

Как-то к отцу напросился на «прием» мальчишка-школьник моего возраста, живший на соседней улице. «Я читатель и хочу знать, о чем пишет твой отец, – заявил он мне. – Народ должен знать своих писателей». Иными словами, он потребовал своего рода отчет у Бориса Семеновича. Самонадеянность и нахальство подростка, видно, хорошо усвоившего уроки демагогии, неприятно удивили отца. Но он все же уделил незваному гостю часть своего драгоценного времени. О чем они беседовали, уединившись в отцовской комнате, я не слышал. Но после встречи отец мне сказал: «Если каждый читатель, да еще такой юнец, будет требовать личной встречи, писателю придется расстаться со своей работой раз и навсегда».

На память приходят два события нашей литературной жизни уже в послевоенную пору. Первое из них связано с обсуждением романа Ю. Трифонова «Студенты» на филологическом факультете университета, на котором я тогда учился, второе – с приездом в Саратов К. Федина в 1949 году.

Отцу очень хотелось знать, чем живет молодежь, и он пришел на обсуждение романа. Аудитория была полна, в ней было немало и наших соседей – студентов-историков. Вообще, надо заметить, что в первые послевоенные годы, когда в студенческую аудиторию влился отряд вчерашних фронтовиков, обстановка в университете была значительно более живой, чем ныне. Жизнь в вузе была ключом, и литературных диспутов было значительно больше, да и были они острее. Вот и на этот раз развернулось интересное обсуждение. Запомнилась речь тогдашнего студента-историка Юрия Давыдова, ныне члена-корреспондента Академии наук СССР¹. Он говорил о «декорации

¹ Юрий Николаевич Давыдов (1929–2007) – советский и российский философ, социолог, доктор философских наук, профессор, специалист по социальной философии, истории и теории социологии, социологии искусства. Окончил исторический факультет Саратовского государственного университета в 1952 году. Является основателем отечественной школы в области истории и теории социологии, автором ряда фундаментальных трудов по истории социальной философии и социологии XIX–XX веков, а также раз-

личности», о том, что герой, выдав себя за талантливого, обманул автора. В числе других выступил и я. И помимо прочего, говорил о том, что современная литература еще не создала героя времени. И при этом бросил взгляд на отца, как бы делая и его ответственным за промахи писателей. Аудитория, часть которой немного знала Бориса Семеновича, весело реагировала на мою реплику, а отец, как мне показалось, был смущен.

Когда в Саратов приехал К. Федин, Любовь Петровна Жак¹, работавшая тогда доцентом нашего университета, устроила литературный прием у себя дома. На этой встрече мы с отцом оказались рядом с профессором университета Александром Павловичем Скафтымовым². Я уловил его грустный, пристальный взгляд. Обращаясь к моему отцу, Александр Павлович вдруг сказал: «Как хорошо иметь взрослого сына-друга». Зная А.П. Скафтымова как человека очень сдержанного, почти аскетического, я очень удивился его словам. Но вскоре, услышав о пережитой им трагедии – смерти сына, понял глубинный смысл произнесенной им фразы. Да, Александр Павлович сказал тогда самое главное. Мы с моим стареющим отцом стали особенно близки. Это была дружба, когда большая разница в годах уже не воспринимается так ощутимо, как раньше. Помню, как в Москве, сразу после войны, мы с отцом встретились в Союзе писателей. И, увидев нас рядом и услышав наш разговор, т. Карцев³, один из членов правления тогдашнего Союза, недоумевал, кем мы приходимся друг другу: отцом и сыном или братьями – так молодожаво выглядел Борис Семенович.

На том вечере у Л.П. Жак произошел забавный случай. Исай Григорьевич Тобольский⁴ шутливо обратился к К.А. Федину: «Константин Александрович! Напишите что-нибудь. Ну для хохмы!» И протянул спичечный коробок. К.А. Федин засмеялся и написал на коробке: «Для хохмы. Исаю Тобольскому. К. Федин».

Помимо книги, в детстве меня приобщали к музыке. Музыка и пение звучали в нашей семье, особенно когда являлись подруги мамы. Помнится, приходила педагог одного из детских музыкальных учреждений и оживляла наш домашний мирок. Мама, обладавшая незаурядным слухом, и сама музицировала. Аккомпанируя себе, она пела чаще других одну из арий Виолетты из оперы «Травиата» и неаполитанские романсы. Отец, не обладая музыкальными способностями мамы, по-своему любил музыку и песню. Он садился за наше пианино и, наигрывая себе, пел обычно одну и ту же казачью песню «Встала, проснулася зоренька ясная. Слышится звон от подков...» Эту песню он воспринял от своего отца – уральского казака. Как-то, когда уже ни отца, ни мамы не было в живых, я, приехав в Уральск, познакомился с доцентом местного педагогического института Е.И. Коротинным⁵, знатоком уральского казачьего фольклора и автором нескольких сборников. Он показал мне один из них, и я разыскал ту самую песню, которую в годы моего детства на-

работчиком новой версии теории социологии искусства. С 1970 по 2006 год работал главным научным сотрудником и заведующим сектором истории социологии и общей социологии Института социологии РАН.

¹ Любовь Петровна Жак (1907–?) – саратовский литературовед, специалист по русской литературе XX века и устному народному творчеству, преподавала в Саратовском государственном университете, вела спецкурс по творчеству М. Горького.

² Александр Павлович Скафтымов (1890–1968) – литературовед, фольклорист, этнограф, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Специалист по поэтике и генезису русских былин, творчеству Лермонтова, Достоевского, Толстого, Гоголя, Чернышевского и Чехова, основатель саратовской научной школы литературоведения. Преподавал в Саратовском университете и педагогическом институте, автор фундаментальных трудов по истории и теории литературы, фольклористике и текстологии.

³ Скорее всего, речь идет об Алексее Дмитриевиче Карцеве (1900–1967) – советском писателе, авторе произведений о железнодорожниках, а также книг военной тематики.

⁴ Исай Григорьевич Тобольский (1921–1995) – поэт, автор более 30 книг, в том числе для детей. Заведовал отделом поэзии журнала «Волга».

⁵ Евгений Иванович Коротин (1926–2012) – уроженец Уральска, кандидат филологических наук, профессор. Всю жизнь посвятил собиранию и изучению фольклора и истории уральских казаков.

певал отец. Е.И. Коротин включал магнитофон, и я услышал ту же песню в исполнении казачьего хора из приуральской станции Круглоозерной. И как-то сразу пахло детством, уютом нашей квартиры, и как бы вновь зазвучал голос отца...

Не имея музыкального образования, родители отдали меня в музыкальную школу по классу фортепиано, как бы желая увидеть во мне то, чего были лишены сами. Отец, интересуясь моими успехами, иногда приходил в музыкальную школу. А дома, слушая мои упражнения и улавливая порой фальшь, он громко, передразнивая и имитируя мои ошибки, приговаривал: «Ай, врешь! Ай, врешь!» В Липках, переименованных в парк имени Горького, в ракушке нередко располагался военный духовой оркестр и исполнял популярные мелодии. Отец любил приходить туда и брал меня с собой. Помню также, как я благодаря своим родителям смог услышать в детстве оперу Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и был околдован и мелодиями, и красочным оформлением спектакля, и молодыми феями-актрисами.

Приобщали меня и к миру драмы. В 1930-е годы на сцене нашего драматического театра еще царил И. Слонов¹, создавший непревзойденный образ Хлестакова. И я до сих пор вспоминаю блистательную его игру в «Ревизоре».

К сожалению, мне трудно было совмещать учебу в общеобразовательной школе с уроками музыки, и музыкальную школу пришлось оставить. Мне показалось, что отца это обстоятельство огорчило даже больше, чем маму.

Первые мои впечатления об отце носят отрывочный характер. Вот он приезжает из командировки – усталый, загорелый, запыленный. Снимает пиджак и рубашку. Рубашки какого-то зеленого цвета, похоже на военные гимнастерки. И их почему-то очень много, или мне так лишь кажется? И запах самого близкого человека ощущается еще долго. Возвращаясь домой, он всегда привозит какие-нибудь гостинцы для меня и моей сестры Люси. Однажды это чернослив. Его помещают в шкаф, и мы с Люсей, забравшись туда с головой, так что снаружи видны только наши спины и ноги, лакомимся сушеной ягодой. Заметив эту картину, отец с горечью говорит: «Бедные детишки! Ничего не видят хорошего». Это было в начале 30-х годов, когда наша семья, как и многие другие, едва сводила концы с концами. Да и у нас была своя «фамильная» беда, о которой я рассказывал выше. Когда Борис Семенович оставался без работы, маме и бабушке, матери его, приходилось изворачиваться. Бабушка, чтобы заработать немного денег, уходила «в люди», работая по найму. В архиве отца сохранился трагический документ, как раз относящийся к этому времени. Это его письмо к своей матери.

«Дорогая мама! – писал отец. – Как же ты-то будешь жить? Это меня очень гнетет. Главное, я сам-то еще в неопределенном положении: то ли буду в Саратове, то ли в район уеду, то ли “очутюсь” там, куда Макар телят не гонял. Дело мое не закончено, и чем оно еще кончится – трудно предвидеть. Пиши, родная, как ты устроишься. Хорошо бы опять в какую-нибудь семью, или на постоянную работу в столовую, буфет, чайную <...>. Юронька хорошо читает и пишет. Если после девочек останутся книжки, пришли, особенно сказки – он с удовольствием читает, а Люся, разинув рот, слушает. Бедные детишки – и им досталось, все время в забросе, целыми днями сидят в доме запертыми». А далее следует моя приписка: «Баба, мы живы и здоровы, едим ржаные лепешки, с Люсей катаем на пароходке медвежонка». И в самом конце письма – каракули сестренки.

И еще несколько пестрых воспоминаний из моих детских лет. В Турках, где отец работает в редакции местной газеты, родители дают мне первое самостоятельное задание: купить хлеба. Я выполнил задание, а затем, располагая некоторой суммой денег, зашел в магазин «Культтовары» и приобрел приглянувшуюся мне игрушечную красную машину. Отец и мама до слез смеялись по поводу моей инициативы. Как-то, уже позднее, отец со мной отправился в совхоз «Удар-

¹ Иван Артемьевич Слонов (1882–1945) – российский и советский актер, режиссер, педагог и общественный деятель, народный артист РСФСР (1938). С 1915 года работал в Саратовском драматическом театре (ныне – Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова), стал основоположником саратовской театральной школы. Среди его лучших ролей – Чацкий («Горе от ума»), Арбенин («Маскарад»), Карандышев («Бесприданница»), Протасов («Живой труп»).

ник» за морковью. Оттуда часть пути пришлось идти пешком. Остановились, чтобы отдохнуть. Отец, достав хлеб и нож, очистил несколько морковин, и мы дружно и хорошо закусили. Кажется, никогда мне не приходилось есть ничего более вкусного!

Вот отец выезжает за город. И я с ним рядом. Мне не очень хочется в лес: меня дома, во дворе и на улице, ждут острые, захватывающие игры со сверстниками: клек, чижик или футбол. Но я подчиняюсь отцу. А он, понимая мое состояние, пытается поправить дело и заменить мне товарищей. Он выстругивает две палки и чижик, который почему-то называется «чимпейкой», и мы начинаем игру. Заметив, что мне скучно, он с горечью замечает: «Не любишь ты природу!» Он точно забывает об огромной разнице лет. Выросший в лесистом углу Польши, севернее Варшавы, он не мог жить без леса и хотел привить эту привязанность мне. Семена, посеянные им, со временем дали свои плоды. Повзрослев, я полюбил лес, вероятно, не менее, чем он.

А вот отец, дав мне несколько уроков шахматной игры, начинает со мной очередную партию. Он играл средне, примерно в силу пятой категории¹, и сначала дает мне «фору»: ферзя или ладью. Но когда я достаточно освоился, мы уже играем на равных.

В Борисе Семеновиче было очень много детски непосредственного, что свидетельствует о добром, незлобивом характере. Он умел радоваться многому: законченному труду – книге или статье, удачной шахматной партии, встрече с умным и добрым человеком, выигранной в доме отдыха или в санатории викторине, походу в баню. И он начинал пританцовывать, с детской прямо-той и непосредственностью, радостно переживая свой успех. Бывало, он раздражался, ссорился, кричал. Но быстро остывал и тогда ходил с виноватым видом. Он не раз говорил мне и маме: «Вот умру – будете вспоминать меня: был шумливый и беспокойный, а все же добрый человек!» Что-то осталось в нем от его юности, когда он в кадетском корпусе шел по физкультуре одним из первых. Уже в немолодом возрасте он тянулся к активным играм. В Черемшанах, где мы как-то отдыхали, я не раз видел, как он играл в волейбол или сражался за шахматной доской. А то принимал участие в художественной самодеятельности, хотя успеха здесь не имел.

В нашей семье всегда жили животные. Еще в Турках, куда отец был вынужден переехать, мы поселились в отдельной, брошенной хозяевами избе. И к нам прибилась голодный бездомный пес. Родители называли его Кутястым. Так он и жил, охраняя и нас, и наше временное жилище. В городе я играл с дворовыми собаками и щенками и не помню случая, чтобы родители запрещали мне эти забавы. А потом в доме появились кошки. Одно время у нас квартировал кот, выросший в большого зверя. Когда он состарился, его назвали Пенсионером. Однажды, выйдя на нашу террасу, я в изумлении остановился: кот Пенсионер, вцепившись зубами в кусок мяса, висевший у окна, тащил его к себе, а отец, схватив кота за ноги, тянул его вниз... Это была уморительная сцена. И второй случай. Как-то у нас пропал котенок, и я долго не мог его найти. Однажды, возвращаясь к себе, отец увидел его наверху, между двумя домами: малыш, за что-то зацепившись и испугавшись, жалобно мяукал. И мой родитель, несмотря на свой уже достаточно пожилой возраст, встал на приступку и снял котенка. Это был урок доброты, который остался во мне навсегда.

И еще несколько воспоминаний, часть которых относится к самому моему раннему детству, а часть – к школьным и университетским годам.

В 1934 году в нашу семью приходит смерть. Она врывается неожиданно и страшно.

Быт наш был трудным. Летом мы сильно страдали от жары, а зимой – от невыносимого холода. Квартира была фактически нежилой: угол дома обвалился, внутренняя засыпка осыпалась, температура у нас (особенно в комнате отца) в зимнее время опускалась до 5–6 градусов. Порою замерзали чернила. И родитель, приступая к работе, надевал пальто, валенки и перчатки, на голову водружал шапку-ушанку и зажигал для обогрева большую семилинейную лампу². Я часто слышал, как он топал ногами, чтобы согреться. Вот в такой обстановке зимой сначала заболел я,

¹ Одна из начальных категорий в игре.

² Семилинейная лампа – керосиновая лампа с шириной фитиля 7 линий (около 18 мм). Такое название она получила по размеру фитиля и часто именуется также «семилинейка».

а потом – и моя маленькая сестренка Люся. Отстоять ее не удалось. Помню, как она умирала и как металась родители и обе бабушки, пытаясь что-то сделать и как-то облегчить ее страдания. Она умирала в морозный день, лепеча в предсмертном бреде о каких-то птичках и маленьком воробушке... Когда все кончилось, и ее тело лежало в гробу, отец, глядя в лицо мертвой дочери, со слезами на глазах говорил: «Какая красавица! Не уберegli...» А через некоторое время пришла еще одна смерть – умерла от кровоизлияния в мозг моя бабушка, мать Бориса Семеновича.

Хорошо помню, как, опустившись рядом с ее гробом, он произнес фразу, которая поразила меня: «Ну вот, теперь я один!» – «Как же так, – подумал я. – А мама, а я, а другая бабушка?» Я хотел сказать ему об этом. Но что-то удержало меня. Какая-то пока неведомая, но страшная истина, лишь смутно угадываемая мною, послышалась мне в этих словах. Повзрослев, я понял, что утрата матери – самое страшное, что может пережить человек, и, независимо от своего возраста, он становится сиротой.

А вот еще одна смерть, как всегда неожиданная, загадочная и страшная. Летом мы живем в Хвалынске, снимая маленькую террасу. Утром, когда солнце робко начинает проникать через занавешенные окна, я вдруг просыпаюсь и слышу шепот отца: «Юронька проснулся?» – «Нет, – отвечает мама, – еще спит». – «Вот и хорошо, – продолжает также шепотом отец, – а то может испугаться». – «А что случилось?» – тревожится мама. «Умер хозяин», – продолжает отец. Мама тихо ахнула. «Вышел во двор покурить, – шептал отец, – и потом поднялся и тут же упал...»

Я, забившись под одеяло, продолжаю делать вид, что сплю. Мне страшно. Но рядом со мной самые близкие мне люди, и страх постепенно проходит. А отец, как и мама, бережет мою еще не окрепшую душу, стремясь по возможности отдалить от меня мысль о неизбежности конца, подстерегающего каждого.

А вот воспоминания другого времени. Как-то зимой, собравшись идти домой, я на школьной вешалке не обнаруживаю своего пальто. Пальто было очень хорошее, из английского сукна. При тогдашних дефицитах и бедности эта пропажа может нанести чувствительный урон нашему бюджету. Но самое тяжелое – болезненное чувство от соприкосновения с подлостью. Совершенно подавленный явился я домой и лег, уткнувшись головой в подушку. Пришел с работы отец, и мама в другой комнате что-то сказала ему. Отец подошел ко мне и, ни о чем не расспрашивая, молча остановился у моей постели. Он стоял долго, и я чувствовал рядом с собой его молчание. Без слов между нами установилось то взаимопонимание, которое помогло мне прийти в себя. Позднее, уже в юности, в мою жизнь вошла трагедия. Я был близок к самоубийству. И так же, как когда-то в детстве, я лег на постель лицом вниз и никак не реагировал на расспросы мамы. И снова, как раньше, ко мне подошел отец. И опять он молча встал около меня. Затем произнес лишь одну фразу: «Может, я помогу?» И так как я продолжал молчать, он, постояв еще некоторое время молча, отошел. И снова его молчаливое сочувствие поддержало меня.

Вспоминается, как мы с отцом впервые узнали о начале Отечественной войны. Почему-то 22 июня у нас в квартире радио не работало. Мы с отцом отправились в город. На улице Ленина, неподалеку от улицы Радищева, столкнулись со старинным знакомым родителей еще по Уральску. Он сразу спросил отца: «Ты слушал радио?» – «Нет», – ответил тот. «Немцы на рассвете перешли границу и бомбили наши города. Война...» И тут же знакомый добавил: «Ну да это ненадолго. Ну неделя, две. И все кончится». Надо сказать, тогда очень многие думали так. Наши поражения в первый период войны отец переживал как свою личную беду. Он тяжело вздыхал, выслушав очередное сообщение Совинформбюро. Когда я уезжал в армию, он не провожал меня. Но обняв на прощание, успел сказать лишь одну фразу: «На рожон не лезь!..» Помнится также, что, когда я служил в 1943 году в Пугачеве, меня неожиданно вызвали на узел связи и, сказав, что мне звонят из Саратова, передали трубку. Я услышал треск и далекий, перебиваемый помехами голос отца. Он звал меня, но я ничего не успел ответить, так как связь оборвалась. И хотя прошло с тех пор много времени, и я, вернувшись с войны, прожил с отцом более десяти лет, я всегда сожалел о том, что так и не узнал, что он мне тогда хотел сказать. Это одна из странных загадок жизни. Ты общаешься с близким человеком, у тебя много возможностей поговорить обо всем, но почему-то

не хватает времени, все откладываешь на потом. А человек уходит из жизни, и ты испытываешь мучительное чувство неудовлетворенности, даже вины: не успел сказать или узнать что-то очень важное, и теперь уже не поправишь дела.

Вспоминаю две наши встречи в Москве. Одна из них произошла в 1946 году, когда, направляясь в отпуск и списавшись с отцом, я остановился в столице, и в 1954 году, когда я работал в Ленинской библиотеке, и отец приехал на Второй Всесоюзный съезд советских писателей. В 1946 году мне еще 21 год, я еще юн, инфантилен и так многого жду от жизни. Душа жаждет счастья, полноты бытия. И отец, хорошо меня понимая, берет билеты на «Сильву». И вот огни театра, взволнованная, пережившая войну публика и музыка, зовущая к любви. А рядом со мной самый близкий мне человек. Возбужденный, весь во власти непосредственных впечатлений, я часто комментирую то, что происходит на сцене, а отец, слегка прикасаясь ко мне, успокаивает.

Из встречи 1954 года я помню лишь один эпизод. Мы с отцом идем в мавзолей. Но я только что переболел тяжелой формой воспаления легких, и отец, опасаясь рецидивов, предостерегает меня. Но мы все же идем туда и вместе с другими делаем траурный круг. Да, в марте 1953 года и я, и мой родитель переживаем горе – зачем лгать перед прошлым и обманывать себя и других? Но мера этого горя у каждого из нас своя. Мне тоже надрывают душу траурные мелодии по радио. Но я, человек другого поколения, все же менее своего отца был подвержен культуре личности.

Я подхожу к последнему периоду жизни Бориса Семеновича, его болезни и смерти. Жизнь уготовила ему немало тяжелых испытаний: трепанация черепа в детстве, гибель отца и полуничтожное существование на жалкую пенсию матери, годы учебы в военном училище с неизбежными насмешками сильных над слабыми, гражданская война и ранение, борьба за существование, преследование за вину, в которой он объективно не был виноват, смерть дочери и матери, чудовищный быт, вечная работа на износ и сознание того, что он пишет не о том, о чем бы ему хотелось.

Отец скончался 5 июля 1957 года. После перенесенного инфаркта он получил путевку в санаторий «Октябрьское ущелье», и я сопровождал его туда. В ту пору я начинал свою трудовую деятельность на кафедре русской литературы в университете, и отец, успев узнать об этом, очень радовался за меня. Но мне, как всякому начинающему, было трудно, и остро недоставало времени, я не мог уделять тогда своему родителю того внимания, в котором он так нуждался. Я знаю, он переживал это. Со временем я понял, что никакой занятостью нельзя было оправдать мою тогдашнюю отрешенность от всего, что не связывалось с моей работой. И чем более отдаляется время, чем больше я сам приближаюсь к своей собственной роковой черте, тем отчетливее я понимаю свою вину. Груз этой вины давит меня. Слабым утешением служит наша – моя и мамы – тогдашняя вера в то, что отец еще выздоровеет и снова займет свое место в нашем семейном кругу. Это была иллюзия, которая рассеялась однажды быстро и страшно.

В начале июля я, получив пищевое отравление, ослабевший и угнетенный, находился на постельном режиме. Неожиданно раздался телефонный звонок. Мама подняла трубку – звонили из санатория. По разговору я понял, что отцу плохо. Но мы еще не знали, что все уже кончено. Мама и мой младший брат Владимир, которого ныне тоже уже нет в живых, отправились в санаторий, а я остался. Вдруг раздался новый звонок. Звонила главный врач санатория. «Почему вы не приехали?» – спросила она. «Я болен и лежу», – ответил я. «А вы знаете, – продолжала врач, – что ваш отец умер?». Эти слова меня оглушили. И я как-то сразу отключился и ушел в себя, пытаюсь постигнуть эту открывшуюся страшную правду. Врач, обеспокоенная моим молчанием, старалась как-то отвлечь меня и разрушить мою сосредоточенность на одном. А я никак не мог выйти из своего шока. Голос врача звучал как-то издалека и раздражал меня. Прошло еще несколько минут. И снова звонок. Я не хотел подходить к телефону, но телефон звонил настойчиво, и я понял, что это междугородняя. Я взял трубку.

«Вам звонят из “Литературной газеты”, – сказал мужской голос, явно принимая меня за моего отца. – Вы давно обещали нам материал. Но время идет, а материала нет». – «Я вам ничего не могу сказать», – ответил я. «Так вы не Борис Семенович», – догадался мужчина. «Нет, я его сын». – «А нельзя попросить Бориса Семеновича?» – «Нет, нельзя». – «Почему?» – удивился мужчина. «Он умер», – с трудом выдавил я из себя. «Когда это случилось?» – «Полчаса назад». Я услышал восклицание. Мужчина стал выражать соболезнование и извиняться. Но мне уже было не до этого.

Все дальнейшее – панихида во Дворце труда¹, похороны, погребение – для меня проходило точно во сне. Над гробом хорошее слово сказал Яков Исаакович Явчуновский², ныне уже покойный. Помню, как ко мне подошел наш профессор Евграф Иванович Покусаев³ и молча пожал мне руку. Гроб провожала большая толпа – и коллеги: товарищи по областной газете «Коммунист» и по местному отделению Союза писателей. Вдоль траурной процессии бежал какой-то мальчишка. Удивленный, видимо, таким скоплением народа, он все время спрашивал: «Кого хоронят? Кого хоронят?» Никто ему не отвечал. И когда приставание мальчишки стало особенно назойливым, я бросил: «Человека!» Мальчишка отстал.

Решая вопрос о надгробном памятнике, в Союзе писателей меня спросили: что следует, по моему мнению, написать на нем. Я ответил, что только фамилию, имя, отчество и годы жизни. Может быть, добавить: писатель? Я продолжал настаивать на своем, и со мной не стали спорить. Так и сделали. Но что заставило меня поступить так?

Я рассуждал просто: тому, кто читал книги отца или хотя бы слышал о них, не нужно подсказывать, кто такой мой отец. Ну а кто не читал, тому слово «писатель» ничего не скажет. У нас принято составлять некрологи таким образом, что сразу и не узнаешь, кто же все-таки скончался. Приходится пробиваться через целый частокол званий, степеней, чинов и должностей, регалий и наград. Человек буквально тонет под грудой этих бесконечных наименований: Герой Советского Союза, Герой социалистического труда, член-корреспондент или академик, доктор наук, лауреат, профессор и т.д.

Один случай, кажется, подтвердил правильность моего решения. Однажды в погожий день я отправился на кладбище. Со временем вокруг могилы отца выросли новые, и пышность позднейших надгробий резко контрастировала со скромным обелиском моего родителя. Высокие саркофаги загораживали его, и он плохо был виден с дорожки. Я стоял около родной могилы. Мимо проходили двое мужчин. Около надгробия отца они остановились. Один из них сказал: «Борис Семенович Неводов. А я читал его роман “Бриллиантовый князь”. Хорошая книга». И они двинулись дальше. Слова незнакомого мне человека были для меня важнее и дороже многих официальных суждений и оценок.

В моем семейном фотоархиве хранится немало карточек. Но среди них я выделяю около десятка особенно мне дорогих. Вот отец нескольких месяцев от роду. Он сидит в расписном кресле, в кружевной распашонке, еще совсем беспомощный. Снимок сделан в Варшаве, в фирме Remarand. А вот он мальчишка, в округлом берете, в гимназической куртке с отложным воротником, а рядом его мать, польская пани в меховой дохе и в огромной шляпе с белым пером. Далее, отец – ученик Варшавского училища, остриженный наголо, в светлой униформе с темными погонами. Грустный взгляд юноши словно предсказывает его трагическую судьбу. И он же на двух фотографиях среди своих товарищей по московскому кадетскому корпусу, на одной из них он широко улыбается. И

¹ Дворец труда (Дом профсоюзов) – под таким названием саратовцы знали историческое здание (год постройки 1909–1910) на ул. Сакко и Ванцетти, 55 (пересечение с ул. Вольской).

² Яков Исаакович Явчуновский (1922–1988) – театровед, доктор искусствоведения, автор работ по истории и теории театра. Преподавал в Саратовском государственном университете.

³ Евграф Иванович Покусаев (1909–1977) – доктор филологических наук, профессор, специалист по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина, истории русской литературы XIX века и русской сатиры. Заведовал кафедрой русской литературы на филологическом факультете Саратовского государственного университета.

отец, уже молодой человек, в папахе и серой красноармейской шинели, снятый во французском фотоателье в г. Таганроге, видимо, в канун похода на Врангеля. Потом фотографии, сделанные в редакции «Красный Урал», и несколько семейных, уже саратовской поры, на которых снята наша семья, включая и сестру Люсю. И есть совершенно уникальный кадр: мой дед по отцовской линии, Семен Парамонович Неводов, уральский казачий офицер в цепи своего стрелкового взвода на одном из участков Первой мировой войны. Снимок сделан летом 1915 года на реке Пилице, в Польше, за какой-нибудь месяц до гибели деда от австрийской разрывной пули. И еще две фотографии. Отец на склоне лет, предельно утомленный жизнью, поблекший и очень печальный, как бы понимающий, что жить ему осталось немного. Одет он бедно, в простой темной рубашке без галстука. И наконец, скромный обелиск на Воскресенском кладбище – последнее пристанище Бориса Семеновича.

Отцу я обязан не только самим фактом своего рождения. Он был моим духовным отцом. Он сумел внушить мне любовь к книге и уважение к труду. Его собственное трудолюбие, предельная поглощенность избранным раз и навсегда делом, способность жертвовать многим, в том числе бытовыми и иными удобствами ради главного, к чему его призвала судьба, неприхотливость и скромность – все это осталось и остается для меня нравственным примером и образцом. Он был гуманным, хотя и слабым человеком, ненавидел ложь и крикливую демагогию и, теряясь перед грубостью и наглостью, не всегда мог отстоять свое человеческое достоинство. Помню, как привычку к многоговорению он называл «недержанием речи», а тех, у кого слова расходились с делом, – «обещалкиными». Преданность избранному им поприщу и любовь к слову, умение откликаться на земные радости бытия поддерживали его в самые тяжелые дни его жизни. И несмотря на то, что жизнь часто оборачивалась к нему подлостью, завистью и злобой, он сумел до конца оставаться доброжелательным человеком, и люди, хорошо знавшие его, ценили в нем это качество, столь редкое в наш черствый и жестокий век.

Его трагедия заключалась в том, что он не мог воплотить главную свою тему. По независящим от него обстоятельствам он растратил свой дар на вещи, которые не поглощали его целиком. Откликаясь на смерть Бориса Семеновича, Ю.Г. Оксман, один из моих учителей, писал мне о том, что в пору, когда открываются большие возможности для творчества, уход из жизни талантливого человека вызывает чувство сожаления и горечи.

Провожая отца в последний путь и вглядываясь в его мертвое лицо, я видел перед собой застывшую маску обиды и недоумения. Но стоят на полках его книги, поднимается к небу дерево, выросшее на его могиле. И шумят три из четырех посаженных отцом перед нашим старым домом лиственницы. И это тоже след, оставленный отцом на земле.

С чувством выполненного сыновнего долга я заканчиваю эту книгу.

ОБ АННЕ АЛЬЧУК

Материал подготовила **Татьяна Данильяни**

В 2025 году Анне Альчук, поэтессе, художнице, куратору, исследовательнице феминизма и женского движения, исполнилось бы 70 лет. С нами ее нет уже 17 лет.

Мы попросили ответить на несколько вопросов ее друзей и коллег, тех, кто знал и ценил Анну.

1. Спустя почти 20 лет после трагического ухода Анны каким вам кажется ее вклад в культуру? Как поэтессы, художницы, куратора, исследовательницы феминизма и женского движения?

2. Какие ее исследовательские/кураторские проекты, стихи, собственные визуальные работы/проекты вспоминаются вам сегодня?

3. Насколько Вам кажется плодотворной ее интегральность, многогранность (слово-образ-мысль)?

Татьяна Михайловская

поэт, прозаик, литературный критик

1. Поэзия есть излучение тепла и света, и это излучение всегда ощущается в выверенном, точно сработанном стихе Анны. В своем творчестве она применяла приемы и техники, открытые до нее другими поэтами Авангарда, близкими ей по духу, но она развивала их открытия, строила свою систему, давала ей свое наполнение. Так, она сделала свой цикл «Простейшие», хотя подобный принцип комбинаторного построения мы находим и у Сапгира, и у Казакова, о чем Аня конечно же знала. Но это нисколько не умаляет достоинств собственной Аниной художественной разработки в этом цикле. Аня всегда превращала формальное построение в художественно насыщенное со своим психологически событийным содержанием. Проще говоря, форма не была для нее лишь поводом для показа – ей было что сказать читателю. У нее был свой мир. В отличие от многих балующихся словесной игрой. Про них она написала:

легко вам
легкое выВЕРнУть
выблевать буквами
мозг!

Ей было нелегко.

В советский период поэзия женская и мужская принципиально не различались, поскольку разницу полов нигде ни в чем не педалировали. Аня застала тот период, когда у нас в стране гендерный вопрос замер на уровне конституционного равенства полов, и только в 90-е годы он возник заново. Да, она принципиально называла себя поэтессой, а не поэтом, вопреки ахматовской традиции. Она ездила в женскую колонию, чтобы своими глазами увидеть, как они там, взглядывалась в их лица, фотографировала... Ее увлекали современные феминистские теории, но более

всего ее интересовала практика – то, как работают женщины в искусстве, поэтессы, художницы. Она собиралась вести в Берлине семинар по современной российской женской поэзии – но не сбылось.

2. Последнюю книгу «Помимо» (скорее всего, это лишь часть незавершенной книги), посмертно включенную в самиздатский петербургский альманах «Петраэдр», составили 20 стихотворений, написанных в 2005–2008 гг. Среди них есть, на мой взгляд, шедевры, такие как «Форосский парк», но я сейчас о другом. Обратите внимание: эти 20 стихотворений вполне автономны, не связаны между собой сюжетно, пространственно или временно. Объединяет же их в единое целое – книгу – не только и не столько поэтика, сколько то, что практически каждое из них, за исключением нескольких (тот же «Форосский парк», итальянское и еще два других), полно внутреннего драматизма, который и есть сюжет этой оборванной книги.

Сюжет начинается с заседания в зале суда, где

гарпии гры
зли и грози
лись удушием

от которых можно спастись только «в ширь», в «тишь», то есть мышью шмыгнуть в пространство, в котором спрятаться.

И кончается «улетом», но не азартным, спортивным, как в эпиграфе у Цветаевой («Выше! Выше! Лови – летчицу!»), а продуманным, технически обеспеченным (как бы, поскольку реальный Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation здесь не при чём, он в стихотворении является лишь символом разрушающе-созидающей энергии):

покидая орби
Ту-104 рвану
не в нирванну
не в нольпока

в лазаром признанный
зев разве?
Рз
ающий Путь

Позиция «концевое слово» – самая ударная в стихотворении (и по совпадению – в книге), в данном случае это слово – Путь. Путь – это образ открытого пространства, пространства для движения, каким бы трудным оно ни было, пространства без координат времени. Соблазн бесчувствия и равнодушия отвергается – ради этого Пути, которому не нужен покой. Конечно, подобные вещи можно трактовать как угодно, но я понимаю их просто: истинный поэт чувствует свой Путь, и не дай Бог, если соблазнится и свернет. Аня тоже это знала – не дай Бог... Она была истинным поэтом. Поэтессой. Вот такое единство жизни и стиха...

3. В традициях Авангарда поэту положено уметь всё, писать всё, изобретать всё, знать всё. Если надо, придумывать новые шрифты, рисовать плакаты и тату на лице, писать частушки и трагедии, издавать книги и журналы, воскрешать прошлое и вычислять будущее – и работать, работать со словами, как с глиной, со СЛОВОМ на всех языках. Аня была именно таким, авангардным человеком, чтобы подчеркнуть ее женственную природу (так она себя ощущала) скажу

– авангардной поэтессой. Отсюда все ее разнообразные проекты: поэтические, художнические, издательские, искусствоведческие и социальные. Имя Анны Альчук стоит в ряду выдающихся деятельниц авангардного направления в искусстве, среди которых назову самых известных – Ры Никонова и Елизавета Мнацаканова.

Многогранность натуры Анны Альчук соответствовала духу времени, последних десятилетий жестокого XX века, когда надо было успеть сказать то, что было не сказано, и сделать то, что было не сделано. К счастью, ей многое удалось.

И всё-таки главным делом для Ани была поэзия, и это то, что будет звучать и отдаваться эхом в сердцах не один год, потому что в ее стихах бьется живая мысль, освещенная глубоким чувством.

Татьяна Антошина

художница, куратор

1. Анна Альчук была выдающейся фигурой своего времени. Мы познакомились в середине 90-х: Аня выступала как поэтесса и концептуальная художница; она курировала выставки, издавала сборники гендерных исследований, проводила журфиксы-женсоветы в своем доме; знакомила всех со всеми, создавая необыкновенную интеллектуальную и артистическую жизнь вокруг себя. Неоценимый вклад Аня Альчук внесла в создание гендерного дискурса в искусстве Москвы.

Особенность нашей ситуации в 90-е годы, в отличие, к примеру, от Питера или Нью-Йорка 50-х, заключалась в том, что феминизм не принимался не только широкой публикой, но и художественным сообществом. Художники-концептуалисты, на которых ориентировалась в то время московская арт-тусовка, пренебрежительно относились к нашей деятельности, и гендерной тематике вообще. Нужно отдать должное Михаилу Рыклину и философам-интеллектуалам из круга знакомых семьи – они поддерживали Аню в гендерных исследованиях. Анна Альчук в свою очередь щедро делилась знаниями, и воспринималась нами как светоносная личность – настоящая фигура просвещения. У нее был дар объединять людей, передавая информацию, связи, интересы и увлечения.

2. Я ходила на вечера сонорной поэзии, чтобы послушать Аню – она исполняла свои стихи в совершенно необычной, неподражаемой манере, с особым ритмом, как бы немного запинаясь, а в то же время певуче и призывно. Куда, к чему она призывала, я не знала, но перформанс каждый раз завораживал. Я и сейчас помню ее интонации. Однажды я присутствовала на поэтическом вечере Анны Альчук и Сергея Бирюкова: вначале, как положено, каждый из них представлял собственное творчество – оба поэта совершенно странные, ни на кого не похожие. Потом они начали читать стихи друг друга, и в этот момент возникла магия – стихи не просто зазвучали по-новому, но, приобретая другие акценты, стали раскрываться неожиданные смыслы. Перформанс производил совершенно неизгладимое впечатление!

В изобразительном искусстве почти все проекты Анны связаны с гендерной тематикой. Среди них самые известные – серии постановочных черно-белых фотографий «Фигуры Закона», и «Фигуры Закона 2», в которых персонажи московской арт-тусовки, взяв на себя определенные роли, предстояли в обнаженном и символическом виде, как правило – с подходящими образу атрибутами. Однако большая часть работы Ани неоценима и эфемерна, она заключалась в ее влиянии, в среде и атмосфере, которую она создавала своим присутствием.

3. Да, безусловно, многогранность Анны Альчук плодотворна. Любознательная и увлекающаяся, Аня обладала духом исследователя. Конечно, изобразительным искусством и поэзией дело не ограничивалась – в круг ее интересов входили философия и история искусства, эзотерика и

психология, люди. Аня с удовольствием открывала, представляла просвещенной публике начинающих поэтов и поэтесс, художников и художниц. Бескорыстно и искренне она открывала вновь прибившим двери в артистическую среду, помогала раскрыть уникальность, творческий дух.

Приехав однажды из Нью-Йорка, Аня знакомила нас с теорией гендерного движения на Западе, мы рассуждали о сходствах и различиях, вдохновлялись на создание общих арт-проектов – групповых выставок.

Многогранность Анны Альчук удивительно сочеталась с ее внутренней целостностью: мягкая в общении, неизменно деликатная и доброжелательная, Аня на все имела собственное мнение и строго придерживалась принятых ценностей, не признавая компромиссов. Соединение таких, казалось бы, противоположных черт характера придавало ее образу мистическую глубину. Наверное, именно благодаря этой целостности и глубине у Анны Альчук все получалось, и все имело принадлежность к ее личности, обладало ее неповторимыми чертами.

Мысль об Ане вызывает во мне благодарность и нежность.

Юрий Орлицкий

поэт, филолог, стиховед, доктор филологических наук

1. Могу судить только о поэзии Альчук, которая действительно представляется мне направленной в будущее и при этом – явно недоосуществленной; скорее – набором эвристических идей и проб, чем окончательно выполненным и завершенным проектом. Впрочем, то же ведь можно сказать... ну, например, о Пушкине.

А идей у Анны было действительно много, и некоторые из них успешно реализовываются сейчас теми, кого очень условно можно назвать ее последователями: например, в области визуальной поэзии или в создании своего рода метрических коллажей: построении строк из фрагментов, написанных разными размерами, в чем Альчук преуспела.

2. Опять же могу говорить только о стихах. Трудно выделить самое интересное для меня, и все-таки собрание стихов, выпущенное НЛО (Альчук А.А. Собрание стихотворений. Предисл. М. Рыклина; сост. и коммент. Н. Азаровой и М. Рыклина. М.: Новое лит. обозрение, 2011. 350 с.) – издание наиболее представительное. Хотя с точки зрения визуальной (а для Альчук она была едва ли не самой главной) не меньший, – а иногда и значительно больший – интерес представляют ее миниатюрные книги: «Двенадцать ритмических пауз», «Сов семь», «Словарево», «Движение», «не Бу», каждая из которых – самостоятельный вербально-визуальный проект, что, к сожалению, совершенно теряется в «Собрании», достаточно полном в смысле объема, но очень многое потерявшем в передаче индивидуальных особенностей каждой отдельной книги.

Однако современному исследователю важно и то, и это – думается, что читателю и зрителю тоже – если предположить, что таковые еще имеются в нашем так быстро меняющемся мире.

Важным дополнением к поэтическим изданиям Альчук является и сборник интервью «Противостоять на своем» (СПб: Алетей, 2009). В него вошли разговоры Анны с философами, художниками, переводчиками, писателями (Ирина Нахова, Вера Митурич-Хлебникова, Валерий Подорога и др.), позволяющие оценить систему взглядов поэтессы, в том числе и эстетических.

Великий Генрих Сапгир справедливо писал: «Стихи Анны Альчук трансцендентны, герметичны, лиричны». С ним не поспоришь!

3. Многогранность плодотворна всегда, и творчество Анны – не исключение, а скорее подтверждение этой прописной истины.

Надеюсь и верю!

Наталья Фатеева

филолог, лингвист, семиотик, доктор филологических наук

1. Анна – прежде всего замечательная поэтесса. Я много писала о стихах Анны Альчук, потому что, какого бы явления современного поэтического языка я ни касалась, именно в них я находила наиболее чистое его выражение.

Хотя у Анны Альчук и не было специального филологического образования, она была интуитивным лингвистом, глубоко чувствующим законы языка. Поэтому в последнее время Анна Альчук часто выступала на филологических конференциях и семинарах, посвященных проблемам поэтического языка, прежде всего в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Она была одним из организаторов международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа XX–XXI веков и современные литературные стратегии» (Москва, ИРЯ РАН, май 2003), по материалам которой издан сборник «Поэтика исканий, или Поиск поэтики» (М., 2004). В этом сборнике опубликованы тексты докладов, выступлений и оригинальных художественных произведений, представленных на этом мероприятии. Напомню, что на поэтическую часть (поэтические чтения) этой конференции-фестиваля были приглашены ведущие российские поэты, живущие на родине и за рубежом. И в этом большая заслуга Анны Альчук, которая сумела организовать заинтересованный и живой диалог ученых и поэтов, причем в ряде случаев поэты выступали как с чтением собственных произведений, так и с докладами, представляющими общие и личные литературные стратегии. В этом смысле Альчук была одним из самых ярких «докладчиков», демонстрирующих, как текучесть и подвижность языка позволяет совмещать в современной поэзии авангардизм с архаикой, чисто национальные особенности словотворчества с межъязыковой интерференцией. Все эти особенности в первую очередь присущи поэзии самой Альчук. Поэтому Анна не только филологическая поэтесса, но и поэтесса «для филологов» – ведь чтение ее текстов всегда сопровождается открытием новых потенциальных возможностей языка.

2. Анна была прежде всего «поэтессой» женского рода: в ней всегда чувствовалось сильное женское начало, что придает ее текстам особую «пронзительную» тональность. Однако при этом глубинное напряжение всегда получает эмоциональную разрядку, и в результате почти всегда ее стихотворения оканчиваются на светлой доминанте. Скажу более, поэзия Альчук является поистине искренней, что достаточно опасно в нашем жестком мире, но Анна никогда не боялась открыто «высказать себя». При этом ее поэтический дар органично сочетался с даром художника: поэтому ее тексты говорят не только словами, но и изобразительными линиями, позволяющими увидеть внутренний смысловой и эмоциональный рисунок.

Все тексты поэтессы указывают на ценность каждого звука и любой буквы текста, которые даже в роли служебных слов становятся смыслообразующими. Недаром у А. Альчук существует целый цикл визуальных стихов «Простейшие», в которых из отдельных букв порождаются «черные квадраты» стихов. Визуализация значимости и значения звукобукв и отдельных частей слов при помощи различных шрифтов, смещений их расположения, а также их переворачивания создает изобразительность и иконичность текста – образный смысл в нем создается не только за счет значения языковых элементов, но и за счет семиотизации их формы.

3. Многогранность – свойство любого талантливого человека. В Анне она сочеталась с удивительной способностью соединять творческих людей из разных сфер жизни, тем самым расширяя культурное пространство. Причем она это делала совершенно бескорыстно.

Очень благодарна Богу, что такой человек встретился мне в жизни.

Владимир Аристов

поэт, прозаик, эссеист, исследователь культуры, доктор физико-математических наук

1. Говорить в полноте о том, что создавала и оставила в памяти Анна Альчук, должны те, кто непрерывно следил за ее творчеством. Наши встречи и обсуждения с Аней происходили эпизодически, – поневоле приходится упоминать себя, поскольку судить извне и «объективно» о ее активности я не могу, а лишь коснусь того, что знаю немного лучше, при том, что для меня много значили душевные, человеческие отношения с Аней. Знакомы мы с 1980 года, тогда же несколько раз выступали с совместными поэтическими чтениями. Но устремления наши были все же различны. Хотя некоторые пересечения в поисках были сходными. Всегда ее отличала настроенность на стихотворную эвфонию. Звукоизвлечение музыкальное из словесных рядов – было для нее стихийной или осознанной задачей: вначале следуя классическим образцам и технике, затем – отчасти под влиянием Олега Юдаева (Глеба Цвеля) и некоторых других поэтов, тут можно вспомнить ее интерес к тому, что делали и авторы «Транспонанса» – в авангардных или «сверхавангардных» вариантах. Причем ее графические, иконографические, фотографические, перформансные работы – тоже были выразительны, можно вспомнить впечатляющую серию «Простейшие». И формальные, теоретические изыскания ее вдохновляли. Но поэтическое во всех смыслах все же было доминирующим, причем у нее здесь был ориентир на мировую широту обращений: достаточно взглянуть на авторов, чьи эпитафии (или на кого были скрытые указания) она использовала для своих стихотворных произведений: Гарсиа Лорка, Крученых, Мандельштам, Гуро etc.

2. Аня шла своим маршрутом, активность ее в разных направлениях росла, я не успевал следить за ней, и наши пересечения были в общем-то мимолетны. В конце 80-х она стала сближаться (отчасти) с концептуализмом, для меня такой опыт был труднопредставим. Мы все же встречались, порой неожиданно, допустим, на лекции Деррида, приехавшего в Москву. Или – и это было наше общее направление интересов – в некоторых изысканиях по гендерным теориям и практикам (феминизм уже тогда представлялся боковым ответвлением). Она ведь была чрезвычайно активным участником этого движения, что проявлялось в разнообразных формах, – меня она пригласила, и я участвовал в коллективном сборнике «Женщины и визуальные знаки». Во многом наши суждения совпадали, хотя и не во всем. Она направляла некоторые течения, движения или единичные художественные действия и акции. Приведу один пример: в 1999 году она привлекла меня в жюри конкурса в международном проекте по написанию эссе на тему, предложенную Веймаром – в тот год культурной столицей Европы – «Освободить будущее от прошлого, освободить прошлое от будущего?». На сломе тысячелетий тема о времени была актуальной. В жюри были и Михаил Рыклин (председатель), Валерий Подорога, Лев Рубинштейн и Ирина Жеребкина – гендерный исследователь. Аня, формально не входившая в жюри, изучила тщательно все эссе, присланные на конкурс, и именно она определяла многие направления суждений (победителем в том конкурсе на разных языках, в котором участвовали сотни авторов из разных стран, стала российская участница).

3. Главное, что Аня была и оставалась поэтом, при этом двигаясь в мире словно бы по нескольким направлениям. Сознвая с самого начала трудность и даже возможную драматичность такого пути. Хотелось бы привести слова Артюра Рембо из одного из его писем: «Поэт вступает в неизвестное... он может погибнуть в гигантском прыжке через неслышанное и безымянное...». Аня искала новое, и достижения ее были для меня видны, несмотря на разногласия. Приведу ее короткое, но столь значимое стихотворение (с цветаевским эпитафмом: «Выше! Выше! Лови – летчицу!»):

покидая орби
 Ту-104 рвану
 не в нирванну
 не в нольпока

в лазаром вызнанный
 зев разве?
 рз
 ающий Путь

Борис Шифрин

поэт, исследователь культуры, кандидат физико-математических наук

1. Привычная и вполне разумная формула «вклад в культуру» в случае Анны Альчук кажется не совсем подходящей. Попробуем подойти немного иначе, чтобы не вспугнуть (не вспугнуть мысль?). Вот лежит на дороге что-то деревянное; или что-то механическое; или лоскут ткани, что-то из ниточек. Можно остановиться, увидеть в этом нечто иное, придумать концепт. Но художник совершает одновременно два поступка. Он вдыхает в «это» жизнь (анимирует, одушевляет). И он дает этому некий духовный облик. Жизнь и дух – не вклад в культуру. А вот культура – деятельность, создающая условия для того, чтобы жизнь могла быть воспринята как благо. Эта истина (восходящая к Альберту Швейцеру) является для меня очевидным моментом той светочной среды, в которой проступает ощущение Аниного присутствия, мысль об Ане. Но надо уточнить. Аня не была магом, хотя и обладала такой способностью в высокой степени. Ее тексты – не анимации. Они – ре-анимации. Она реанимировала язык (думаю, что и графику), всё, к чему прикасалась. Ребенок знает, что всё вокруг живое. Слово можно составить из бабочек и улиток, из сосновых иголок. Они же и слоги, и буквы, и случайные расположения, ...собрания по два, по три, островки, как в китайской живописи (взятое в скобки, но скобки как бы под вопросом). Каждая может улететь, уползти, быть подхваченной ветром (страница – она здесь, а ветер – нечто нездешнее. Откуда-то оттуда). То, что все это держится вместе – некое чудо. Кто-то просит об этом, побудьте, задержитесь. Но потом об этом просящем мы забываем. Культура в нем не нуждается. Потом мир застывает. И язык обретает готовые формы, затвердевает. Тут нужен легкий сдвиг, воображение спасения в детскость. О чем мы можем прочитать и у Лао-цзы, и в Нагорной проповеди. Но в случае Ани это было (больно произнести уместное в данном случае слово, но придется) не религиозным, а артистическим даром (измерением). Она как бы умела летать не только во сне. Но была ли она феей слов? Занималась ли волхованием? Я не нахожу решения внешней задачи (или целенаправленности) в этом поэтическом действовании. Оно было свободным.

Анины стихи всякий раз оставляют во мне ощущение открытия, в прямом смысле этого слова, как это описал Пастернак, состояние, когда открытие (или открывание) окон начато и еще не закончено, не завершено. Ветер – это немного нездешнее, как и голоса, которые мы слышим. Слово открытие я слегка противопоставил бы слову изобретение. Кажется, что Альчук, мастер визуальной поэзии, действует виртуозно и изобретательно. Но изобретатель направляем целью (как некой доминантой). А в этих странностях и причудливостях удивляет неожиданность и спонтанность. В этом, как и во многом другом, поэтика Анны Альчук перекликается с творчеством Елены Гуро.

Я не верю в реинкарнацию, но тут еще есть и личное обстоятельство. Аня приехала в Санкт-Петербург и позвала меня сопроводить ее в предстоящей экскурсии. Мы оказались в Музее авангарда, в доме Матюшина и Гуро, где стены двигались вдоль стен, и стены раздвигала Аня

Альчук, – она сразу уловила этот намек, стена была наложена на стену, коллаж стен позволял расширять экспозицию. Но таковы и стихи Ани, где слова как плоскости, но только тише, намеком, заходят друг за друга, как листья на дереве (так я написал где-то в 2009-м, в отрывке о поэтике намека в русском авангарде. Но этот способ письма, намек, превращается у Альчук в уникальный поэтический феномен, о чем надо говорить особо)... Это был единственный случай, когда я мог увидеть Аню в другой ее ипостаси, – как человека, профессионально воспринимающего и преобразующего выставочное пространство: куратора, дизайнера (к сожалению, я не знаком с ее собственными проектами и судить о них не могу).

2. Сразу перейду к вопросу 3, относящемуся к интегральности и плодотворности деятельности. Проекты, исследовательские и кураторские, естественно мыслить в перспективе будущего. В таком случае художник выступает в роли прогностической, что можно мыслить двояко. Во-первых, проект уже сам вступает в борьбу за будущее, творит будущее, одновременно, своей судьбой, являя и диагноз времени. Мы понимаем, что этот диагноз оказался точным. Во-вторых, профетическая нота свойственна большим поэтам, и Анна Альчук подтвердила это. Но ее поэтическая речь не могла присвоить себе ни интонацию, ни пафос библейского пророка. В этой поэзии возможны были только лирические пунктиры. И увы, предвиденья сбылись, в ближайшем смысле слова. А поэзия, в отличие от выставки, открыта будущему еще и совсем в ином плане, в том смысле, что у нас ведь нет не только готового образа будущего, но и самого концепта «будущее». И если когда-нибудь мы, от нынешнего хаоса и сетования на то, что этой вещью (будущим) мы не владеем, не распоряжаемся (а гарантий непременно требуем!) – придем к другому пониманию, то в свете этого (сейчас даже не чаемого) преобразования мы по-новому увидим эту поэзию.

Но, коль скоро речь идет о деле поэта как особой миссии, если угодно, о функции поэта в культуре, то тут я попробую высказаться с полной определенностью. Бывает так, что личная забота поэтического Я оказывается делом связи, преемственности (которая и есть культура). И сближение с Еленой Гуро кажется мне приметой грядущей катастрофы, ситуации на грани веков. Поэзия авангарда предстает в этом случае той самой ре-анимацией: ре-анимацией символизма, вне которого никакой культуры вообще нет. Не только Гуро, но и Хлебников должны быть истолкованы как мастера, давшие новую жизнь символическому бытию языка и, в частности, возвратившие ему детский взгляд на мир и (тоже детскую) веру в магию слова. Разрыв связи поколений («время вывихнуло сустав») сейчас, как никогда, означает символическую неполноценность быющего себя в грудь «настоящего». Поэзия Альчук осмеливалась брать на себя роль связующего звена. То, что это происходило на грани тысячелетий, делает эту символическую миссию еще более важной. Хуже всего то, что мы почти и не заметили этой грани. Сначала казалось, что поезд мягко перевалил через границу.

3. Теперь обращусь к вопросу 2, о том, что для меня выходит на первый план в деятельности Анны Альчук. Мне сейчас трудно было бы припомнить впечатление от отдельного стихотворения, цикла, книги. Вернее было бы попытаться выразить образ этой поэзии в целом.

Намеки, превращения слов, неожиданности. Часть слова оказывается другим словом. Буква, выделенная в качестве отдельного явления, усиливает смысловую неоднозначность. Но если в научном описании двусмыслица расценивается как недостаток, а в бытовой ситуации как переключение высказывания в жанр анекдота и т.п., то в поэтической традиции полисемия, омонимия, языковая игра, слова-портмоне (как их называл Льюис Кэрролл) – всё это является источником смысла. Таковы и недомолвки, паузы, невербальные выразительные акты.

Намек – феномен символически-углубленной культуры. Вдруг, под сурдинку, дают о себе знать какие-то средневековые интонации. Но это и традиция Хлебникова: «видение» пульсации масштаба не только вводит тему уподобления микро- и макрокосмоса, но, не удерживаясь в рамках визуальных моделирующе-экранных репрезентаций, имеет в виду сердце как особый орган

вслушивания-синестезиса. Вслушиваться, примечать, чутко откликаться на намек; но и помечать, оставлять отметину, насечку на досках судьбы, царапину на небе; предвещать.

Сергей Бирюков, осмысляя поэтические орудия, актуализируемые в поэтике Анны Альчук, отмечает разрезы, феномен отделенных частей слов и отдельных букв, что-то вроде осколков стекла. В том же выпуске журнала «Дети Ра» (2009, № 11 (61)) я тоже склонялся к коллажному восприятию (страница выступает площадкой для поэтической экспозиции). Осколки и зияния в таком понимании имеют прежде всего пространственную выразительность. Но ведь это еще и остановки, паузы! Но наиболее остро ощущается даже не это, а виртуальность этой манифестации. Придется повторить сказанное в начале этих заметок, чтобы добавить еще одно определение.

Слово, строку можно составить из бабочек и улиток, из сосновых иголок. Они же и слоги, и буквы, и случайные расположения, ...собрания по два, по три, островки, как в китайской живописи (взятое в скобки, но скобки как бы под вопросом). Каждая может улететь, уползти, быть подхваченной ветром: страница – она здесь, а ветер – нечто нездешнее. Откуда-то оттуда...

Итак, перед нами уже не музейная акция экспонирования. По-видимому, эти реалии обязаны своим здесь-сейчас-пробыванием не каким-то фиксирующим булавкам (как насекомые в этимологической коллекции), а всецело воздушной стихии. Хотя, когда я дую на бумагу, буквы все же не улетают. Самое трудное при рефлексии/описании этой поэтики – дать имя отдельной группе знаков. Композит? Слово? Слог? Буква? Этот текст не является конструкцией, построенной из единиц языка. Ну, скажут, для анализа это не помеха: в случае визуальной поэзии мы имеем право мыслить текст не как конструкцию, а как композицию, и могли бы просто отменить какой бы то ни было вопрос о единицах (и даже составе) текста. Но эти реалии, островки (и т.п.) все же не просто изобразительные штрихи, пятна, элементы, узоры из пыли на пластинке Хладни (если воспользоваться метафорой Хлебникова). Они свой семантический заряд получают не только от композиционной функции. Какое название найти для них? Предлагаю, заведомо понимая недостаточность этого имени, назвать их (в рабочем порядке) *аэроглифами*.

Этим именованием кое-что проясняется. Вот мы видим букву (или пару смежных букв), выделенную крупным шрифтом. Какой смысл привнесен самим этим выделением? Так спрашивать нельзя, смысл обретает только знак, а не отдельный элемент. Но я говорю о событии явления (явления). Немотивированное укРупнение может знаменовать изменение дистанции. Приближаясь к моим глазам, эта реалия как бы воспаряет над страницей. Тем самым виртуально образуется и место на листе бумаги, над которым парит эта реалия. Вот я и назвал ее аэроглифом.

Но этот летающий иероглиф, это парящий остров иного, он иногда нечто вроде бумажного змея, натянутого на каркас. Каркас сделан из проволочек или веток, а с обычной точки зрения он не что иное, как скобки. Конечно, взятое в скобки вообще находится не здесь, это запись, не обязанная соотносить себя (синтаксически, семантически, как угодно) с объемлющим текстуальным пространством. Но пройти сквозь эти ветви внутрь, в этот скобками обособленный локус иного (а пройдя, выйти), почему-то так просто не удается, что-то цепляет, а сам этот, способный взлететь посланец иного – переломан, искривлен, часть его на одной строке, другая на другой, да еще и цепляются за него те ветви и стебли, которые лезут сквозь ограду и не пускают, словно прилепляются анаграмматическими присосками, охватывают. И вот он иногда притуляется к странице онтологически ущербным, бедственным образом, как притуляется в выставочном зале подвешенный к невысокому потолку ЛЕТАТЛИН, прекрасная птица, которой взлететь не дано.

Я мог бы подтвердить это мое виденье рядом примеров. Но исходные вопросы были общими, и заменить ответ на них конкретным разбором было бы уклонением от темы. К уяснению общих вопросов я, видимо, мало что могу прибавить. Мой набросок – только контур, силуэт. На этом пути вряд ли можно охватить целостный феномен творчества, тем более выходящего за рамки поэтической работы. Но вопрос об интегральности затрагивает, как мне кажется, интуицию полноты. Каковы пространства исполнения этой поэзии? В моих заметках я попытался передать

ощущение недостаточности визуального, акустического, семантически-языкового пространства для осмысления поэзии Анны Альчук. Требуется интуиция дыхания и осязания (ибо пробираешь сквозь ветви); требуются и другие орудия восполнения, синестезис детского чувствования, воображения и боязни. Ибо нельзя думать об этой поэзии не чувствуя, что эти иероглифы, отдельности и островки чудом удерживаются на бумаге.

Дмитрий Булатов

художник, теоретик искусства, куратор

1. Мне трудно оценить все аспекты деятельности Анны. Так получилось, что более всего мне знакомо её поэтическое творчество. В конце 1990-х – начале 2000-х годов я занимался исследованием экспериментальной поэзии, звуковых и визуальных поэтических практик. Поэтому считаю важным говорить об Анне Альчук прежде всего как об экспериментальном поэте. Эта её ипостась кажется мне имеющей ключевое значение.

Экспериментальная поэзия никогда не была «лёгкой» формой. Она требует от читателя иной оптики – вовлечённого вслушивания, всматривания в тексты. Это не пассивное восприятие, а настоящее соучастие: действие, которое требует внутренней работы. Не каждый читатель к этому готов. В XX веке – времени, когда литература разделилась на визуальную, перформативную и сонорную составляющие – эти требования только усилились. Поэты всё чаще стали настаивать на таком «сотворчестве»: со-написании, со-произнесении, со-вглядывании, со-прослушивании.

В отличие от литературного мейнстрима, где в паре «автор – читатель» последний играет роль ведомого, а текст существует как нечто статичное и завершённое, современная поэзия – текуча по определению. Такие тексты существуют в режиме постоянного перезапуска – «роет in progress» – и активируются вниманием читателя. Нарочитая расфокусировка или кажущаяся «расслабленность» текста часто принимаются за незаконченность формы и её непроработанность. Такой текст «срабатывает» только тогда, когда читатель становится соавтором: фокусируя внимание, он перестраивает внутренние смысловые связи по ходу чтения-исполнения.

Анна Альчук, одна из немногих поэтов своего поколения, хорошо сочетала это умение достичь эффекта речевого фона и сфокусировать внимание читателя. Её тексты строятся на тонком балансе между шумом и возможностью индивидуального чтения. Как в своих условно минималистских стихах, состоящих из одной-трёх строк (“смех схем”, “спасибо(г)...”), так и в более развернутых текстах она выстраивает многоуровневую речь, где различие между уровнями не размывает смысл, а делает его возможным. Полифония её письма достигается через конкретные техники фокусировки внимания: через вариацию кегля, множественность слов-компонентов и направлений чтения, графический контрапункт, звукопись, редукцию. Так формируется подвижная, перезапускаемая архитектура её стиха, каждый раз звучащего по-новому.

2. Мне хорошо запомнился поэтический цикл «ОВОЛС» Анны из её книги «Словарево». В этом цикле она работала с небольшими и ёмкими формами. Такой тип минимализма хорошо укладывается в звуковые и перформативные художественные практики и работает на создание концентрированного языкового поля. Именно этим – сжатием, сгущением текстового ландшафта, формированием точек разрыва – и занимается экспериментальная поэзия. В этом цикле на десяти-двенадцати строчках каждого текста Альчук разворачивает сложную систему смысловых вариаций, графических и, прежде всего, музыкальных акцентов. Последние ощутимо преобладают: тексты написаны с чётким пониманием музыкальной формы и обладают звуковым единством. Каждое стихотворение легко прочитывается как партитура короткого (30-40 секунд) саунд-трека, где динамика строится на высоте и длительности звуков, шумовых элементах речи и температуре дыхания.

Вот, например, фрагмент её «двуканального» чтения:

(...)
 наст
 ось льна
 сталь рельс
 лень ласт
 тог рас
 нос ста
 рот сот
 лес сел
 стан лань
 НОЛЬ

В этом отрывке чётко видна роль дыхания как её поэтического инструмента – не метафорического, а вполне физиологического: дыхание у Альчук становится мускульным выразителем эмоции, а, значит, важнейшим передатчиком психологических процессов речи. Неудивительно, что дыхание и звучание её текстов в итоге получали графическое воплощение – и отдельным буквам здесь порой отводилась решающая роль. Пространственная композиция стихов цикла «ОВОЛС», их сквозная структура, сведённая к графемам, формально улавливает и поддерживает смысловые колебания текстов. Неустойчивость авторского монолога – то приглушаемого фоновым многоголосием, то разрываемого вдохом – создаёт интуитивный ритм восприятия. Момент удивления перед фрагментами такой речи совпадает с постепенным узнаванием: в этих строках – неявно, но ощутимо – передаётся то скрытое знание, которое из поколения в поколение и делало поэтов поэтами.

3. Как я сказал, для меня поэзия Анны является определяющей, центральной частью её творчества. Это – «первопричина», которая описывает то, что Анри Бергсон называл «жизненным порывом» – то, что человек делает по жизни. Из этой первопричины последовательно разворачивалась вся культурная биография Анны Альчук. Например, «пористость» её поэтической речи, взаимосвязанность звуковых и визуальных сторон её поэзии, приводит нас в пространство визуального искусства, объясняет интерес Альчук к концептуальному искусству. А, скажем, ориентация на перформативные аспекты речи даёт ключ к её кураторским практикам. Физиологичность поэтического акта, которую Анна последовательно исследовала, становится основанием следующих итераций её творческого становления – например, то внимание, которое Анна уделяла фем-оптике: работе над проектом «Женщины и новаторство в России» или, скажем, редакторской работе над сборником «Женщина и визуальные знаки», оказавшимся принципиально важным для художественного сообщества того времени. Иными словами, я уверен, что многогранность творческой деятельности Анны Альчук является прямым следствием её поэтического стиля, структурной, а потому – конституитивной основой её мышления. Именно эта цельность делает фигуру Анны по-прежнему важной и интересной – и косвенно это подтверждается тем, что её значение для искусства мы обсуждаем и сегодня.

Татьяна Данильянц

поэт, кинорежиссер, художник, исследователь культуры

1. Конечно, в самой формулировке «вклад в культуру» есть стремление посмотреть отстраненно, объективизировать. Достаточно ли прошло времени? Думаю, да.

Познакомившись с Анной в 1997 году (а она относилась к более старшему поколению поэтов и художников, уже весьма заметному на культурной сцене Москвы), я была сразу вовлечена в круг ее проектов и идей. Вместе с ней я поучаствовала в большой выставке, который курировала искусствовед Лариса Кашук (в 90-е стал праздновать себя институт куратора: именно куратор формообразовывал будущую выставку, создавая ее концептуальный контур, и далеко не всегда речь шла только о теме). Позже Анна предложила мне принять участие в своем проекте «Фигуры закона-2», – очень ярком, смелом и умном проекте. В то время я не нашла в себе куража сняться обнаженной, даже для интересного проекта. Но проект осуществился и, надеюсь, в той или иной мере полноты он будет однажды снова предъявлен зрителю.

Начав публиковаться в ранней молодости (со второй половины 80-х), Анна сразу стала неформальным лидером, носителем *нового*: идей, замыслов, поступков. Как и другая замечательная поэтесса, Елена Кацюба, к сожалению, тоже ушедшая, Альчук образовывала вокруг себя *движение*. Вокруг нее всегда что-то происходило: проекты, дискуссии, – и это «что-то» было самого высокого уровня, класса.

С ее стихами, я, принадлежавшая совсем другому поколению поэтов, с другим бэкграундом и «дорожной картой», познакомилась, думаю, в конце 90-х – начале 2000-х. Несколько раз мы вместе участвовали в поэтических чтениях. Ее стихи, конечно, не могли оставлять равнодушным. Анна «гнула» слово, так же естественно, как дышала: вдох-выдох. У нее был особый дар чувствования языка, его возможностей, не только пластических, но и смыслово-пластических, дар, которым, мне думается, владеют единицы. Позже ей подражали, от нее отталкивались, на нее ориентировались другие авторы, от этой ее уникальной способности видеть, слышать, осязать, *прозревать* Слово в его предельной звуковой глубине.

90-е были временем открытий. В том числе осмысления роли и места женского искусства, искусства, созданного женщинами. Анна Альчук, Мария Чуйкова, Наталья Каменецкая, Ирина Нахова, Елена Елагина, Вера Хлебникова, Людмила Горлова, Наталья Турнова, Татьяна Антошина и многие другие художницы активно работали с темой гендера, переосмысляя роль женщины в культуре. Анна одной из первых в постперестроечные годы обратила внимание на женщину и ее творческие проявления в самом широком смысле слова, сделал это одним из главных фокусов своей деятельности куратора и художника.

2. Книга Альчук «Словарево» (2000), вобрала в себя многочисленные эксперименты Анны в областях визуальной поэзии. «Сов семь», «Словарево», «Простейшие», «Оволс» – к каждой из глав этой удивительной книги написано свое предуведомление. Авторы – философ Михаил Рыклин, поэт Всеволод Некрасов, теоретик искусства и художник Дмитрий Булатов. Думается, эта книга – центральная для понимания и распознавания авангардных поэтических стратегий Анны Альчук. Значение этой книги для визуальной поэзии, да и для поэзии в целом, трудно переоценить. Я бы назвала ее «настоятельной книгой поэта-авангардиста».

Не меньший интерес представляет и книга «Женщина и визуальные знаки», тоже изданная в переломный 2000-й год. Анна Альчук выступила составителем, редактором и автором вступительной статьи. К сожалению, нет возможности углубиться в подробный анализ структуры и содержания этого многоголосого свидетельства рубежа веков, но, безусловно, это книга внесла важный вклад в осознание места и роли женщины в российском постперестроечном обществе.

3. Думаю, что работа интеллектуальная и чувственная, одновременно в разных «материалах» и «материях», позволяла Альчук достигать большой глубины. Концептуальное мышление, нацеленное на решение определенной творческой задачи, обостряла ее интуиции и чувство формы. Она препарировала слово, анализируя его, сознательно и стихийно одновременно, задействуя весь свой художнический инструментарий, отдаваясь этому полностью, до конца. Именно поэтому все ее проекты: книги, выставки, статьи обладают ошутимой целью и глубиной.

Обостренная чувствительность, о которой упоминают Анины друзья и подруги, помогала ей ощущать пространство слова одновременно в звуке, смысле и образе. Николай Заболоцкий, на которого Анна вряд ли ориентировалась, десятилетиям ранее вывел свою формулу стиха: Мысль – Образ – Музыка (МОМ). Можно сказать, что в случае Анны, это был ЗОС: Звук-Образ-Смысл.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Анна Альчук (1955–2008)

Родилась 28 мая 1955 года на Сахалине. Окончила исторический факультет МГУ. В 1980-е гг. редактор-издатель самиздатских журналов «Парадигма» (совместно с Г. Цвелем) и «МДП».

Стихи и визуальные тексты Анны Альчук публиковались в журналах «Черновик», «Транспортанс», «Декоративное искусство», «Журнал ПОэтов», «Новое литературное обозрение», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Другое полушарие» и др. Автор вступительных статей для каталогов, многочисленных рецензий на выставки и книги в периодике («Книжное обозрение», «Независимая», «Московская правда», «Коммерсант-Daily» и др.). Ее статьи и эссе публиковались также в журналах «Иностранная литература», «Художественный дневник», «Камера обскура», «Гендерные исследования» и др.

Была членом Союза литераторов России, русского ПЕН-клуба, Международной Академии Зауми (2002), куратором художественных выставок и сайта «Женщины и новаторство в России», а также редактором-составителем книги статей и интервью «Женщина и визуальные знаки. Избранные эссе». Ее персональные выставки состоялись в России и Европе (Великобритании, Германии, Швеции и др.).

Избранная библиография

Сборники стихов:

Двенадцать ритмических пауз. Стихи 1986-88 гг. – М.: Издательство Е. Пахомовой, 1994.

Сов семь. Стихи 1986-1989 гг. – М.: Издательство Е. Пахомовой, 1994.

Движение. – М.: Эслан, 1999.

Словарево. Стихи 1986-1999. – М., 2000.

РАМА. Стихи. – М., 2000.

Своими словами. – М.: АМО, Центр поэтической книги (ПЕН-центр), 2004.

не БУ. Стихи 2000–2004. – М.: Библиотека журнала «Футурум АРТ», 2005.

Собрание стихотворений. – М.: Новое литературное обозрение, 2011.

Стихи в антологиях, альманахах и сборниках:

Русская альтернативная поэтика. – Москва: МГУ, 1990.

Самиздат века / Сост. А.И. Стреляный, Г.В. Сапгир, В.С. Бахтин, Н. Ордынский. – Минск-Москва: Полифакт, 1997.

Точка зрения. Визуальная поэзия: 90-е годы. Сост. Дмитрий Булатов. – Калининград-Кенигсберг: Симплиций, 1998.

Поэзия безмолвия. Сост. А. Кудрявицкий. – М.: А & В, 1998.

Сергей Бирюков. Поэзия русского авангарда. – М.: Издательство Р. Элинина, 2001.

Диапазон. Антология современной немецкой и русской поэзии. – М.: Университет Натальи Нестеровой, 2005.

То самое электричество: *По следам XIII Российского Фестиваля верлибра*. Сост. Дмитрий Кузьмин. – М.: АРГО-РИСК, 2007.

Нуль лун. Стихи. Сост. Елена Кацюба. – М.: Изд-во Р. Элинина, 2009.

Сборники:

Женщина и визуальные знаки. Избранные эссе. Ред.-сост., автор вступительной статьи. – М.: Издательство Идея-Пресс, 2000.

Противостоять на своем. Книга интервью. Сост., автор вступительной статьи. – СПб.: Алетейя, 2009.

Статьи в сборниках:

Великий Генрих. Сапгир и о Сапгире (тексты о Генрихе Сапгире). – М.: Издательство РГГУ, 2003.

Поэтика исканий, или Поиск поэтики. Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа XX–XXI веков и современные литературные стратегии» (Москва, 16–19 мая 2003 года) / Ред.-сост. Н.А. Фатеева. Редакторы художественной части А.А. Альчук, С.Е. Бирюков. – М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2004.

Памяти Анны: [стихи и воспоминания, посвященные памяти Анны Альчук]. Сост. Т.Г. Михайловская – М.: Центр поэтической книги, 2008.

ПОСЛЕДНИЙ ПИТЕРСКИЙ ДЕНДИ: СТИХИ, СМЕРТЬ И РОК-Н-РОЛЛ

Памяти Анатолия Джорджа Гуницкого

Леди Смерть на Пушкинской

В истории русской культуры второй половины XX века Анатолий Гуницкий занимает особое место – между официальным искусством и андеграундом, между медициной и метафорой, между рок-н-роллом и театром абсурда. Его творчество, как и сама биография, строилось на осознанном отказе от канонов: не завершив медицинское образование, он ушёл в театроведение, а затем – в мир рок-поэзии и литературного авангарда.

Жизнь Гуницкого – это медленное растворение в языке, как вино в старом бокале, оставленном на краю стола. Он родился в городе, который сам был руиной империи, и научился говорить шепотом, пока другие кричали. Его стихи и пьесы – не монологи, а отсутствия голосов, следы слов, ушедших в подполье, как его герои: безбилетники, ангелы за прозрачными стенами, Леди Смерть на Пушкинской. Он писал так, будто каждая строчка – последняя, брошенная в темноту перед тем, как погаснет свет.

Гуницкий – поэт недосказанного, мастер оставлять фразы незавершенными, как будто смысл – это тень, которая ускользает, если на нее смотреть прямо. Его «Оркестр Другое» звучит там, где уже нет слушателей, а «ангелы» живут не в небе, а в щелях между словами. Гуницкий не боялся молчания – он превращал его в поэзию, где каждая пауза важнее сказанного: потому что она перебивает ритм то в неподходящий, то в самый подходящий момент.

Анатолий Гуницкий, он же Джордж, не просто стоял у истоков «Аквариума» – он был его нервной системой. Сооснователи были как два полушария одного мозга: Гребенщиков, давший нашему поэту прозвание в честь Харрисона – мистик, искавший просветления, Гуницкий – скептик, разбирающий мир на винтики и шпунтики. Их «Аквариум» 1970–1980-х напоминал самостоятельную лабораторию, где смешивались рок-н-ролл, джаз, бардовская песня и театр абсурда. Даже когда «Аквариум» стал культовым явлением, в его пространственных мифах жил призрак Гуницкого: этот абсурдистский юмор, эта игра в бред, которая вдруг разрывала воздух пронзительной правдой.

Гуницкий писал пьесы, которые ставили в театрах, и статьи, которые читали в самиздате. Беккета и Ионеско он прочел еще школьником в журнале «Иностранная литература». Его настоящей сценой был сам Ленинград позднего застоя и перестройки. Город, где официальный театр давно окаменел в условностях, а подпольные спектакли разыгрывались в квартирах, клубах, на чердаках. Его тексты ставили в перестройку и 1990-е не потому, что они были «сценичными», а потому, что они разрушали миф о «ленинградской Чухломе», как еще в 1926 году Адриан Пиотровский назвал театральную жизнь города. Оказалось, что театр возможен как постоянное открытие занавеса, что через пробы и ошибки может состояться тотальный театр, где зритель и актёр, автор и читатель постоянно менялись местами. За свою жизнь Гуницкий повидал много: он работал лифтером, администратором ДК, заведовал литературной частью театров, которых уже нет, и вел радиопередачи, которые знатки помнят до сих пор.

Его колонки в машинописном «Рокси», а потом в печатно-рекламном «Вечернем Петербурге» читали как прогноз погоды, пытаясь узнать, какой степени завтра достигнет свобода. Но все

ли читатели умели возводить свободу в нужную степень? Он придумывал псевдонимы (Старый Рокер, Бенедикт Бурых, Георгий Левин), как будто пытаясь спрятаться за ними, но в итоге лишь умножил себя.

Стихи Джордж Гуницкий не переставал писать ни в перестройку, ни в девяностые, ни в нулевые, создавая камерные антиоды эпохе распада: вот Леди Смерть в коже и заклепках устраивает перформанс на Пушкинской, а вот сам поэт, как денди апокалипсиса, деловито отмечает: «Часто мимо кладбища проезжаю... Кажется, я неплохо устроился». Это не ностальгия по утраченному – скорее, ироничный дзен поколения, понявшего, что слова о кладбище – это не крик, а заученный с детства рифф, «Как с детства заученная / Satisfaction». Стихи Гуницкого – словно записи на оборотной стороне времени, где каждое слово отбрасывает тень, но сама вещь уже исчезла. В них есть несомненная холодная ясность позднего Мандельштама, но без его веры в культуру, и горькая ирония Северянина, но без его переслащенного гламура. Это поэзия человека, который уже не ждёт от языка спасения, но всё ещё верит, что в его трещинах можно укрыться – как в «прозрачной стене», за которой «живут ангелы».

Прозрачные стены: как Джордж Гуницкий писал о мире, которого не стало

Строки Гуницкого часто движутся по закону обратной перспективы: «Если меньше стало больше / Я никуда бы не спешил». Это не игра антитез, а формула экзистенциальной арифметики, где вычитание становится единственным способом существования. Его ангелы – не вестники трансцендентного, а тени утраченных возможностей, прячущиеся в тех самых «новых углах» – тех, что остались за пределами лихих и не-лихих лет. Гуницкий 1990-х и даже нулевых – мастер превращать экзистенциальные кризисы в камерные квартирные трагедии.

Когда у него «день начинался не так, как заканчивался», это не поэтическая метафора, а бухгалтерский отчет о крахе реальности. Его «лабиринты тропинок» – идеальные декорации для театра абсурда, где смерть выходит на сцену без приглашения, а зрители (все эти «и ты – и я – и вы – и он – и она») слишком заняты привычным, чтобы заметить, как «параметры должного» растворяются в «педантичных параграфах прошлого». В этом мире, где птицы улетают вперед, но смотрят назад, Гуницкий оставался до смерти последним денди – тем, кто даже на краю пропасти умудряется сохранить фирменный питерский nonchalance: «Все как обычно / Все как всегда / Не более и не менее».

Студент-заочник театрального вуза публикует в 1981 году в машинописном журнале «Грааль» сокращенную версию курсовой под названием: «К вопросу о драматургической поэтике последних пьес Маяковского». Согласно Гуницкому, в «Мистерии-Буфф» (1918) персонажи – условные маски (Чистые, Нечистые), отражающие всемирный конфликт революции. Это метафизический театр, где нет типизации – только архетипы. В «Клопе» (1928) и «Бане» (1929) появляются социальные типы, выхваченные из советской действительности: мещанин Присыпкин, бюрократ Победоносиков. Это уже не абстракции, а узнаваемые портреты современников. Все было бы просто, если бы не странная структура конфликта. Постоянно вспоминая Ионеско, Гуницкий препарирует обе сатирические пьесы, споря с оптимистическими трактовками Маяковского в официальном литературоведении.

Пьеса «Клоп» – театральное обозрение, говорит Гуницкий, советский вариант эпического театра Брехта. Цепь эпизодов оказывается сильнее единства действия; пьеса сопротивляется утверждению советского классицизма. В ней нет на самом деле соцреалистического конфликта социально маркированных персонажей-характеров, но только столкновение эпох – Присыпкин в будущем сталкивается с Присыпкиным в настоящем.

Но из-за этого страдает сценичность пьесы – тезис о том, что мещанство неистребимо, и непонятно, что с ним делать, трудно соединить с показом воскрешения в будущем. Моралистический абсурд разъедает открытость будущего времени. Заметим, продолжая эту мысль, что

действия мещанина могут быть смешными, нелепыми, но не абсурдными. Поэтому Маяковский-абсурдист – это поэт внутренней речи (к сожалению, Гуницкий не обратился к этому термину М.М. Бахтина), в которой столкновение с мещанином одновременно жалкое, нелепое и странное. Ты пытаешься обличить мещанина, и в конце концов перестаешь слушать себя. В этом смысле мещанин – это то же, что капитализм для критической теории, начиная с Беньямина, его нельзя разоблачить, потому что он твои же разоблачения слишком быстро перекодирует внутри религии потребления.

Гуницкий пишет: «Здесь вообще непросто говорить о торжестве оптимизма, поскольку вторая часть пьесы крайне противоречива. Мейерхольду она удалась лишь частично, в основном благодаря конструктивистскому оформлению Родченко. Недаром во второй, неосуществленной редакции “Клопа” Мейерхольд хотел уточнить неясные моменты, связанные с будущим. В последующих постановках других режиссеров картины воскрешения Присыпкина были отнюдь не самыми удачными. Это, конечно, связано с определенной расплывчатостью общего замысла пьесы, хотя самое главное – разоблачение Присыпкина – в полной мере удалось Маяковскому». Итак, согласно Гуницкому, пьеса не сценична именно потому, что разоблачает Присыпкина не на общей сцене социальной жизни, а с помощью ряда всё более гротескных условностей и допущений, которые удаются как поэтические приемы, но не как драматургические. Это поэтический театр, предвестник театра абсурда.

В пьесе «Баня» Маяковский перестает быть *Брехтом внутренней речи*. В пьесе появляется традиционная интрига (борьба изобретателей с бюрократами), сюжет оказывается сценичным, Фосфорическая женщина добавляет сценичности драматизма, наконец, «пьеса в пьесе» всегда обогащает возможности сцены. Но возникает другая проблема. Конфликт не исчерпывается сюжетом: финал делает пьесу притчей о цикличности бюрократии, резко олитературивает пьесу. Победоносиков остаётся у власти – система не сломлена, несмотря на все сатирические навыки Маяковского.

Гуницкий пишет: «Центральное место в “Бане” занимает образ Победоносикова, и развитие действия пьесы связано с последовательным разоблачением истинной сущности этого персонажа и его приспешников. Следовательно, ведущий мотив – сатирический. Противоборство персонажей зачастую затрагивает лишь внешнюю сторону конфликта, положительные герои выполняют лишь служебные функции. Они нередко обрисованы Маяковским в одной плоскости, и вряд ли их можно серьезно воспринимать как воплощение героических, утверждающих идей. К тому же событийный уровень развития конфликта в большинстве сцен ничего не определяет. Весь третий акт (Победоносиков в театре) подчинен сатирическим целям, а о противоборстве героев здесь говорить почти не приходится». Итак, сценичность пьесы выигрывает, конфликтность – проигрывает. А значит, проигрывает и сатира, – и пьесу уже нельзя ставить как одну из сатирических пьес.

Для Гуницкого последние пьесы Маяковского – не сатира, а предупреждение. Они фиксируют момент, когда революционный идеал подменяется ритуалом, а язык власти становится новоязом. Эту ритуализацию быта Гуницкий и разовьет в своей пьесе «Смерть безбилетнику» (1988), где прием «пьеса в пьесе» становится основой одновременно сценичности и литературности, сама пьеса борется внутри себя, быть ли ей *Schauspiel* или *Lesedrama*, а персонажи в духе «Бани» соседствуют с условными масками.

В статье Гуницкий писал, сопоставляя «масочность» положительных героев и «образ-характер» Победоносикова: «Стало быть, маска – это уже не единственно возможная форма изображения человека? А из этого следует, что маскообразность положительных героев приводит их к художественной и жизненной неубедительности. Ведь единственной силой, всерьез противостоящей “победоносиковщине”, является позиция автора, проявляющаяся в абсурдности возникающих ситуаций и в публицистической заостренности авторских монологов, выраженных через высказывания персонажей». Его Рубашка, Кепка, Шляпа – это те же «перерожденцы» социалистического общества, только доведённые до логического абсурда. И здесь уже ни один монолог ничего решить не может.

Человек без билета: голос поколения, которому некуда ехать

Пьеса «Смерть безбилетнику» – это не просто комедия положений, но философский трактат, написанный языком гротеска. В ней нет персонажей в привычном смысле слова – есть маски, функции, роли, которые надеваются и сбрасываются с легкостью театрального реквизита. Персонажи здесь – не люди, а тени от мыслей. Сам текст становится метафорой театра, где режиссер, как один из героев пьесы, пытается поставить «правду», но сталкивается с невозможностью отличить игру от реальности. Джордж Гуницкий в драматургии – сгусток тревожной ясности, прорывающейся сквозь ткань обыденного абсурда. Его пьесы – не просто игры с условностью театра, но напряжённое всматривание в ту зыбкую грань, где социальная реальность, не выдерживая собственной тяжести, обрушивается в пустоту чистого жеста.

Диалоги в пьесе построены на принципе семантического коллапса. Персонажи говорят, но не слышат; спорят, но не мыслят. Их речь – это набор клише, заимствованных из судебных хроник, партийных докладов, бытовых пересудов. Когда Кепка произносит: «Паралакс сознания! Геоно! Воку!» – он демонстрирует, как язык превращается в механический шум, лишенный значения. Центральная сцена «народного суда» – это пародия на правосудие, где процесс важнее результата. Пуговица становится «уликой», но никто не задается вопросом, принадлежит ли она обвиняемому. Судьи спорят в духе перестроечной публицистики о «социальных корнях» преступления, но их дискуссия мгновенно скатывается в абсурд.

Главный герой пьесы сопротивляется не смерти – он сопротивляется самой идее билета, этой квинтэссенции на право существования. Смерть у Гуницкого не торжественна, она мелочна и бюрократична, как проверка проездных документов. И в этом – страшная правда о мире, где трансцендентное стало канцелярской формальностью, а душа – пассивом, который нужно постоянно оплачивать, чтобы не быть выброшенным на обочину небытия. И в этом бунте – последний отсвет человеческого достоинства в мире, где всё давно превратилось в бездушный маршрут от рождения к конечной остановке.

Герой умирает. Или не умирает. Или умирает, но не до конца. Или это вовсе не герой, а просто ошибка в системе координат, случайный путник на карте абсурда. Он якобы не платит за проезд, хотя потом билет нашелся – но разве смерть требует билета? Пьеса достигает размаха мистерии как раз тогда, когда билет находится.

Режиссер, пытающийся снять «правдивый фильм» о народном суде над безбилетником, – ключевая фигура пьесы. Его требования к актерам («скажите с подтекстом!») обнажают абсурдность самой попытки найти смысл в бессмысленном. Когда Рубашка кричит: «Смерть безбилетнику!» – а режиссер просит произнести это «более буднично», возникает вопрос, прямо относящийся к вопросу о сценичности: можно ли сыграть убийство «достоверно»? Или любая попытка представить насилие как «искусство» – уже кощунство? Обнаружение билета у «безбилетника» не разрешает конфликт, а лишь подчеркивает его бессмысленность. Контролер, потративший полтора года на поиски «преступника», теперь не уверен: «Берет вроде тот, а человек – другой. Или наоборот...»

В «Смерти безбилетнику» всё двоится: суд оказывается спектаклем, зрители – палачами, язык – набором бессвязных клише, но за этим карнавалом угадывается нечто более страшное – невозможность самой правды в мире, где все роли уже расписаны, а слова давно оторвались от вещей. Гуницкий не разоблачает – он фиксирует этот распад, как врач, знающий, что болезнь неизлечима, но продолжающий вести историю болезни с почти монашеской точностью. В «Смерти безбилетнику» он доводит до совершенства фирменный трюк – заставляет бюрократический новояз разложиться на глазах, вне зависимости от степени его сценичности. Его пьесы, будто записанные на бобину между репетициями «Аквариума», сохранили ту raw-энергию советского андеграунда, где абсурд был не эстетическим приемом, а единственно возможным общественно значимым языком на рок-сцене.

Гуницкий-драматург – мастер подтекста, который прячет за гротеском тонкую грусть последнего романтика. Особый шик – как он миксует высокий абсурд с питерским street-smart: когда персонажи обсуждают спектакль вместо суда, а суд вместо спектакля. Его Безбилетник – младший брат маяковского Присыпкина, но если герой «Клопа» хоть верил в собственную значимость, то персонажи Гуницкого уже понимают, что они лишь статисты в чужой постановке.

Оркестр Другое: когда всё уже кончилось

В стихах десятых и первой половины двадцатых годов Гуницкий пишет так, будто все уже приехали на свою остановку: «Баритон знает» – но что именно? «Добро пожаловать» – куда? Высокое («И Растрелли вдоль по Кирочной поет») всё чаще соседствует с абсурдно-бытовым («Я мог бы да но ни хрена / Тем более что минус два»), а смысл не рождается, а ускользает – ровно как в том сне, где герой «научился летать», но проснулся к реальности «трехногого фургона». Это поэзия точных наблюдений за распадом: когда «мы» уже не субъект, а просто грамматическая форма («Мы будем / Мы станем / Захотим / Зарыдаем»), а городская топография становится картой экзистенциальных потерь («На Большой Монетной / И на Малой / И на Средней / И на никакой»).

Остается только горькая, почти медицинская констатация: «Вам всё равно это не поможет / Даже если вы переплываете брассом / Через осенний Ла-Манш». В этой поэзии язык становится телом, пораженным меланхолией – оно истекает знаками, но не может родить смысл. Его строки – это не высказывания, а следы архаического жеста, где «Нева – вода» и «мы – чужие и свои» обнажают ту точку в символическом порядке, в которой слова распадаются на долингвистические пульсации. Здесь поэтическое – не коммуникация, а симптом невозможного катарсиса: «Всё что было / Этого не было» – это не игра с отрицанием, а свидетельство того, как субъект застревает в промежутке между семиотическим и символическим, между ритмом («двойные пятерные / большие тройные») и его крахом («простые никакие»).

Гуницкий пишет из этого разлома – его поэзия становится письмом *абъекта* (*атератительного*), говоря словами Юлии Кристевой, тем, что одновременно отталкивает и гипнотизирует, как повторяющийся в забвении обрывок: «Лечу больше Невы», название его книги 2021 года. Его поздние стихи – территория *хоры* (термин Деррида и Кристевой), материнского лона культуры, которое теперь лишь эхо («Почему бы и нет / Только что-то мешает») – пространство до языка, где пандемическая смерть («Нас забирает корона») не трагедия, а возврат в довербальное.

Гуницкий оставил нам не слова, а следы слов – размытые, как отражение в невской воде, где исчезает даже само исчезновение. Его тексты – это не памятник, а вечное *differance*, по Деррида: смысл, который всегда уже был в прошлом, но так и не наступил. Мы читаем его и слышим лишь эхо оркестра, который, возможно, никогда не играл – но без которого тишина была бы невыносима.

Елена НАЛИВАЕВА

ВОРОТЦА ВРЕМЕНИ

Алексей Ильичёв. Праздник проигравших. – Поэты антологии «Уйти. Остаться. Жить». – М.: Выргород, 2025. – 154 с.

Творчеству Алексея Ильичёва (1970–1995) имманентно присуща поэтическая строгость: его стихи почти всегда силлабо-тоничны, он стремится к точной рифме (ассонансами тоже пользуется регулярно, но и они достаточно сдержанны); рифмовка, как правило, перекрёстная, параллельная, опоясывающая – авторитарная. Говоря проще, вроде бы ничего нового в структуре Ильичёв не изобретает. Ольга Балла в своём предисловии к книге «Только я и холод» отмечает, что у Ильичёва нет, «кстати, никаких экспериментов с формой, поисков, игр с языком: слова значат ровно то, что они значат». Это замечание даётся в скобках, как попутное наблюдение на фоне того, что преобладают твёрдые формы, редки верлибры, текстам свойственна «графичная чёрно-белая речь <...>, скупые, точные штрихи».

Но есть среди всех текстов Ильичёва один изумляющий: в нём жёсткий, напряжённо-напружиненный структурный каркас прославляется мягкими, волнисто-плавными вставками в скобках, музыкальными *ritenuti* (замедлениями; в случае разбираемого стихотворения – внезапными). Они присутствуют в каждой строке восьмистишия, кроме последней, сплетаясь со всем остальным в темпово живую, *омузыкаленную* ткань. Этот текст подобен нотной записи в духе условного Валентина Сильвестрова, для которого нюансировка важна настолько, что он выписывает её буквально в каждом такте (например, в «Китч-музыке» или «Тихих песнях» 1970-х годов), не оставляя ни один без динамического оттенка или темповой ремарки, и указания *rit.* (*ritenuto*) особенно любимы композитором.

Зачем я (выпал из сустава)
Ноги (идушей) через поле?

Зачем я (выпал из состава)
Кислот и обратился (в соли)?
Зачем я (музыки) не слышу,
Когда играют на (трубе),
А (слышу) ниже или выше
Нежней, загадочней, грубей?..

Сам Ильичёв, пытаясь объяснить замысел, говорил о том, что слова в скобках «как бы находятся выше или ниже» в структуре стиха, и представлял их как замедления. Поэт увлекся китайской философией; нет сомнений – он интересовался китайским языком и его особенностями. Четыре тона разной направленности и один нейтральный будто звучат в его стихотворении. Положение конструкций в скобках ближе к началу строк (вторая, седьмая строки) ассоциируются с восходящими тонами; в конце строки – с нисходящими (первая, третья, четвёртая, шестая строки). В зоне золотого сечения стихотворения (пятая строка) слово «музыка», заключённое в скобки, располагается посередине. Подобная графика текста шатается маятником, раскачивает структуру, создавая объёмный эффект музыкальной процессуальности в на-бумажном пространстве. Строка же «золотого сечения» устроена в «нейтральном ровном тоне». Благодаря такому решению возникает иллюзия, что музыка звучит везде, что она разлита в универсуме, она вокруг героя постоянно. И герой слышит *музыкальное* помимо и за пределами её физических проявлений в игре, например, на инструменте – трубе. Герой слышит нечто большее, чем трубный голос или даже глас, разрезающий пространство благодаря блеску тембра: ему доступно «ниже или выше / нежней, загадочней, грубей».

В стихах Ильичёва всегда просматривается образ лирического героя, наделённого поэтическим даром, тяжёлым и невыносимым, от которого никуда не деться:

Я хочу тишины, а не слов
В тишине, в глухоте, в слепоте,
Чтоб куда-нибудь вглубь проросло
То, что тянет меня к высоте.

Звучащее внутри *вселенское музыкальное* мучит его, и лирический герой «притворяется себе глухим» и «все звуки в себе глушит». Невесомость и невыносимость поэтической миссии давит его, делает в привычном человеческом мире потерянным и неприкайным. Неприкайность просматривается в нарушении, изломанности скобками структуры стихотворения. Выделяются словосочетания «выпал из сустава» – «выпал из состава». Первое – физиологичное: подвернул ногу, оступился, произошла вынужденная остановка движения; второе – метафизическое: скобки обособляют словосочетание, и то, что далее упоминаются химические кислоты и соли, входящие в состав живых клеток, воспринимается сюрреалистически вторичным. К тому же «выпал из состава» – конструкция, в первую очередь навевающая мысли о поезде, об отцепившемся вагоне. Такая ассоциация работает в связке с топом поля из второй строки. Герой мал, одинок, потерян в бескрайности и удивлён, да не просто удивлён, а – *изумлён*. С ним происходит нечто за рамками физиологического самоосознания в физическом мире, и здесь уже проступает сквозной для творчества Ильичёва мотив смерти. Невольно вспоминаются в связи с этим строки стихотворения Андрея Белого «Из окна вагона»:

Пролетают поля росяные.
Пролетаю в поля: умереть...

В контексте рефлексий по поводу смерти можно ещё раз обратить внимание на химию: поэт схематично описывает простую реакцию нейтрализации, когда соль выпадает в осадок и образует сухой остаток в воде. Вода в стихах Ильичёва – тоже лейтмотив. Что ж: смерть, в каком-то смысле, и есть реакция нейтрализации – необратимая.

Применение скобок обнажает философскую анафору: экзистенциальный вопрос «зачем я?» Он поднимается трижды, и ответ на него в тексте, сплошняком состоящем из вопросов, как ни парадоксально, имеется: затем, чтобы «слышать ниже или выше / нежней, загадочней, грубей». Единственная строчка без скобок – последняя – резюме стихотворения, смысловая доминанта, суть. Поэт всегда оди-

нок и почти никогда не понят, но его стихи помогают понимать другим. Поэт – передатчик экзистенциального *ничто*, для читателя становящегося *чем-то*.

В этой глубинной философской несуразности прорастает странная трагичность, выраженная двояко: будто бы мимоходом, в скобках, и с документалистичной серьёзностью – за ними. Скобки парадоксально концентрируют внимание на самом главном, замедляя движение. Они – воротца времени.

Александр МАРКОВ

ПОСТЛИРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: СОБАЧКИ МИНУС ЛАЙ ПЛЮС НЕЖНОСТЬ

Юлия Закаблукоская. И маленькие гладкие собачки. Стихотворения. – М.: ЛитГОСТ, 2025. – 52 с.

Юлия Закаблукоская остается верной своей эстетике красноречивого и при этом очень общительного взгляда. Это красноречие всегда – в опосредовании несколькими косыми взглядами – и косо прошедшими в миллиметре от судьбы событиями: как шёпот, подслушанный сквозь стену, как обрывки разговоров в ночном трамвае, как внезапный смех в пустой комнате. Эти события вовсе не угрожали, но лучше писать о них стихи с достаточной дистанции.

Предыдущая книга Закаблукоской «У Джози убежало молоко» была книгой больших вычитаний – представим мир после смерти, или до рождения, или из которого вычли любое движение, или любые сны, или любые задачи – и затем доведем стихотворение до той точки, в которой всё это вернулось. Большие вычитания впечатляли, точка покоя потрясала, хотя и не всегда превращалась в бартовский пункт.

Новый свод «И маленькие гладкие собачки», из 37 стихотворений – камерный спектакль, вдруг взрывающийся карнавалом. Каждая строка – шепот, а вместе они – грохот, но считающийся с шепотом. Здесь – история *маленьких прибавлений*, а не *больших вычитаний*. Но по-прежнему реальность переплетается с

сюрреалистичными видениями, а повседневность оказывается причудливой и тревожной.

Эти прибавления – изысканный минимализм. Закаблуковская играет с языком как с дорогим шелком: то стягивает строки в тугий бант («атласный пояс бантом извернулся»), то отпускает их в свободное падение («я умею глядеть до дна неба»). Ее поэзия – это *quiet luxury* в литературе: нюансы, полутона, недосказанность.

Темы, которые Закаблуковская выбирает, – одиночество, мимолетные встречи, хрупкость памяти – могли бы показаться банальными, если бы не ее фирменный взгляд. В стихотворении «Пальто наверняка было...» она пишет:

еще (я уверена) оно было
нев्यраженного цвета
уставшей чуть влажной земли,
но не чёрное.

Это не просто описание вещи – это целая философия стиля. Как и в лучших коллекциях *The Row* или *Jil Sander*, здесь важна не броскость, а глубина оттенка, не декларативность, а умение уловить неуловимое. Закаблуковская работает с языком как с пластичным материалом, иногда даже напоминая о 3D-печати: слова семантически сливаются, интонационно разрываются, превращаются в звуковые узоры. В открывающем книгу стихотворении «Не ходите в музеи, мой друг, моя друга...» она пишет:

там чучелá толпятся в полный рост,
смеются воск и волк и облетает память.

Это поэзия, которая балансирует между игрой и меланхолией, между абсурдом и откровением. Её герои – «летающие велосипеды», «стареющие над желтым полем», и те самые «маленькие гладкие собачки», бегущие по кругу. Всё это – метафоры человеческого существования, где радость и печаль, любовь и одиночество сосуществуют в точке одного дыхания. Во второй книге точка, *пунктум*, найден – это *дыхание*, которое не есть просто метафора жизни, но тоже *как бы материал для 3D-печати*. Из этого дыхания печатаются прощание, ругань, прощение, счастье, те отдельные речевые жесты, которые только дыхание

превращает не в случайное, а в оправданное поведение.

Потому так сильны в сборнике мотивы ускользающего времени, несостоявшихся встреч, невысказанных слов. Казалось бы, банальность, казалось бы, ну что здесь можно сказать. Но дело здесь в 3D-печати. Например, в стихотворении «Сегодня мы так с тобой встретились...» звучит щемящая нота складывания дружбы, запечатления ее и тактильного ощущения, запечатленного в мимолетном звуке:

ты жива и танцуешь в Китае
и даже по-моему счастлива
и зря я с тобою прощалась-ругалась
и снова прощалась

Закаблуковская умеет говорить о боли, не впадая в пафос, и о счастье, не скатываясь в слащавость. Её поэзия – это джаз (как она сама пишет: «можно просто помычать на пару, погудеть, / и это уже будет джаз», где диссонансы оказываются необходимым вдохом, а выдыхается успех музыки. Как показал еще социолог-джазист Говард Беккер в книге «Аутсайдеры», успех в джазе – это не соответствие каким-то критериям, а игра в игру. Ты успешен, если играешь в успешных клубах, а клуб успешен потому, что там играют одни успешные. Извне не объяснишь, почему что-то становится хитом, но можно объяснить это тем, что настоящий джаз и настоящий клуб дает не только подлинный ритм, но и подлинный выдох, не просто облегчение, но определенную легкость исполненного долга и исполненной полноты жизни. Большое сложение, а не маленькие сложения и/или большие вычитания.

Любое стихотворение Закаблуковской оказывается полем напряжённого взаимодействия между традицией русской лирики (от обэриутов до современной московской школы) и стратегиями *contemporary poetry*, где важнее не завершённый образ, а сам процесс смыслообразования. Книга Закаблуковской существует в парадоксальном пространстве между традиционной лирической эмоцией и её деконструкцией. Это поэзия, где «страшный сладкий / треск» смыслообразования важнее готовых смыслов, а «маленькие гладкие собач-

ки» – не образ, но указание на саму невозможность завершённой образности:

Я снова слышу этот страшный сладкий
треск заполненной грудины
и вижу прорывающиеся
и облака, и дирижабли-ледоколы,

и ленты, ленты слов за ними:

«Любви всё больше»
«Во мне любви всё больше»
«В каждом очень много любви.
И каждый красив».

Общая картина прибавлений, с признанием того, что в бытии что-то прибавилось, *рассыпается на детализации*. Закаблуковская, физик по образованию – номиналист, антиплатоник: нельзя представить красоту вообще и любовь вообще, даже если ты очень стараешься. Когда грудь болит, когда сердце не на месте – представляешь только конкретного красивого человека. Чем больше сосредотачиваешься, тем больше любишь и лелеешь отдельную деталь, за которой человек just human being, а из призраков прошлого и будущего остались только те, которые этот человек отобрал.

Поэтому детали Закаблуковской вроде бы предсказуемы для гиперчувствительной наблюдательности: «конфеты живут в морозилке (за розовым салом)», «брошенные длинношнеле колымаги» электросамокатов у супермаркетов, «голубь / (никем не любимый и вечно срущий)». Но есть по крайней мере три особенности детализации. Во-первых, субъектов детализации всегда больше, чем объектов детализации. Например, в этом отрывке сновидцев больше, чем сновидений, их можно перечислять в рифму до бесконечности – а вот сновидения непокорны как птицы, потонувшие в лазури:

фальшивомонетки
лётчики
самокатчики
и все эти чики-брики-чирики
живут и живут себе
и никто не опровергнет ведь
что снятся им железные жирафы
конфеты из чешского шкафа

и какая-то земная птица
не жар-птица не синица
просто птица
обычного лунного цвета
обычного скорого снега
и тёплого талого сала
с прожилками и солью
как положено

Во-вторых, детали случайны во вполне определенном смысле – это не итог импровизации. Закаблуковская вообще не поэт-импровизатор, она всё делает очень продуманно. Детали это как забытые вещи, каждая из которых опровергает другую забытую – если ты думаешь о забытом вчера в гостях жакете, то уже не думаешь об оторвавшейся в автобусе пуговице. В чем-то это мир деавтоматизации в духе женской сумочки, где всё пропадает, но в чем-то это просто мир нашей повседневности, где многое остается без продолжения, и женская сумочка – образец порядка.

Закаблуковская последовательно деавтоматизирует письмо кокетливым синтаксисом устных реплик, сто раз продуманной умом дизайнера (это профессия Закаблуковской) графической прихотливостью и весьма мужественными семантическими сдвигами. В этом смысле показательно стихотворение «Жук», на мой взгляд, лучшее в книге, где текст распадается на пять частей, каждая из которых не развивает, а опровергает предыдущую:

жук улетает
и продолжения не надо.

Таково бюро находок – больше повседневности, охватившее повседневность со всех сторон и взявшее его сразу во множество косых интерпретационных рамок.

В-третьих, наконец, эти детали, как показывает то же стихотворение «Жук», обретают не твой голос, и не голос, обращенный к тебе, а голос того единственного или той единственной, который или которая их теряет и находит:

мне нет нужды в садах,
их множествах, их сотнях –
пусть будет и один –
нечуждый нежный мох,

живой и синий (тихий),
не буквеннорождённый,
не мятный сладкий голос,
а странный звук-душа.

в ней дышат ровно, вольно
все радиопомехи,
слон дымчатый, печали,
их имена и Имя.

Мысль о взрослеющем сыне дальше объясняет, что звук-душа – это голос сына. Под-ростковый бунт как радиопомехи, нежный мох материнской и сыновней щеки, дымчатый слон того, что сын наконец стал взрослым. Жук улетает, детство улетает, сын и поэзия отстают.

Закаблуковская активно использует стратегию апроприации: от реминисценций к Беккету («на потерянной плёнке Крэппа») до пародийного обыгрывания советского мультфильма по сценарию Лазаря Лагина («пионские страсти настали»). Особенно интересен диалог с Вирджинией Вулф в стихотворении о пальто (с эпиграфом из Вулф «Миссис Дэллоуэй сказала, что купит цветы сама...»), где пальто с «подземными карманами» метафоризирует сам механизм письма как вытеснения, создающего твою кожу как только твою:

пальто наверняка было
из шотландского дорогого твида,
но не новое
и потому пластичное,
словно туфли ручной работы
из такой чужой кожи,
что одновременно
становится твоей второй, как первой.
ещё (я уверена) оно было
нев्यраженного цвета
уставшей чуть влажной земли,
но не чёрное.
с глубокими подземными карманами –
сточными канавами,
чистыми водами,
где шепчутся
ругаются
хохочут
забытое ореховое счастье
и будущая каменная грусть

Отсылки к Вулф и Беккету напоминают случайные находки в кармане старого пальто – потрепанные, но всё еще излучающие тепло. Как удачно подобранный винтажный аксессуар, они не перетягивают на себя внимание, но добавляют глубины. И здесь появляется телесность, представленная не через физиологическую откровенность, а как серия микротравм («треск заполненной грудины»), тактильных ощущений («телячьей лаковой неновой кожей») и диссоциативных состояний («я сразу уменьшилась вдвое / потеряла ботинок»). Тело у Закаблуковской всегда ускользает от презентации, становясь то «бумажной розой», то «пыльной душой», то «звездолетом». Вулф и Беккет не могут вернуть первоначальной телесности, но могут вернуть первоначальную чувствительную кожу.

Если представить эту книгу как сад, то это будет не французский партер с геометрическими клумбами, а скорее английский *коттедж-гарден*, где трепетные пионы соседствуют с одуванчиками, а фарфоровая элегантность – с дикой, почти сорной красотой. Это поэзия для тех, кто знает: истинная роскошь – не в идеально подстриженных кустах, а в той самой травинке, что проросла сквозь трещину в бетоне. Или в первой 3D-модели, сделанной сыном. Или в неразборчивом щебете подруг, из которого выносишь одно – ты стала чувствительнее, чем прежде, и в этом твоя новая молодость и твое счастье. Или в дизайне витрин, который создает сама Закаблуковская как профессионал, витрина – кожа современного города. Стихи Закаблуковской – как редкие луковичные: хрупкие, но пробивающиеся сквозь мерзлую почву, чтобы явить миру свою мимолетную прелесть. А что такое луковица, как не кожа под кожей? Нет тела, а кожа есть!

Книга Закаблуковской требует не столько интерпретации, сколько соучастия в процессе письма той самой индивидуализированной сверхчувствительной кожей – как последняя строка в завершающем книгу стихотворении «Снобское»: «и будьте счастливы, пожалуйста» – становится не банальным пожеланием, но ироничной метафорой отношений между текстом и читателем в эпоху постпоэзии.

Контакты:

Анна Сафронова (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

Олег Рогов (*архивные публикации, критика*): rgv@mail.ru

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 25 августа 2025 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.